

Ангара



**П. МАЛЯРЕВСКИЙ
Г. ДОНЕЦ
В. РАСПУТИН
Г. МАШКИН
Г. ЧИСТЯКОВА**

2

1966



Ангара

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

ОРГАН ИРКУТСКОГО И ЧИТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЙ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР



2(71) 1966

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1966

447322.3

332

СОДЕРЖАНИЕ

Галина Чистякова. Стихи	3
Виктор Киселев. Сердце и рука. Из книги «Лирика» . . .	5
Геннадий Донец. Ехнецов кончает войну. Повесть . . .	7
В. Распутин. Рудольфио. В общем вагоне. Рассказы . . .	22
Геннадий Машкин. Обратная любовь. Рассказ . . .	34
А. Гурулев. Талый снег. Осенний мотив. Рассказы . . .	39
Е. Суворов. В конце апреля. Рассказ	46
В. Ляхницкий. Сюрприз. (Невыдуманный рассказ) . . .	49
Галерея «Ангарты»	53
Алексей Фатъянов. Талантливый живописец	53
Павел Маляревский. Модель инженера Драницина . . .	56
И. Новокшенов. Летчик Федоров	106
А. Козлов. Микробы на службе сельского хозяйства . . .	109
Галерея «Ангарты»	112
Н. Яновский. Савва Кожевников	114
Е. Давид. Виссарион Саянов и Сибирь	117
П. Боровский. Героическое полстолетие города Иркутска. Летопись борьбы и побед	120

На вклейках репродукции с картин художника А. П. Жибинова и фотографии Р. Баум.

Редакционная коллегия

Марк Сергеев (главный редактор), Г. Граубин, С. Иоффе, Е. Касьянов, В. Киселев, Л. Кукуев, Г. Кунгуров, Б. Лапин, И. Луговской, Л. Могилев, К. Седых, В. Титов (зам. гл. редактора), В. Трушкин, Л. Ханбеков.

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 36, отделение Союза писателей РСФСР. Телефон 56-76.

Галина ЧИСТЯКОВА

Сибирь и сердце

Иркутск был добр ко мне.
Был Братск мне рад.
Все показали, вдоволь угостили.
Я уезжаю. А они грустят:
— Ах, что-то там из виду упустили!
Пора мне в путь.
В Москве работа ждет.
Как никогда, остаться мне охота!
Друзья мне говорят:
— Бери расчет!

Да неужели не найдем работы!—
Что руки здесь нужны — не удивлюсь.
Земля подобной стройки не видала.
Но нужно ехать.
— Я же остаюсь!—
Так сердце вдруг мое забастовало.
Все уговоры, видно, были зря!
Упрямства у него — хоть отбавляйте!
И я прошу вас, новые друзья,
Пожалуйста, его не обижайте.

Снится снег

Евгению Хохлову

Есть друзья рязанские, есть тульские,
Есть друзья иорильские, иркутские.
В каждый праздник получаю весточки,
И растут от сердца к сердцу веточки.
Если вдруг привета не случится,
Думаю все: что могло случиться?
Из Иркутска письма шлют исправно,
Я из тех краев совсем недавно,
И свежи прошедшие недели.

Над Иркутском белые метели,
На пальто мне белый снег садится.
Белый снег... мне снится, только снится.
Снится снег в сугробах и летящий...
А у нас зимы нет настоящей.
Ты, Сибирь, особая планета,
У сибиряков — свои приметы:
Сдержанный народ, но настоящий!
Снится снег в сугробах и летящий.

Тайга

По Сибири меня поматало.
Я от красок даже устала,
Я от запахов захмелела.
Здесь и снег особенно белый,
Здесь морозы — так уж морозы!
В Подмоскovie зима льет слезы.
(Как Москва, что слезам не верит,
Этой лгунье открыла двери?!)
Улыбнулась тайга лукаво:
— Рада, если моя по нраву!
Пригласила радушно хозяйка:
— Ты вот летом сюда приезжай-ка!

Угощу тебя сладкой брусникой,
Покажу тебе лес великий.
Что твои подмосковные чащи!
Покажу тебе лес настоящий,
Лес такой и во сне не приснится,
Уезжай из своей столицы.
Вот и лето уже на исходе.
Кто твоими тропами ходит,
Кого потчешь сладкой брусникой,
Лес показываешь великий?
Или, может, как я, под вечер
Вспоминаешь о нашей встрече.

Встреча

У леса нет заборов.
Входи и не робей!
Не сразу Лес Лесович
Доверится тебе.

Гриб под листочком спрячет,
Замолкнут птицы вдруг...
Но станет все иначе,
Когда поймет, что друг

Пришел в его владения:
Расщедрится, не строг,

В жару прикроет тенью,
Постелет на ночь мох.

Ты можешь быть несчастлив,
Иль ладно все в судьбе;
Покажешься удачлив
Ты самому себе.

Лес раны все залечит
И душу исцелит.
Иду. Сегодня встреча
Мне с лесом предстоит.

* *
*

Ты говоришь со мной о лесе.
Я слушаю. Не говорю.
Но я тебя за эти песни,
Не зная чем, благодарю.

Я ощущаю запах мяты,
Ромашка машет головой.

И час рассвета, час заката
Пропахли сладкою травой.

Тебе ни в чем не возражая,
На сказки светлые слаба,
Ты пой о лесе,

горожанка
Тебе внимает, как раба.

Песенка об осеннем лесе

Ни грибов, ни цветов
Нету в этом лесу.
Все равно что-нибудь
Я с собой унесу.

Лист с березки слетел —
Рада, словно письму.
Эти запахи трав
Я на память возьму.

Вот и кончился лес.
Так он был невелик.

На плече у меня
Бледный солнечный блик.

Ну, а запахи трав
У меня в голове.
Так кружится она,
Словно стало их две.

Я пошла по грибы,
Я пошла по цветы.
Эту песню пою,
Ну, а руки пусты.

Расставанье

Оттянуть нам хочется разлуку.
Двум часам илетиим просто рады.
Ах, Сибирь, пожми еще мне руку,
Посмотри своим хорошим взглядом.
Пусть была короткой наша встреча,
Но зато вся на одном дыхании.
Мне она запомнится навечно,
Скажем так, как первое свиданье.
Мне бы найти единственное слово,
Подобрать эпитет к этой шире!

Кто сказал, что здесь зима сурова!
Как он мало знает о Сибири.
Ты, тайга, колдунья, не злая.
Чем приворожила, и не знаю.
Я в твои порожистые реки
Влюблена, Сибирь, теперь навеки.

Если мне когда-то станет тужо,
Я тогда вернусь к тебе, как к другу.

Сердце и рука

Из книги «Лирика»

Слова... Слова...

Забыв про отдых и постель,
Мы третий час
Стреляем в цель.
Туга у лука тетива.
А вместо стрел —
Слова...
Слова...
Злословлю я,
А ты остришь.
Мы третий день
Играем в бридж.
И вяжем,
Вяжем кружева.
А вместо карт —
Слова...
Слова...

Прикрыв плотнее двери в дом,
Мы третий месяц
Вина пьем.
Нелепы
Наши торжества.
А вместо вин —
Слова...
Слова...
За голубым закатом штор
Нас третий год
Качает шторм.
Хмельна от качки годовая.
А вместо волн —
Слова...
Слова...

Сердце и рука

Женщина бывает без причины
Сердцем и воинственна
И зла.
Но рука ее
В руке мужчины
Трепетна,
Податлива,
Тепла.

Потому-то мы,
Идя на муку,
Добровольно отдаваясь в плен,
Просим у любимой
Только руку,
Сердце
Отдавая ей взамен.

Я — тайга

Я — тайга.
Я в чащобе лесной
Каждой веткой к тебе прикасаюсь.
Ты — река.
В волны я с головой,
Как в объятья любимой бросаюсь.
Я — земля.
Я под ноги твои
Подставляю усталые плечи.
Ты — светильник
Негаснущий,

Вечный,
Озаривший дороги мои.
На семи покоренных ветрах
Я витаю в подлунных мирах,
Отдыхая на просеках звездных.
Там у солнца я счастья прошу.
Долго воздухом счастья дышу.
Это ты —
Мое солнце,
Мой воздух.

Любовь

Здесь только что она была,
Оставив в чаще след кострища.
А я смотрю
На пепелище,
На пни, сгоревшие дотла.
Руками пепел ворошу.
Ищу в нем то,
Что не сгорело,
Что здесь ее недавно грело —
Руками жадными ищу.
И снова огнедышит пекло.
Я падаю ничком в траву.
И на груди рубаху рву,
И плечи посыпаю пеплом.

Предела нет моей обиде.
Как много лет,
Как много лет
Хожу за нею —
След во след, —
И никогда
В глаза не видел.
Ломота звонкая в ушах.
От звона
Голова кружится.
И не могу никак решиться
К ней сделать шаг,
Последний шаг.

Оставит
Даже сладкая любовь
На дне сосуда
Горечи осадок.
Не пей до дна,
Когда напиток сладок,
Оставь глоток последний
За собой.

Не стоит только
 Возникнуть этой самой точке
 Пересечения двух орбит —
 Меняет все на этом свете
 Свои привычные черты.
 В ином,
 Неповторимом свете
 Покажемся
 И я
 И ты.

ЕХНЕЦОВ КОНЧАЕТ ВОЙНУ

ПОВЕСТЬ

1

После почти месячного безделья в госпитале Ехнецов наконец-то вырвался на «оперативный простор». Руки его — на руле ЗИСа, душа упивается стремительным свободным полетом над светло-серой полосой асфальтового шоссе. Кажется, взмахами мощных крыльев он отбрасывает назад верстовые куски пространства... Ехнецов совсем забыл, что еще полтора часа назад униженно выпрашивал этот рейс. Врачи протестовали: у солдата оставалась легкая послеконтузионная глухота.

— Никакой глухоты! Не глухарь я. Вот, сглотнул — и все слышу... Я почаще сглатывать буду, правда. Ну?

Глаза докторов неумолимы. Ехнецов готов упасть на колени. Он не может больше терпеть осточертевшего запаха карболки, удручающей белой скуки палаты... Не может он валяться, когда до конца войны остается воробыный шаг...

— Даже Чехов не смешит уж. Правда! А уши — ерунда это. В самолете вот так же закладывает их. Сглотнешь — и проходит. Я десанником был... Ну?

Начальник отделения капитан Глинская вздохнула.

— Езжай.

И вот сердце распирает ощущение демонической власти над этим простором. Везет! Не подвернись рейс с грузом медикаментов — и не было бы этого несказанного счастья... Выручила довоенная профессия шофера...

А день! Какой дивный день — сине-золо-

той! Прямо впереди машины — одинокое белое облачко, кроткое, как заблудший ягненок. В рубчатых следах танковых траков на обочине — бледные слабые травинки; они шевелятся, стригут тревожащий их ветерок. Бледные, слабые травинки... Иными они и не могут быть на этой земле, политой бензином, дизельтопливом, на земле, недавно горевшей чадным пламенем...

Уже несколько минут ЗИС Ехнецова мчит-ся мимо огромного немецкого аэродрома. Проплывают в отдалении серые штабеля так и не взорвавшихся бомб. Тускло поблескивая, тяжелыми тушами лежат тупорылые бомбы на тележках узкоколейки, готовые к подвеске на «хейнкели» и «юнкерсы». Но бомбардировщики разгромленного люфтваффе стоят в капонирах на мертвом приколе. Им уж никогда не будоражить небо зловещим воем. Отлетались! Задрав хвост в небо, посредине взлетной полосы застыл «мессершмитт», достигнутый, должно быть, при старте.

В конце аэродрома на шоссе выкатилась низенькая желтая легковая амфибия. С заднего сиденья ее кто-то поднялся, вскинул руку. Ехнецов жмет на тормоз.

— Далеко бежите? — спрашивает молодой саперный лейтенант, когда машины поравнялись.

— В эвакогоспиталь полевая почта ноль шестьдесят четыре пятнадцать, — бодро откликается Ехнецов и дважды сглатывает, чтобы лучше слышать.

Офицер сделал жест — «Подожди!», легко прыгнул через борт открытой амфибии, приняв поданный ему «сидорок» и пожал руки

всем сидевшим в маленькой, какой-то игрушечной трофейной машине.

И тут Ехнецова словно подкинуло. Он вмиг оказался на дороге и ринулся за тронувшейся амфибией.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан! — кричит Ехнецов, хватая за плечо сидящего за рулем офицера.

Амфибия стала.

Сияющими цыганскими глазами Ехнецов влюбленно ощупывает капитана. Задыхаясь, говорит отрывисто, крепко держась за борт машины, будто боится, что она уйдет.

— Товарищ капитан Первых! Товарищ капитан, помните Ехнецова? В десанте под Новоржевом... На вашем танке сидел... Еще это... рандеву немцам устраивали, а? Помните? А? Ехнецов я...

— Ух ты! — капитан притворно испугался. — А я тухнул, думал, сослепу на ящик со шнапсом наезжаю... Здорово, Ехнецов! — капитан протянул солдату небольшую смуглую руку и улыбнулся, обнажив подпорченные зубы. — Ну, рассусоливать некогда, и так задержался... Видал, какой аэродроме мои ребятки к рукам прибрали? Бомб-то наворочено! Из хранилищ наверх вытащили их фрицы в горячке, надеялись на наши головы попускать, а?.. Поехали ко мне победу праздновать? Неподалеку тут, сворот налево, два километра от шоссе. Там танки мои увидишь.

Ехнецов с сожалением помотал головой.

— Никак нельзя мне, товарищ капитан. Я с грузом в госпиталь... — И внезапная сладкая немота оцепенила тело, ослабили колени. — Что? Что вы сказали, товарищ капитан? Победу... праздновать? — Солдат впился глазами в худощавое, лихо-смешливое лицо офицера.

— Так точно! Победу справлять. Да ты, никак, с танка свалился?

— Товарищ капитан!!! — не своим голосом взревел Ехнецов. Мгновенье он в растерянности потоптался на месте, а через секунду был уже у дверцы своего ЗИСа. Его чуть не сбил с ног пронесшийся на предельной скорости черный «мерседес». Солдат вертко отшатнулся — и вот он стоит в вихре, взметенном «мерседесом», держа в руках поднятый автомат. Широко расставив ноги, запрокинув черноволосую стриженую голову, он выпускает вверх длинную очередь. Останавливается, — острая боль глушит, разбивает барабанную перепонку левого уха, — но стискивает зубы — и снова «пэпэша» торжествующе бьется в упругих руках...

Когда стрелять стало нечем, Ехнецов

трижды кричит «ура!» и поводит вокруг блуждающими счастливыми глазами.

— Ур-ра-а! — поддерживают его сидящие в амфибии: и капитан Первых, и юный солдат с голубым ящичком рации, и еще один офицер рядом с капитаном.

— Теперь — вперед, на запад! — кричит капитан Первых, весело ослабившись Ехнецову. — Заезжай! — капитан призывно машет рукой, зовет за собою, — и синий дымок заволакивает уходящую лодку на колесах.

Тяжело дыша, будто после долгого бега, Ехнецов вваливается в кабину. Он видит и не видит сидящего саперного лейтенанта. Рот Ехнецова открыт, счастливая, немножко глуповатая улыбка обращена в себя.

— Сейчас бы того... спирту бы сейчас, — говорит он хриловато и трудно сглатывает пересохшим горлом. — Вот как пристигло... Я ведь полтора часа как из госпиталя, и ничегошеньки еще не было известно...

Неожиданно обращается к лейтенанту:

— Обнимемся, дорогой ты мой товарищ лейтенант?

Офицер притрагивается пальцем к смеющемуся рту. В трещинках обветренных губ сочится кровь.

— Чего там кровь! Мало я крови видел? Это ж своя, родная кровь! — Ехнецов порывисто тянется к лейтенанту, и они неуклюже, крепко обнимаются в тесной кабине. Трижды расцеловались.

— Теперь трогай! — командует офицер.

Ехнецов жмет на стартер, включает скорость, но тут же останавливает машину, выбегает поднять с асфальта свою оброненную пилотку. ЗИС устремляется вслед едва видной вдалеке амфибии.

2

Лейтенант хлопывает себя.

— Ты мне всю структуру было нарушил в самый такой день. И так хирурги чуть ребро не отобрали... Шнапса все равно не выжмешь, нету у меня. И нельзя пить в дороге.

— Вот в госпитале на такой случай спирт нашелся бы, — мечтательно говорит Ехнецов.

— И встречал бы победу в госпитале, раз так, — подзуживает лейтенант.

Ехнецов обиделся.

— За кого вы меня принимаете, товарищ лейтенант? Да мне эти белые халаты... Э! Кило на два облегчили, словом. Куда ж дальше? У меня упитанность и так ниже средней... Попадет осколок ма-ахонький, что твой боб, а они ради того боба фунт живого мяса радешеньки вырезать...

— Значит, так надо,— кратко заключает офицер, рассматривая себя в зеркальце. Маленьким алым платочком лейтенант утирает губы. Морщится, поджимает губы, делает их бантиком — видно, здорово саднит. Платок он скоро спрятал, однако продолжает глядеться в зеркальце. Ехнецов сердито косится на пассажира. Ишь, аккуратист! А нос облупился, губы потрескались, чуб от пота порыжел... Скоро домой поедет. Таким его и увидит мать — с усталыми серыми глазами, с веснушками, которые она знает наперечет, с орденом «Красной звезды» и одной медалькой. Мальчишка еще этот лейтенант, повоевал, наверное, немного...

Ехнецов переводит взгляд на свою грудь — и остается доволен собою: три ордена и две медали «За отвагу» — преимущество перед юным лейтенантом немалое. Вот у капитана Первых орденов! А лейтенант серьезный. Вроде бы и не рад тому, что война окончилась... Впрочем, ясно: для сапера она и не кончилась. Ясно! И шофер великодушно прощает офицеру его суховатость. Возобновляет разговор:

— Ну, я в долгу у этих хирургов тоже не остался. Положат меня на стол, усыпят — и давай кромсать. Так я их матом, матом!...

Лейтенант не преминул заметить:

— Материть хирургов не положено, как и всяких офицеров. Пора бы знать. Войну провел.

— Это верно, товарищ лейтенант. Всю войну голыми пятками по огню бегал. И дисциплинированный был. Так ведь в дурном спе если материшься — простить можно... И какие они офицеры, костоправы-то? Ручки белеющие, мягонькие, без ноготочков... Шофер с иронией наблюдает одним глазом, как офицер смотрит на свою руку — тоже докторскую, чистую. — Первеющему костоправу ни почем не сравниться с капитаном Первых! — Ехнецов кивает вперед над рулем.

— Хм, — добродушно усмехнулся лейтенант и показал свою руку — крупную, мягкую, с чутко настороженными подушечками пальцев. — Минерам тоже не положено на манер китайских принцев когти отращивать. Дело профессиональное... Неизвлекаемые взрыватели — слыхивал про такие? Зацепишь чуток — и прощай мати-родина, отхожу на небеси чистым воздухом дышать... У меня и ножнички трофейные всегда при себе...

Далекой точкой, временами исчезая за плавными поворотами, мчится амфибия. Ехнецов теперь не спускает с нее глаз.

— Так я о капитане Первых, — говорит

он. — Фамилия-то какая! Сама за себя говорит: всегда первый... А у вас какая фамилия?

— Самая негордая, — лейтенант разыграл искреннее разочарование. — Досталась же такая — Сторонин. На роду написано мины колупать, всегда в стороне от настоящего дела. — Лейтенант притворно вздохнул.

— Ничего, — успокоил его шофер. — У меня совсем какая-то непонятная, мутная какая-то фамилия, в толк не возьму — откуда такая на Смоленщине явилась? Ехнецов я. Ехнецов. Самая, словом, пехотная фамилия. Да опять же — ничего. Ведь пехота — царица полей... Только царствовать потно. Ничего! Я о капитане. Ведь сколько времени прошло, а помнит пехтуру Ехнецова. И мне его не забыть ни за что... Больно весело воевать с ним было. Другой Суворов, ей-богу! А то — Чапаев. И за что его чином обошли? Ему бы генералом войну кончить. Ведь бывают же у нас генералы из пастухов, а почему из грузчиков нельзя? Он в городе Чите на железной дороге вагоны грузил до войны. Еще во Владивостоке — пароходы.

Шофер закурил немецкую сигаретку. Посетовал на дрянной табак. Лейтенант отказался курить.

— Не пью и не курю. Чтоб дрожи в руках не было.

Шофер понимающе кивнул головой, но вдруг спросил с вызовом:

— И сегодня... отказались бы, а?

Лейтенант отозвался стомленным голосом:

— Сегодня — положено. Не грех. Только чтоб потом сутки без просыпу дрыхнуть. Разом чтоб с войною покончить... Да только кто мины тогда вместо меня вытаскивать станет? Может, ты?

Офицер закрыл глаза и зевнул, прикрыв рот ладонью.

— Двое суток на аэродроме возился, бомбочки нянчил вот с этими пальчиками...

Ехнецов убедился, что лейтенант все же не будет спать, и повел дальше рассказ о встреченном недавно капитане. Вопреки отрезвляющим репликам пассажира, шофер все качался на волнах радостного возбуждения, его подмывало говорить, говорить...

— Так вот. В тот раз мы с капитаном десантом по немцам пробежали. — Лицо Ехнецова потеплело. — Хорошо пробежали, мост захватили. Два танка капитан оставил мост беречь, а сам нас дальше повел. Газанули по лесной дороге верст на двадцать. Я, конечно, на головном танке, на капитановом, трясусь...

— От страху? — невинно поинтересовался лейтенант.

— От худой дороги, — не принял шутки Ехнецов. Сердито помолчал и продолжил:

— Капитан «стоп!» скомандовал — и говорит: «Горючего — тютю. Жалко. Да ладно, здесь randevу с фашистами сделаем и зайдем топлива». Рандеву — это свидание по-нашему. С той поры мне запало это слово. Я его еще у Чехова встречал... Ну, выстроили танки на опушке, близко от дороги. Скоро засумеречило. Капитан меня и спрашивает: «Как фамилия?» — Ехнецов, — говорю. — «А пошли, Ехнецов, на randevу». И чем это я ему приглянулся, а? — шофер будто ждет ответа.

— Наверное, выбора капитану не было. Поневоле пришлось, — бесстрастно решил лейтенант.

Но Ехнецов понял пересмешника. Не дал сбить себя с толку.

— Подходим с капитаном к дороге, падаем в канаву и курум себе, спокойненько эдак курум... А танковые пушки прямо на нас установились из лесу. Да!.. Вот слышим — со стороны моста моторы гудят, все ближе, ближе... С огнями караван грузовиков ползет. Это с проселка фашисты драпают, через мост бы их наши танки не пустили... Ага! Капитан руки потирает, меня по плечу хлопает, дополнительно учит, что и как делать... Когда первая машина поравнялась с нами, капитан кричит: «Хальт!» — рукой голосует, вроде свой он немцам. Остановился дизель. Я шофера за штанину из кабинки на землю в момент пригласил, конечно. Слышу, офицер немецкий ругается с капитаном:

«Цум тойфель мит панцирн!» — К черту, дескать, с твоими танками... Все-то уразуметь не может, гад, что с советским капитаном говорит. Темень! А я шофера под автомат держу: помалкивай! Сзади машины напирают, фашисты в кузовах колгочут... Думаю, чего капитан тянет? А капитан Первых знал, что делает...

Ехнецов вдруг осекся, расширенными глазами вперяясь в зловещее видение: по левую руку впереди взметнулся высокий столб черного дыма; он размывался медленно, жуткий в своем спокойствии на синеве неба...

— Что это, товарищ лейтенант?! — не веря себе, глухо спросил шофер.

Спустя минуту взвизгнули тормоза.

— Стой, стой! — закричал лейтенант, большими прыжками догоняя Ехнецова. — Назад! — офицер рванул шофера за гимнастерку к себе. — Жить надоело? Это ж мины, Ехнецов, мины, с ними не шутят! — Сапер с силой нажал на плечи Ехнецова, осаживая его, тот молча повиновался.

Пригнувшись, лейтенант осторожно идет к останкам амфибии. От нее уцелел только задний мост... Нет, вон виден в кустарнике еще дымящийся исковерканный мотор... От людей ничего не осталось. Лишь одинокое белое облачко безмятежно млеет в солнечном просторе.

Когда Сторонин вернулся, Ехнецов сидел обмякнув и шептал бескровными губами:

— Товарищ капитан Первых... Товарищ капитан... Это как же?.. А? Товарищ капитан Первых... Как же так? А?

Лейтенант потрясенно озирался, смотрел со злой остротой, будто искал, на ком выместить эту невероятную, чудовищную в такой день беду. А одинокое белое облачко безмятежно млеет в солнечном просторе, чуждое бедам и радостям людским...

Сторонин склонился к солдату, и тогда из обезумевших цыганских глаз Ехнецова хлынули слезы. Шофер вздрагивал, непослушными губами продолжая шептать. Потом повалился и заревел в голос — страшно, заикаясь, мотая головой, рыча по-звериному и судорожно сгребая жесткую, бурю чужую землю...

Из рощи, в которую ведет минированная проселочная дорога, бегут солдаты. Несмотря на жару, у одного на голове танкошлем. Лейтенант Сторонин предупредительно поднял свой алый шелковый платочек, приказывая остановиться... Уходя от танкистов, Сторонин оставил платочек на мосту амфибии. Он ярко краснеет на черном мазутном металле.

Ехнецов лежит ничком, закрыв лицо руками, и тихо всхлипывает. Лейтенант стоит над ним, сняв пилотку; долго смотрит исподлобья на гибельную дорогу, под ровным пыльным покровом которой таятся сторожкие смертоносные диски... Скрипнул зубами:

— Пр-пропустили!

3

За рулем — лейтенант Сторонин. Ехнецов сидит рядом, словно пьяный: тупо уставился прямо перед собой, молчит. Через полчаса стал понемногу приходить в себя. Машина бежит среди старых лип, листочки которых трепещут, стряхивая дорожную пыль, но так и не могут отряхнуться — клейкие. И ему, Ехнецову, никогда не стряхнуть с себя пыль фронтовых дорог, не смыть — в какой парной бане ни мойся, каким веником ни хлещись... Каленым железом протаврила война Ехнецова, вдавила в тело и душу страшную печать своей незабвенности. Ни-че-го не забыть!

Все — в нем, в Ехнецове. «Ничего не осталось от капитана», — говорит лейтенант Сторонин. Неправда! Ехнецов вечно будет помнить друзей и все, что они сделали для этого мира, над которым сейчас сияет равнодушное солнце. Солнцу, черт с ним, можно быть равнодушным. Но человеку? Солдату? Будь проклят Ехнецов, если что-нибудь забудет! Потому что нет горше обиды — умереть — и чтобы тебя забыли, ради чего ты шел на смерть, забыли бы... Умереть — и чтобы мир оставался, будто ничего и не случилось...

Вдалеке на шоссе показалась колонна пленных гитлеровцев. Ехнецов беспокойно зашевелился, шаря в карманах и не отрывая пристального взгляда от немцев. Достал сигарету, сунул ее в потемневшие, спекшиеся губы. Чиркнул спичкой и долго не мог поймать огонек. Затянулся глубоко, так, что болезненно посветлело в глазах...

Фашисты бредут понуро, взброд перебирая волочащимися ногами. И не видно конца этому нестройному, растянутому шествию... Машина стремительно настигает хвост колонны... Вот приветственно машет усатый пожилой сержант-конвоир, поправляет на шее автоматный ремень... Конвоир остается позади. Жалко, будто покинул своего человека в беде, оставил наедине с этой нечистью...

Серые унылые фигуры с расслабленными, безвольно болтающимися руками сливаются справа в сплошную полупрозрачную стенку... Глаз с трудом выхватывает отдельные лица... Может быть, и этот гад здесь, — тот, что приглушил полтора месяца назад фаустпатроном... А может, и те, что по Смоленщине гуляли когда-то... Все — звери, присмирившие, укрощенные звери... Ни-че-го человеческого... Сейчас бы полоснуть по ним, полный бы диск высадить... Но автомат пуст: до времени победу отпраздновал!.. А если крутнуть на них баранку? Вот так — плавно, полого... Грузовик незаметно прижмется к краю этой нескончаемой траурной процессии — и Ехнецов ощутит его содрогание, его удары по этим ненавистным телам... А руль в руках лейтенанта... Лейтенант сигналист. Идущий посредине шоссе боковой конвоир не оглядываясь отходит поближе к немцам, мгновенно относится назад. Шоссе свободно до самого конца колонны, который уже виден...

Ехнецов хватается за руль и хрипит:

— Крути, лейтенант! Крути на них!.. Я отвечаю — крути!..

Машина качнулась в сторону немцев, но лейтенант быстро справляется с нею, через силу выравнивает, и сквозь стиснутые зубы рявкает:

— Взять руки! Смирно сидеть!

Сторонин старается локтем сбить одну руку солдата, обжигает шофера свирепым взглядом. Машинально повинувшись команде, Ехнецов отдергивает руки, они падают на колени. Суставы пальцев у офицера побелели от напряжения, под рыжим чубом влажно заблестел лоб, лицо покрылось розовыми пятнами...

Колонна пленных окончилась. Лейтенант не мигая смотрит на розовато-голубые далекие контуры городских строений.

— Не ожидал от тебя, Ехнецов. Угодишь ты в трибунал с таким характером.

— А н-не боюсь трибунала. Ничего не боюсь, — сдавленно отзывается солдат. — Один буду ехать — сотню гадов растопчу. Врежусь — и положу лентой. А как разбегаться начнут — весь диск им подарю. Помяните мое слово...

— А лекарства для раненых? — говорит после долгого молчания лейтенант. — Ведь угробил бы все пузырьки.

Ехнецов молчит, упрямо сдвинув широкие черные брови.

— Не дури, Ехнецов, — увещевает офицер, — не дури. Скоро домой. Дома, поди, все жданки съели...

Ехнецов безответен. «Дома все жданки съели»... Эх, лейтенант, товарищ лейтенант! Будь руль в моих руках, спровадил бы ты меня сейчас в трибунал, тебе положено быть строгим... А в какой дом я вернусь, где ждут меня, о том не спросишь... Деревянные наши дома что порохи горят. А у них — вправо глянь, влево — стоят кирпично-каменные... Я бы их все на воздух поднял, на воздух, чтоб крошка кирпичная-черепичная на версту в округе рассыпалась... Ведь ради того, чтоб лишнего фрица в счет вверстать, не жалел я своей головы, в любое пекло лез. А тут разом сотню дохлых душегубов сделать можно. Разве испугаюсь я после этого трибунала?! В трибунале тоже люди сидят, поймут Ехнецова. Хоть под расстрел отправят, раз закон такой, а сами все-равно поймут и жалеть будут... Ехнецов судьям скажет свое. Скажет, что вместо дома у него одна печка белая, дымом облизанная, мертвая, остывшая, ждет его... Что был в родной деревне после второго ранения, да не стал и дня отдыхать, в часть уехал сразу же, потому что такого навидался и слышался, что волосы дыбом поднялись и ревел, как баба, у той холодной печки, в углях катаясь... И что дал зарок себе: душа из Ехнецова вон, а сделает он сотню мертвых вражин. Тридцать восемь Ехнецов успел; шестьдесят два ждут своего часа...

Не виноват Ехнецов, что пять раз в госпиталях его держали. Не по доброй воле дорогое время терял. Так почему же нельзя?! Зачем такой закон?! Неужели страшная смерть матери, отца и малолетнего братишки Васи, неужели четыре дыры в этом вот теле и контузия в этой вот голове не дают Ехнецову права одним пинком угнать на тот свет сотню недобитых зверей?! За капитана Первых, за многих, многих капитанов, лейтенантов, сержантов, солдат, которым уж не радоваться победе... За все! Нет, не про него, Ехнецова, этот закон писан. Чтобы там ни говорили потом, он перешагнет закон резиновыми скаками вот этой машины. И патронов на диск надо сегодня же достать. А немцев еще много дней будут гнать по дорогам... Рандеву, как говорил капитан Первых, состоится...

Ехнецов не заметил, как асфальт сменился каменными плитками. Подъезжали к городу. Близ крайних домов громоздилась на дороге баррикада из этих плит, полсотней шагов ближе желтела дощечка с черным словом «мины». Лейтенант одернул ремешок планшета, облизнул пересохшие губы и отметил вслух:

— Фольксштурмовцы здесь огрызались.— Потом добавил озабоченно:— Дальше река, на переправе наверняка пробка.— Устало улыбнувшись, спросил:— Отошло ретивое?

Машина, кренясь, сползла в грязь съезда перед минированным участком шоссе и вскоре выбралась к перекрестку мостовых. Девушка-регулирующая, качнувшись к машине, закричала мужским голосом:

— Куда! Куда ты?!— и властно указала красным флажком место стоянки.

Лейтенант подрулил к трехэтажному кирпичному дому по правую сторону улицы сразу за перекрестком.

— Хороша девка, только голосом отшибает,— мрачно сказал долго молчавший Ехнецов.

— Ага, хороша Таня. Ее все шофера знают. Я уж который раз сам ее вижу. А голос сорвала, бедная. Видишь, не успели мы проехать, уж шофера ее приступом берут... Гляди-ка, гляди на бензовоз!— лейтенант указал пальцем: на бензовозе— огромные меловые буквы: «Привет Тане!» Жестикулируя, пересмеиваясь и дурачась, на девушку наступают веселые шоферы. Она отмахивается от них флажками, сердито опалает синими глазами, что-то кричит.

— Отбейся от таких!— буркнул лейтенант.

Впереди то и дело пробегают по улице потные, запыленные офицеры— с красными повязками на рукавах— помощники комен-

данта переправы. Изредка вдалеке, у самого переезда, покидает стоянку очередная машина. Вся улица на сотни метров запружена разномастными автомобилями.

— Ой, долгонько загорать придется.— Сторонин почесал затылок и отдал Ехнецову ключ от машины.— Пойду, попробую договориться.— Он открыл дверцу.

— А вы же не привязаны к моей машине, товарищ лейтенант. Вам на любую первую прыгнуть можно,— подсказал Ехнецов. В душе он признался, что расстаться с юным лейтенантом было бы грустно.

— Да нет, с тобой хочу. Влюбился! Теперь понятно, почему тебя капитан Первых отличил... Схожу до переправы.

Ехнецов наблюдал, как лейтенант поймал бежавшего комендантского помощника, пытался заговорить с ним, но тот только досадливо отмахнулся и зарысил дальше. Лейтенант зашагал обратно...

«Добрый ты парнишка, лейтенант,— думает Ехнецов.— Жалеешь. Боишься одного оставить. Даром что подначивал дорогой, злил».

— Пойду к этой баррикаде, мины пощу-паю... Ни-ни, не просись. У тебя ручки не докторские. И лишние не нужны саперу, когда работает. Слышал— в центре города ухнуло? Мины! Не успевают ребята обезвреживать. Помочь надо... А ты поспи, Ехнецов, поспи. Полезно.

— Сами бы отдохнули, товарищ лейтенант. Двое суток не спали.

— Старшему не указывать!— лейтенант поправил пилотку и ушел.

4

Долговязый молодой сержант с пыльными усиками в стрелку остановился в трех шагах от Тани. Подбоченился. Качнулся с носков на пятки, востребовал:

— Товарищ рядовая Таня! Это сколько же нам тут при вас на ногах стоять, а? Или, думаете, красота ваша такая, что нам стоять при ней лестно, а?

Не отвлекаясь от обязанностей, девушка мельком скосила на сержанта синие глаза и присоветовала:

— А вы для разнообразия на голове постоите.

— Кхм, кхм,— солидно откашлялся сержант.— Вы, значит, полагаете, товарищ рядовая Таня, что голова может заменять ноги? Так я вас понял?

— Нет, извините, я недоглядела. У вас никак не может,— скромно возразила Таня.

Довольный уважительным к себе отношением, сержант продолжает раскачиваться с носков на пятки. Недогадливый, чего ты ждешь еще?! Но сержант, наморщив лоб, спрашивает:

— А почему же не может конкретно у меня? Может, я из циркачей каких, а?

— Нет, не может. Чтобы на голове стоять, надо голову иметь!— парирует Таня.

Ответ девушки восхитил шоферов. Раздался взрыв хохота. Это рассердило сержанта. Пригладив пальцем серые усики, он пожал широкими плечами и заявил:

— Так я ж вас, рядовая товарищ Таня, своей командирской властью знаете куда мругу? Еще и руками пререкаетесь...

Но тут всем пришлось отхлынуть от регулировщицы: проходила штабная машина. Таня грациозно, отточенными движениями манипулировала флажками. Замерла с гордо откинутой белокурой головкой. Бесподобно хороша эта Таня!

...Вышел на поединок с Таней другой сердцеед — полная противоположность долговязому сержанту: кряжистый, подвижной коротыш с лукавыми раскосыми глазами. «Третья попытка!» — он подмигнул товарищам, скрестил на груди руки, начал тоскливым, дрожащим голосом:

— Эх, Таня-Танечка... Пустила ты жисть мою колесом под гору... Утопился бы в проруби с горя, да нет прорубей на реке, все растаяли, — «артист» поник головою — и пришлось ретироваться: Таня, не успев ответить, все внимание отдала очередной проходившей машине.

Третьего кавалера Таня сама опередила просьбой, прозвучавшей совершенно неожиданно:

— Подарите карточку на память?

— Какая жалость! — развязно всплеснул руками шофер, по виду самый искушенный в делах амурных. — Какая жалость! Ни одной при себе... Но я вам вышлю, Танечка, непременно вышлю, только адресок назовите...

Таня церемонно поклонилась.

— Очень прошу вас, премного обязана буду... Дело семейное. Вернусь на родину, замуж выйду, детки пойдут. Разревутся — будет, чем поугаать их...

Переждав, пока шоферы просмеются, победительница взмолилась:

— Да есть у вас совесть, ребята, или нету?

— Яка у них совесть? Нэма у них совести, ще в сорок третьем роке на табак всим колгоспом променялы, — раздался голос за спиной Ехнецова.

Через чугунную решетку садовой ограды лезет высокий чернявый ефрейтор с добродушным носатым лицом. Он держит большую ветку незрелой черешни. К нему протянулось много рук, но он никому не доверил ветки. Спрыгнув на тротуар, торжественно, словно хлеб-соль, он на вытянутых руках понес ветку Тане.

— Яка у них совесть! — ефрейтор остановился и обвел шоферов презрительным взглядом карих, чуть навывкате, глаз.

Никто не заметил подходившего лейтенанта Сторонина. Только Таня торопливо утерлась белым вышитым платочком и независимо отвернулась от обожателей.

— Танечка! Кохана моя, ты ж тильки погляди очами своими ясненькими, чого я тоби дарю... Разве ж воны, лиходеи, чого понимают в женском сэрти? У, хамы! — ефрейтор оглянулся, устрашающе хмурясь, и грозно топнул ногой. И оказался глаз на глаз с лейтенантом Сторониным. Тот молча поманил ефрейтора и пошел на другую сторону улицы, к машине Ехнецова.

Лейтенант завел носатого ефрейтора за машину. Он щадил самолюбие Таниного поклонника.

Когда Ехнецов подошел, за машиной шел крупный разговор. Молодой ефрейтор сконфуженно пошевеливал в руках черешневую ветвь и часто моргал глазами, которыми лейтенант приказывает смотреть в его, лейтенантовы глаза, и смотреть прямо...

— Видал героя? — Сторонин призывает Ехнецова в свидетели и судьи. — Эт-такий сук отодрать! Сила позволяет, дюжий гвардеец, видно, что на сале рос... Дома, говоришь, фашисты весь сад порубили? Так ведь на то они и фашисты. А ты кто, забылся? Знаешь, что в нашей армии за такое полагается? Стыдно мне за тебя, ефрейтор Пересунько! Орден «Славы» тебе дали, а ты в какой славе его подмачиваешь?!

— Товарищ лейтенант, так ведь я же ж... — Пересунько приложил руку к сердцу, убеждая в откровенности начатого объяснения.

— Не болтайте руками и языком, гвардии ефрейтор Пересунько! Стойте как положено. Слушать ничего не хочу!

Дальше говорил лейтенант нудно, обыденно, прописными истинами; видно — не хотел он этого разговора...

Ехнецов сунул большие пальцы обеих рук за брезентовый пояс, резко раздернул складки на гимнастерке, шагнул вперед.

— Разрешите обратиться, товарищ лейтенант?

— Да?— офицер встал вполоборота к шоферу.

— Грешно, товарищ лейтенант, срамить гвардейца перед фашнстами. Вон старуха в окошко выглядывает. Рада, небось...

Сторонин живо посмотрел на дом, заметил уходящую от окна фигуру с вислыми плечами. Тихо ответил:

— А советскому гвардейцу не стыдно, скажем, у той же старухи деревья ломать?

Ответ прозвучал бледно, ненаходчиво, как-то не так... Нет, не хотел лейтенант ругаться в этот день, понимал он бойцов, всю злость их понимал...

— Они большим ковшком кровь нашу пили. Неужто нам теперь маленько потоптаться тут нельзя? Да я бы не только что деревья, руки бы им, сучьим детям, всем до единого пообламывал!— говорит Ехнецов, накаляясь злобой, от которой темнеет в глазах.— У меня от дома моего кровного и голешки не осталось! Так что око за око и зуб за зуб, товарищ л-лейтенант!— с нажимом, срывающимся голосом выкрикнул Ехнецов. Говорить он больше не мог. Комок подступил к горлу. Он стиснул кулаки и мелко дрожал, казалось ему— гудел, как провод высокого напряжения...

Рука лейтенанта легла Ехнецову на плечо. Офицер сдержанно приказал:

— Иди к товарищам, Пересунько. Ветку к дереву теперь не прилепнешь.

Ехнецов ждал: лейтенант гневно обрушится на него, отругает. Но Сторонин достал из кабины плащ-накидку, бросил на траву за тротуаром и растянулся на ней.

— Спать хочешь? Ложись рядом,— пригласил он шофера.

— Не хочу,— угрюмо буркнул Ехнецов,— в госпитале до тошноты заспался.

— Тогда возьми, поноси мой планшет, в нем документы кой-какне есть и письмо матери... на всякий случай... Может, ответственность тебя подтянет. Никакой дисциплины у тебя не осталось, Ехнецов. Ты смотри, я— не нянька. Мог бы и покруче с тобой.

Солдат, расправляя скрутившийся ремешок планшетки, опустил голову и глухо ответил:

— Виноват, товарищ лейтенант. Я расстравленный.

— Я тоже. Да не распускаюсь.— Помолчав, как бы давая Ехнецову время уяснить всю значительность этих слов, лейтенант закрыл глаза и добавил:— Далеко не отлучайся. Комендантский помощник наш номер знает, позовет.

Не открывая глаз, Сторонин несколько раз

приподымал голову, получше укладывая ее на плотку.

Ехнецов вытащил из кабины свой «сн-дор», вынул из него коричневую банку трофейной конштадской тушенки, прощупал мешок и понес его лейтенанту под изголовье. Но тот уже спал. Воспаленные губы его чуть приоткрылись, он часто, жарко дышал. «Не хуже капитана Первых»,— подумалось шоферу, но сразу же вспомнил— и сравнение показалось ему до боли кощунственным. Он бросил вещмешок на сиденье, тихо прикрыл дверцу и пошел к перекрестку.

5

Лавируя между машинными, подвигается большая гурьба пестро одетых людей. Тощие, в полосатых концлагерных «робах», они что-то темпераментно поют. Впереди всех толкает детскую коляску элегантный мужчина в синем берете. В коляске на вертикальном колу— гротескный бюст фюрера из папье-маше. Один глаз иднотски прищурен, другой безумно вытаращен, а рот открыт в истеричном вопле... То и дело кто-нибудь из толпы бьет фюрера палкой, и он с мертвой величественностью покачивается и вращается. Ударивший передает палку другому и, потрясая руками над головою, громко восклицает:

— Вив л'Армэ Руж— л'армэ либератор! Ура-а-а!¹

Все подхватывают:

— Ур-ра-а-а! Ур-ра-а-а! Вив ле Совет! Вив ля Франс демократик!²

В толпе преобладают французы. Изможденные, тощие, еще недавно томившиеся за колючей проволокой концлагеря, они остаются французами— веселыми, экспансивными ребятами... А вот подбежал к фюреру длинный сухопарый итальянец. Схватив палку у француза, он жизнерадостно крикнул:

— А, иль днаволо дай баффетти! И мьей респетти!— палка гулко стукнула по фюреровой голове.— Ун альтро поко!³

Итальянец снова поднял было палку, но ее отнял бледнолицый юноша. Ударив фюрера, юноша скорчил гримасу безразличия и объявил:

— Куайт емпти! Ноу брэйнз. Емпти! Ун нью нт...⁴

¹ Да здравствует Красная Армия— армия-освободительница! Ура! (франц.)

² Да здравствует Советский Союз! Да здравствует демократическая Франция! (франц.)

³ А, усатый дьявол! Мое почтение! Еще разок! (итал.).

⁴ Совершенно пустая! Без мозгов. Пустая! Да мы это знали... (англ.)

— Худо бьете, ребята!— крикнул Ехнецов, пройдя по тротуару рядом с демонстрантами.

— Салют!— француз с палкой в руке приподнял берет и вышел из строя.— Як ви казали?— удивил он Ехнецова вопросом по-украински и сразу пояснил:— Я у лагери учивси немного русски...— Предложил:— Вдарь його!

Ехнецов взял поданную ему палку, приподнял ее, взвешивая, настиг бюст фюрера... Палка с треском переломилась, но и фюрерова челка дала вмятину, а от коварного прищуренного глаза к черным усикам пробежала извилистая трещина.

— Вихтуар!¹ — восторженно закричала толпа. Ехнецов озорно сверкнул черными глазами: знай наших!

— Ин гамба рагаци! Интернационале!²— Сухопарый итальянец забежал вперед коляски, на ходу подняв обломок отслужившей свое палки, повернулся лицом к демонстрантам, взмахнул по-дирижерски обломком — и дружный хор грянул:

Дебу лез дамнез де ля тер!
Дебу ле форсат де ля фэм!³

И тотчас в многоголосицу вплелись русские слова. То включились шоферы:

Кипит наш разум возмущенный...

И опять французское:

Се л'эрупсьон де ля фин...⁴

Недавние узники фашистского концлагеря поют энергично, в темпе. Упорядочился шаг, люди подтянулись. Их лица дышат суровой решимостью, они потрясают крепко сжатыми кулаками...

Рядом с Ехнецовым оказалась хрупкая смуглая девушка. Она мягко подтолкнула солдата к тротуару и приколола ему к гимнастерке, повыше орденов, розовую иммортель. Девушка бегом догнала своих, а Ехнецов остался... Он видит, как навстречу демонстрантам идут наши солдаты, а когда все сомкнулись, солдаты потянулись обратно, смешавшись с разноплеменной толпой, все двигаются туда, где стоит сейчас Таня...

Что толкнуло Ехнецова? Он броским, широким шагом побежал к перекрестку. Успел

опередить процессию. И на глазах у всех отдал цветок Танюше!

— Вот вам, Таня... Чтобы помнили, значит, Володьку Ехнецова в день победы...— Он проникновенно, ласково засмотрелся было в синие Танины глаза, но тут же потупился. Не знал, что дальше делать, что сказать...

А толпа уже надвигалась, обтекала их. Ехнецов злился на себя, однако слова не шли на язык... Но тут пришла выручка:

— Танюша!— в воздух полетели береты и шляпы.— Танюша-а! Танюша-а!— упоенно кричали люди, узнавшие от шоферов имя девушки.

Француз, который «учивси русски», извинился у Ехнецова: «Пардон, камрад»— и готов комплимент:

— Танюша! Ви — самы гарны дивчина во весь земля. Честно!

Итальянец-дирижер скинул с кола бюст фюрера — и погнал его пинками по улице, увлекая за собою людей...

Таня улыбалась. Ее милое светлое личико попростело, открылось в новом, невиданном еще качестве. И следа не осталось от собранности, с которой она отражала атаки шоферов. Ехнецов, наконец, нашелся. Глядя вслед удаляющейся демонстрации, которая походила сейчас больше на футбольную игру — с таким азартом люди пинали «фюрера», — промолвил:

— Ловкий парень этот француз. На ходу подметки режет.

— Ага,— подтвердила Таня и озарила солдата таким синим, чистым взглядом, что у него захватило дух. Он только сглотнул по госпитальной привычке; изумился какой-то новизне в себе; с трудом понял — глухота прошла... А делать возле Танюши больше, кажется, нечего...

Таня подула на дареный цветок пухлыми яркими губами, и это сделало ее такой домашней, близкой. Но шоферы, стоящие на почтительном удалении, подмигивают Ехнецову, шлют воздушные поцелуи...

— Устала я стоять, скорей бы смена пришла. Девочки, наверное, уж победу отмечают, а меня забыли,— Таня вздохнула упругой девичьей грудью и посерьезнела. Ехнецов стыдливо отвел глаза от груди. Покоился на шоферов — и вдруг решил побыть подле девушки еще хоть немножко.

— Достается вам, Таня... Девичье ли это дело?— Ехнецов старался сказать сочувственно, но голос не поддавался управлению и звучал деревянно. Солдата снова стала тяготить собственная неловкость. Глянул вдоль по улице — там широко вышагивает возвращаю-

¹ Победа! (франц.)

² Веселей, ребята! Интернационал! (итал.)

³ Вставай, проклятем заклейменный, весь мир голодных и рабов! (франц.)

⁴ И в смертный бой идти готов... (франц.)

щийся от демонстрантов ефрейтор Пересулько.

— Ничего. Я ведь доброволка. Теперь уж скоро...— Таня покручивает иммортель на стелечке и зорко осматривается— нет ли подходящих машин.

— Куда вам... скоро-то?— Ехнецов не мог скрыть вдруг возникшего беспокойства. И почувствовал прилив отчаянной смелости и неосознанной ревности ко всем, ко всему, что могло коснуться Тани.

— Разрешите, я сам...

Он трепетными руками приколол иммортель булавкой к Таниной гимнастерке. Пальцы не слушались его, даже через ногти проникало сладкое, тревожное тепло ее тела...

— Спасибо. Я на Урал поеду, к маме. В Свердловске мы живем,— просто поведала девушка.

— На Урал... А если я когда буду в ваших краях, можно вас навестить, а? Так, ради фронтового товарищества, а?

Ехнецов затаил дыхание, боясь отказа, и сверху смотрел на белокурые Танины локоны.

— Обязательно заходите, рада буду. И мама тоже. У вас карандаш есть?

6

Ефрейтор Пересулько хвалился товарищам:

— О, якого тумака я дав хвюеру! Хай дивятся иностраньци на кпивьского хворварда Пэрсуньку! Садко зыграв ему у самую чупрынь! А гляди, хранцузы—наилепшие кавалеры у целом свите—и те мий ридный язык для объяснения з дивчинами применяют, ась? Потому что язык мий—вин такой самый наикрашчайший, самый пайнэжнийший для такого разговору... Кабы лейтенант не помешав, вже ж я з Таней прийшов бы к общему знаменателю...

Пересулько потряс в воздухе потрепанной маленькой книжкой, вытащенной из кармана, и направился к своему трофейному дизелю.

— Пустобрех ты, Пересулько,—догнал его коротыш с монгольскими глазами.—Отложи Джека Лондона, дай покой человеку. Давай в деле разберемся. У Джека тоже десять-ноль не в нашу пользу говорится... Прочитал уже, наверно, как человек у огонька греется, а волки издали голодными глазами на него зыркают? Прочитал? Вот мы с тобой эти волки и есть. А человек—эвон тот черный. С цветочком к Тане подъехал, хитрюга! Первый раз к нам подходил—тихоня тихоней... А он—вон что такое, а?! Смотри: не гонит его, улыбается. Скажи? Цветочек! Лад-

но, я с моим забайкальским носом мог не сообразить, но ты-то, с твоим громадным нюхательным аппаратом,—должен толк в цветах знать?

— Ты мой нос не трожь!—возмутился Пересулько.—Це хвямильная гордость Пересульков! Знак отличия, вроде ордена... Хэ! Пийшов черный супостат, пийшов до своего лейтенанта...

— «Пийшов!»—передразнил забайкалец.—Пийшов, да с победой. Две победы в один день! А мы из-за пустяков страдать должны. Из-за носов наших. Тр-рагедия!

Пересулько прошипел:

— Був з плюговым носом, зовсим без него останешься... Склюю!.. Э, вона Таню зменяють, тикаем прощеваться...

...Таню сменяет толстушка с доверчивыми карими глазами. Шоферы притихли. Серьезно наблюдают, как Таня повязывает подруге свою красную нарукавную повязку... Вот она задорно вскинула белокурую головку и звонко, без обиды, попрощалась:

— До свидания, ребята!

И шофера разом выдохнули:

— Прощай, Танюша!

Была в этом ответе неподдельная тоска. Тоска разлуки. Была короткая солдатская радость—и нет ее... Ушла Таня...

Простодушно, кротко поглядывает на шоферов Танина сменщица. Будто ждет, что с ней заговорят. Но шоферы почему-то стали тихо расходиться по своим машинам. Побрел к своему бензовозу «Привет Тане» и «артист» из Забайкалья...

...Ехнецов лежит на редкой травке подле лейтенанта Сторонина. Офицер часто, одышливо дышит, иногда вскрикивает, подергивается, но не просыпается. Шофер заботливо прикрыл лицо Сторонина маленькой газеткой, обнаруженной в кармане. Закурил. Достал Танин адрес и несколько раз перечитал его, чувствуя, как сердце тает в тепле неясных надежд. «Крылова Татьяна Тимофеевна». А если так: «Татьяна Тимофеевна Ехнецова»?

Оглянулся на жалобный вскрик лейтенанта, сел, ощупал кнопки планшета, поправил газетку. Солнце успело уже порядочно пройти по небу, исчезло и одинокое кроткое облачко, растворилось в ликующей синеве... Взгляд Ехнецова остановился на арке домового подъезда. Почему он не заметил этого раньше? Арка выложена из какого-то металлизированного кирпича; эта массивная дуга отсвечивает синеватым броневым блеском, разит наглую, вызывающей, тяжеловесной мощью—чуждой, ненавистной мощью безудержного напора. Этот тусклый блеск пре-

4173223
вращает мирный дом черт знает во что... Он напоминает о самых тяжелых временах начала войны, о противном, подленьком страхе, придавленном ненавистью где-то на дне его, ехнецовской, души... Был страх, был! Страх перед технической вооруженностью врага, перед слоновьей поступью давящей, гремящей, неистовой силы железа. Потом Ехнецов задушил этот страх. Тогда стало казаться: будь голова начинена взрывчаткой вместо мозгов, он без колебаний ударился бы этой головой что есть силы в броневую стену вражьего танка, в белый кладбищенский крест на этой стене...

В окне нижнего этажа показалась старуха с крючковатым носом. Та самая, что была свидетельницей «распиловки», учиненной лейтенантом ефрейтору Пересуньке. Ехнецов отвернулся, снова лег, закрыл глаза. И вдруг горькое откровение — безжалостное, бередающее душу: один! Один в целом свете перед непоправимой, непереносимой бедою...

Ехнецов положил руку на сердце, где в нагрудном кармане лежит Танин адрес. Но успокоение не приходит. Опять возникло траурное шествие пленных гитлеровцев; идут, идут серо-зеленые присмирившие звери с бесильными, безвольно болтающимися, ненужными руками... Ехнецову нужны шестьдесят две эти поганые звериные души... Ехнецов настигает их — и от него зависит, жить им, радоваться концу войны или полечь мертвым мясом, растянутым полосой на теплом асфальте шоссе...

А улица гомонит. Где-то ближе к переправе играет гармошка, там свистят, пляшут, прихлопывают в ладоши... И будто совсем рядом цокают коровьи копыта, как на каменистом берегу родной речки... Явственно доносится запах парного молока... А пленные немцы все идут, тянутся через сгоревшую деревню... Воровато озираются, втягивают головы в плечи. Они ни в чем не расканваются, их только мучает страх потерять жизнь сейчас, когда все уже кончено... Глаза их украдкой бегают по пепелищу деревни, по белеющим на черной земле печкам-памятникам... Не смей смотреть! А-аа! Смотрите, во все глаза смотрите. Видите? Так за что ж вам жизнь даровать, треклятые! Дрожите? Молитвы шепчете? А бог — я, Ехнецов. Бог — и все святые вместе... И я один знаю, что сделать с вами — подлыми, кровожадными и трусливыми...

Наяву мычит корова... Откуда ей быть здесь? Ехнецов открыл глаза и сел. Коровы! Множество! Во всю длину тротуара... Жалобно мычат, будто просят: «Гоните дальше,

все к одному концу, только — дальше». Тяжелое розовое вымя ближней шоколадной коровы, которая прячется за машиной от улицы, сочится молоком. Ехнецов смотрит, как на концах сосков набираются блые капли и маленькими бомбочками падают на каменную плиту тротуара... Вот так исторгалось из человека все, что было лучшего в нем, и падало на жертвенник войны... И пропадало, словно это молоко...

Некоторые коровы опускаются на колени. Вот так же, как скотину, гнали гитлеровцы на чужбину наших людей. Только прилечь не давали... Ему, Ехнецову, было бы жалко корову, которая занеможет в пути и пойдет под нож. А им нипочем было прибить человека, если он устанет и упадет в дороге... Воткнул кинжальный штык. Прошибут автоматными пулями... Нет, Ехнецов доберет свой счет! Вы! вы научили Ехнецова такой злобе, такой беспощадности, так казнитесь теперь до последу!

Ехнецов встал, отряхнулся — и пошел к перекрестку.

Пересунько встретил его радушно, усадил на приступку своего дизеля, поинтересовался:

— Ну, друже, як тебя звать — нэ знаю, долго лэйтенант ругавси?

— Нет, он парень добрый.

— А о чем ты з Таней балакал? — с пристрастием выпытывает Пересунько.

— Да так. Спросил, не землячка ли слушаем. Нет, с Урала она, из студенток.

— Не договаривался повстречаться в России?

— Не-ет. — Ехнецов пощупал в кармане хрустящую бумажку с Таниным адресом. Он жалел, что не постоял с девушкой подольше. Застеснялся, да и не хотел разрушать первого впечатления о себе, которое, он видел, было благоприятным. Захотелось убежать, уединиться, помечтать.

— Ты, братуха, автоматных патронов на диск дай мне, — попросил Ехнецов.

— А у менэ карабин... О, о! Щас добудэм. Пишли до Хлескина.

Хлескин сумрачно прогуливался у своего бензовоза «Привет Тане!» Выслушав просьбу Пересунько, ядовито обрадовался:

— Ага, вот как из-за пустяка, носа какого-то, боевое товарищество терять... Не успел отойти, как тебя уж приперло. Поделиться носом с другом ему жалко. — Хлескин смешливо шурил раскосые глаза. — А как торжественно можно было бы обставить эту процедуру! «Слушайте все! На перекрестке улиц Принцессштрассе и Розенштрассе состоится усекновение носа гвардии ефрейтора Пере-

сунько! Гвардеец Пересунько в день победы делится своим носом с боевым другом сержантом Хлескиным!»! Во!

Ефрейтор смиренно снес оскорбление. А Хлескин продолжал:

— Лейтенант, говоришь, из Сибири? Для земляка патронов не жалко. — Хлескин развязывал вещмешок. — Он твою преступную натуру хорошо подковал в политическом смысле... Холодной ковкой, с сибирским холодком... Нос твой мародерский подморозило, мне теперь такого и не надо... А впрочем, свежемороженный он еще сгодился бы... Кабы не лейтенант, — баш на баш: клади нос на капот — получай патроны...

Когда Ехнецов забрал патроны, Пересунько показал Хлескину тяжелый костистый кулак.

— Чем пахнет? Твой мизэрненький нос не чует? Скажу: цэй гвардейский кулак пахнет смэртью!

Забайкалец пожал плотными плечами и невозмутимо ответил:

— Совести у вас, западных, вовсе нету. Они отступают, Сибирь их спасает от варваров, — и вот те благодарность... Да ты на коленях передо мною должен...

— Я — на коленях? Гвардеец Пересунько — на коленях?!

7

Ехнецов не стал слушать шутливую перебранку друзей-шоферов. Карман оттягивали патроны. На полный диск! Он сказал, что патроны просил лейтенант, потому что Пересунько удивился — зачем теперь патроны?

Все так же бегали в отдалении комендантские помощники. А число машин почти не уменьшилось... Э, что надо этим немецким пацанам? Двое мальчишек, взявшись за руки, осторожно обошли спящего лейтенанта и остановились около коровы... Припомнилось: рассказывал в госпитале один офицер: «Катался я на лодке на озере Пансдорфер, под Лигницем. Посадил девятилетнего немецкого мальчишку. Знаю, как их воспитывали. Спрашиваю: «Ты, Вилли, человека убить можешь?» Пацан, не моргнув глазом, отвечает: «За килограмм масла — могу». Вот тебе и девятилетний...»

Мальчуганы стоят подле коровы, которая сошла с тротуара и щиплет редкую травку. Тяжелой, усталой поступью Ехнецов приближается к ЗИСу, сосредоточенно следя за детьми. Похоже — близнецы. Лет как раз по восемь, по девять им. И одеты одинаково:

зеленые короткие штанишки, клетчатые рубашки, босиком. В руке у одного котелок военного образца. Тот, что с котелком, сделал шаг к корове, но тут же отскочил от нее: корова не подпускала к себе. А когда солдат вдруг оказался близко, ребятишки испуганно отпрянули, как воробышки. Отбежали к подъезду дома и оттуда робко глядели на угрюмого русского солдата. Они испугались тяжелого взгляда Ехнецова.

Ехнецов идет к мальчуганам... Они живо скрылись в подъезде... Ехнецов постоял немного в холодке сумрачного тоннельного свода — и побрел дальше, во двор. Там, в глубине двора, он увидел мальчишек. Они что-то объясняли мужчине, который слушал их, покачивая топором в опущенной руке...

Мужчина быстро повернулся — и в молчаливой настороженности ожидал солдата. Небритый, весь в светлой щетине, усталые глаза смотрели обреченно, замученно. Перед ним лежала большая деревянная колода. Только подойдя вплотную, Ехнецов разглядел, что у немца нет правой руки. Совсем нет, по плечо...

Злорадство шевельнулось в душе солдата. Но, встретившись с полными боли и усталости бледно-голубыми глазами немца, Ехнецов невольно устыдился своего горького торжества над калеккой. Однако он быстро одернул себя. Он не хотел позволить себе разжалобиться. Сказал жестко:

— Руби, руби, не помешаю.

Немец униженно сгорбился, уронив взгляд на колоду. Слабые, какие-то жалкие щербинки оставил топор немца на этом дубовом бруске с головою сфинкса в торце. Откуда бревно? Ехнецов видел эти тяжеловесные украшения под потолком большого зала в госпитале. Не понимал, что красивого в этих массивных бурых сутунках...

— Руби, говорю! — солдат грубо ткнул пальцем в сторону колоды.

Немец понял. Молча поднял топор и неловко ударил им. Топор, оскользнувшись, звякнул — и вылетел из единственной руки хозяина. Немец нагнулся, поднял его — и выпустил из руки. Махнул ею с безнадежностью...

Дети в страхе смотрели на здорового молодого солдата. Что сделает он с их отцом?

Ехнецов шатнул к немцу...

— Ничего ты не можешь теперь, фашист!

Немец судорожно передернулся, попятился... Ехнецов взял топор, поплевал на ладони — и что было силы врубил топор в бревно. Оно лопнуло. Еще удар в трещину, еще удар — и колода развалилась надвое. Скоро

солдат покончил с рзботой, утер пилоткой взмокший лоб. Лицо его смягчилось.

— Отвык за войну. И в госпитале залежался, раскис... Как теперь привыкать станем, а?

Вспомнив, что немец не понимает его, поискал слова:

— Их... их... Как его? Их кранк, что ли? Госпиталь, говорю. Валялся в госпитале от фауст-патрона. Ферштейн?

Немец часто закивал головой.

— Я, я, я! Их ферштейн. Данке шён, герр зольдат¹.

— Тринкен хочу. Кальт вассер давай, побольше,— затребовал Ехнецов.

Немец послал мальчиков в дом. Они быстро вернулись, подали Ехнецову полный котелок чистой студеной воды. Калека хотел пригубить котелок, но солдат отнял его:

— Знаю — не отравишь.

Шофер запрокинул голову и стал пить, обливаясь, большими булькающими глотками. Снял пилотку — и остаток воды вылил себе на голову. Выпрямился. Тоненько звякнули две медали «За отвагу».

— И все? — сказал с сожалением, ероша мокрые короткие волосы, с которых туманцем слетают мельчайшие капельки.

Немец поднял руку, пошевелил растопыренными пальцами, призывая подождать. Дети опять побежали в дом. Оба — Ехнецов и немец — с минуту молчали, но эта пауза уже не тяготила их... Мальчики принесли белое эмалированное ведро, на шее у одного висело чистое полотенце.

— Эх, была не была! — Солдат сунул пилотку в руку мальчугану, расстегнул пояс, снял планшет, гимнастерку и полинявшую застиранную майку, бросил их на дрова. Подумав мгновение, поднял планшет и накрепко привязал к бедру. Нагнулся, шлепнул себя по шее. Протяжно скомандовал:

— Пол-ли-ва-ай!

Фыркая, отдуваясь, он мылся по пояс. Поливал из котелка сам немец.

— Ну и мыло у вас,— говорил Ехнецов добродушно, патирая лопатки закинутой за плечо рукою.— Барахло, а не мыло. Глина одна. Пеңы вовсе не дает. Одно слово — эрзац.

— Я, я, я, я,— поддакивал немец, услышав слово «эрзац». Когда Ехнецов снова наклонился, немец тонкой струйкой пустил воду на его широкую мускулистую спину, и сказал с оттенком торжественности:

¹ Да, да, да! Я понял. Большое спасибо, господин солдат (нем.).

— Фриден. Фриден. Гитлер — капут!

Эх, зачем ты сказал это, немец? Ехнецов перестал фыркать и кричать, перестал разговаривать. Молчком мылился, недовольно осматривая бледную кожу и вспоминая госпиталь... Фауст-патронщик, должно быть, остался жив... Слишком часто слышал Ехнецов это «Гитлер капут» от фашистов, которые попадали в плен. Но за минуту до «Гитлер капут» они яростно дрались... И когда они бормотали свое «Гитлер капут», солдат опускал в братскую могилу друзей, убитых этими самыми немцами...

Так же молча, избегая смотреть на немца, шофер принял от мальчика полотенце, крепко растерся. Взял двумя пальцами майку, подержал ее секунду — и бросил обратно на дрова. Хотелось, чтобы тело подышалось свежестью. Тут он увидел на голове мальчугана свою пилотку. Это немногое смягчило его. Солдат поискал глазами, на что присесть, сложил две половинки разбитого кирпича, опустился.

— Что, хорошая пилотка? — он поманил мальчика.

Мальчуган подошел. Ехнецов снял с его головки пилотку, притянул ребенка к себе и стал гладить. Шершавая ладонь цепляла нежный, легкий светло-желтый волос. Ехнецов гладил осторожно, без нажима...

Второй малыш ревниво поглядывал на брата. С мокрым полотенцем на шее доверчиво подходил поближе. Солдат и его приласкал. Приласкал молча, будто отмежевываясь молчанием от отца этих детей, от всего, что он делал... Будто оберегая ребятшек от страшного прошлого их отца... Будто отбирая их от отца...

Мальчуган с полотенцем затаил дыхание — и все смотрел на большой лилово-бурый шрам на животе русского. Тяжелое ранение. Ехнецов был на волосок от смерти. После этого ранения солдата и отпускали домой на поправку. И «поправился»...

Ехнецов исподлобья взглянул на отца ребятшек — и вдруг увидел в этих блеклых, с красными прожилками глазах — слезы...

Солдат осторожно отстранил детей и стал одеваться — торопливо, суетно. Подпоясался, пряча глаза, махнул детям — «за мной!» Поднял ведро.

У входа в подъезд задержался. Немец, прихрамывая, ковылял к дому с котелком под мышкой и с топором в руке, на плече его белело полотенце. Дети нерешительно переговаривались.

— Млеко добывать будем, пацаны,— крикнул им Ехнецов.— Живее ко мне.

Лейтенант Сторонин сладко потягивался, сидя на плащ-накидке. Удивленно воззрился на белое эмалированное ведро. Но, увидев детей, тотчас разобрался в происходящем, улыбнулся.

— Правильно... Жалость какая — сгорают молоко у коров... А выпался я отлично. Теперь любые «сюрпризы» разоблачу. Закусим?

— Сию минуту, товарищ лейтенант. Пацанов сперва надо подпитать, заморенные они.

— Верно!

...Дети, глотая слюнку, жадно следили, как Ехнецов ставил ведро под корову. Животное обеспокоенно шевельнулось в тени автомашины, порываясь уйти из окружения людей. Но лейтенант стал гладить и почесывать корову, что-то успокаивающе, тихо приговаривая. Когда Ехнецов потянул ее за сосок, она вздрогнула. Лейтенант удержал ее и не переставая гладил и разговаривал с нею.

Молоко брызнуло тугой струей, зазвенело в ведре. Корова тихо удовлетворенно замычала.

Ребятишки заворожено смотрят на пальцы русского солдата, ловко перебирающие соски. Сторонин снова улыбнулся детям. Они сконфуженно переглянулись, но тут же устали на струйки пахучего парного молока. А Ехнецов видел сейчас выжженную землю родной деревни, дощечку на столбе, угольные слова и цифры на той дощечке:

«Жителей в Егоровке было 824 человека, коров 1946. Заживо сожжено в сарае 212 человек, 43 человека расстреляно, 56 человек угнано на каторгу в Германию. Из 166 домов уцелел 1. Весь скот реквизирован фашистами-оккупантами. **ВОИН СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ОТОМСТИ!»**

От партизанки Прасковьи Нефедовой Ехнецов узнал, как погибла его семья. Первым был малолетний братишка. Васятка увидел на окраине деревни немца, присевшего по нужде. Мальчик прокрался кустами к фашисту «с тыла», растянул рогатку посильнее — и ударил немца железкой в голый зад. Фашист в ужасе заорал: «Партизанен! Партизанен!», подхватил штаны и бросился к домам. Васятка затаился в кустах. Автоматчики прочесали кустарники, нашли белокрысого мальчугана и на месте прикончили. Потом забрали в неметчину сестренку Верусю. А там и отца с матерью сожгли в запертом сарае...

Ехнецов тряхнул головой, чтобы избавить-

ся от душевной боли, но угольные слова и цифры горели в мозгу. Пальцы сами собою остановились.

— Все? — спросил лейтенант.

Солдат очнулся, вяло засучил пальцами дальше... Скоро ведро наполнилось. Взметаемые речным ветерком соринки падают в молоко. Ехнецов расправил занывшую спину.

Дети вприпрыжку бежали впереди Ехнецова. Он принес ведро к окну и поднял его на подоконник. Потянул ноздрями чужой, нерусский запах, стоящий в полутьме комнаты. Так же пахло и полотенце, которым утирался во дворе. Седая патлатая старуха с трясущейся головой бормотала:

— Данке шён, данке шён!

Самого хозяина не было дома. Ехнецов пошел было к лейтенанту, вытаскивавшему из вещмешка провизию, но тут из подъезда вышел однорукий немец с ребятишками.

— Кофе, кофе, — инвалид просительно кивал в сторону окна.

И Ехнецов почувствовал, что хочет понять до конца, чем дышит у себя дома этот немец, недавний враг, который был знаком только там, на фронте, в боях.

— Может, за ихним столом откушаем, товарищ лейтенант? Все квартирная обстановка...

— Стоит ли? — неопределенно, но явно склоняясь к согласию, — ответил офицер.

— Стоит, стоит, — решил Ехнецов. — Квартирная обстановка...

...В доме немец, вошедший первым, приветствовал гостей поклоном. Лейтенант и Ехнецов козырнули, переступая порог. Хозяин стал за спинку венского стула, держась за нее рукою, и озабоченно наблюдал, как старуха трясущимися руками наливала из чайника дымящийся кофе и по одной чашке приносила на стол.

Ехнецов щедро выкладывал свои и лейтенантовы припасы: черный зачерствевший хлеб, кусочки сахара, немного розоватого сала. Достав складной нож, открыл консервы с тушенкой... Старуха положила туюбик плавленного тильзитского сыра. Хозяин о чем-то распорядился — и старуха, поколебавшись, принесла из буфета еще один туюбик. Должно быть, это было все, что они имели. Хозяин, стоя все там же, вздохнул и полузакрыв усталые глаза.

— Не беспокойтесь, у нас все есть, — сказал лейтенант по-немецки. — Пожалуйста, не беспокойтесь, фрау, и вы, хозяин. — Сторонин, заложив руки за спину, расхаживал у стены, усеянной семейными фотографиями. — Кормите прежде детей.

— Господин офицер говорит по-немецки?— удивилась старуха и подошла к Сторонину, рассматривая курносый профиль лейтенанта.

— Это мой мальчик, Курт. Погиб под русским городом Орел,— съедая окончания слов и сильно картавя, объяснила она. Лейтенант стоял перед фотографией немецкого ефрейтора, заключенной в траурную кайму. Молча кивнул. Старуха поднесла к глазам передник. Хозяин позвал к столу.

— Прошу, кофе стынет. Прошу...

Встрепенулась и старуха:

— Садитесь, господин офицер. Садитесь...

— Ну, славно с молоком-то будет, а? Славно, небось?— Ехнецов крошил черствый, ноздреватый хлеб в тарелку с молоком. Дети нетерпеливо болтали ногами и постукивали по столу ложками. Солдат подвинул к ним тарелку. Ложки сразу же окунулись в молоко, захватывая кусочки хлеба.

— Тюря по-нашему. Сытная штука!— поощрил солдат громко чавкающих мальчуганов.

Хозяин степенно отхлебнул маленький глоток кофе.

— Жена у меня под бомбежкой погибла. Теща едва выжила с мальчиками. Да и сам я — как видите.— Немец смотрел на детей.— Как дальше жить, что будет,— не знаю... Боюсь, для нас все только начинается.

Сторонин хотел ответить. Но старуха, еще не притронувшаяся к своей чашке, вступила в разговор.

— Герр офицер. А стариков и инвалидов тоже будут выселять в Сибирь? Ганс был хорошим слесарем раньше, но что он может теперь? И мои руки отработались, а ног только до кирпичи сходить хватает. Скоро господь призовет меня. Хотелось бы умереть на родине. Неужели нас не пожалеют? У мальчиков легкие затемнены...

Лейтенант поставил чашку и с изумлением

заглянул в выцветшие глаза старой фрау. Не мог удержать смеха.

— Что там старая сморозила?— поинтересовался Ехнецов, прожевывая сало и пригласительно указывая глазами на сало хозяину.

Лейтенант перевел слова старухи. Солдат откинулся на спинку скрипучего стула и неудержимо захохотал.

— Ой, умора!.. В Сибирь вас... В Сибири вас не хватало!.. Да живите себе на здоровье, живите здесь. Или помирайте на родине, коли так хочется. Я не советую помирать. Детишек надо растить. Вот так.

Хозяин и его теща встревоженно смотрели на русских, не зная, как понять их смех: беспощадный ли это приговор или доброе разрешение тягостных дум о будущем?

Сторонин передал им речь Ехнецова.

— А что говорит об этом ваше командование? Правительство?— снова спросила недоверчиво старуха.

Теперь офицер все переводил шоферу. Он хотел, чтобы ответил именно Ехнецов.

— Скажите им, товарищ лейтенант, что правительство и командование думают так же, как Ехнецов. А Ехнецов — как правительство и командование. Вот так!

— Это официально?— все хотела убедиться в невероятном для нее старуха. Она даже привстала со стула.

— Совершенно официально,— подтвердил лейтенант.

— О! А нам говорили — всех погонят в Сибирь, старого и малого в холода...

Выслушав перевод, Ехнецов поднялся за столом.

— Кто говорил? Эта обезьяна шелудивая, Геббельс говорил? А то мы говорим. Люди! Русские люди! Эт-та понимать надо!

...За руль сел Ехнецов. Лейтенант с сомнением покачал головой.

— Будьте спокойны, товарищ лейтенант,— заверил его Ехнецов.— Война окончена.

РУДОЛЬФИО

Рассказ

Первая встреча состоялась в трамвае. Она тронула его за плечо и, когда он открыл глаза, сказала, показывая на окно:

— Вам сходить.

Трамвай уже остановился, и он, проталкиваясь, прыгнул сразу за ней. Она была совсем девчонка, лет пятнадцать-шестнадцать, не больше; он понял это тут же, увидев ее круглое, моргающее лицо, которое она повернула к нему, ожидая благодарности.

— Спасибо,— сказал он,— я ведь мог бы проехать.

Он почувствовал, что ей этого недостаточно, и добавил:

— Сегодня был сумасшедший день, я устал. А в восемь мне должны позвонить. Так что ты меня здорово выручила.

Кажется, она обрадовалась, и они вместе побежали через дорогу, оглядываясь на мчащуюся машину, которая уже набрасывала на них два своих золотистых световых лассо. Шел снег, и он заметил, что на ветровом стекле машины работал «дворник». Когда идет снег — вот такой мягкий, пушистый, словно где-то там, наверху, теребят диковинных снежных птиц, — не очень-то хочется идти домой. «Подожду звонка и снова выйду», — решил он, оборачиваясь к ней и размышляя, что бы ей сказать, потому что дальше молчать было уже неудобно. Но он не знал, о чем можно с ней говорить, и все еще раздумывал, когда она сама сказала:

— А я вас знаю.

— Вот как! — удивился он. — Это каким же образом?

— А вы живете в сто двадцатом, а я в сто четырнадцатом. В среднем два раза в

неделю мы вместе ездим на трамвас. Только вы, конечно, меня не замечаете.

— Это интересно.

— А что тут интересного? Ничего интересного нету. Вы, взрослые, обращаете внимание только на взрослых, вы все ужасные эгоисты. Скажете, нет?

Она повернула голову вправо и смотрела на него слева, снизу вверх. Он хмыкнул, и только, и не стал ничего ей отвечать, потому что не знал, как вести себя с ней, что можно и что нельзя ей говорить.

Некоторое время они шли молча, и она глядела прямо перед собой и, также глядя прямо перед собой, она, как ни в чем не бывало, заявила:

— А вы ведь еще не сказали, как вас зовут.

— А тебе это необходимо знать?

— Да. А что особенного? Почему-то некоторые считают, что если я хочу знать, как зовут человека, то обязательно проявляю к нему нездоровый интерес.

— Ладно,— сказал он,— я все понял. Если тебе это необходимо — меня зовут Рудольф.

— Как?

— Рудольф.

— Рудольф,— она засмеялась.

— Что такое?

Она засмеялась еще громче, и он, остановившись, стал смотреть на нее.

— Рудольф,— она округлила губы. — Рудольф. Я думала, что так только слона в зверинце могут звать.

— Что?!

— Ты не сердись,— она тронула его за

рукав. — Но смешно, честное слово, смешно. Ну, что я могу поделывать?

— Девчонка ты, — обиделся он.

— Конечно, девчонка. А ты взрослый.

— Сколько тебе лет?

— Шестнадцать.

— А мне двадцать восемь.

— Я же говорю: ты взрослый и тебя зовут Рудольф.

Она снова хохотнула, хитро поглядывая на него справа, снизу вверх.

— А тебя как зовут? — спросил он.

— Меня? Ни за что не угадаешь.

— А я и не буду гадать.

— А если бы и стал — не угадал бы. Меня зовут Ио.

— Как?

— Ио.

— Ничего не пойму.

— Ио. Ну, исполняющий обязанности. Ио.

Отмщение наступило моментально. Не в силах остановиться, он хохотал, раскачиваясь то вперед, то назад, как колокол. Достаточно было ему взглянуть на нее, и смех начинал разбирать его снова.

— И-о, — булькало у него в горле. — И-о.

Она ждала, оглядываясь по сторонам, потом, когда он немного успокоился, обиженно сказала:

— Смешно, да? А ничего смешного. Ио — обыкновенное латышское имя, а я латышка.

— Ты извини, — улыбаясь, он наклонился к ней. — Но мне действительно было смешно. Вот теперь мы квиты, правда?

Она кивнула.

Первым был ее дом, а за ним — его. Остановившись у подъезда, она спросила:

— А какой у тебя телефон?

— Тебе это не надо, — сказал он.

— Бойсься?

— Дело не в этом.

— Взрослые всего на свете боятся.

— Это верно, — согласился он.

Она вынула из рукавицы свою ручонку и подала ему. Рука была холодной и тихой. Он пожал ее.

— Ну, беги домой, Ио.

Он опять засмеялся.

У двери она остановилась.

— А теперь ты меня узнаешь в трамвае?

— Еще бы, конечно узнаю.

— До трамвая, — она подняла над головой руку.

— ...в котором мы вместе поедem, — добавил он.

Через два дня он уезжал в командировку на север и вернулся только через две недели. Здесь, в городе, уже чувствовался пряный,

острый запах наступающей весны, сдунувшей с него, словно пепел, зимнюю неясность и не отчетливость. После северных туманов все здесь было ярче и звонче, даже трамваи.

Дома жена чуть ли не сразу же сказала ему:

— Тут тебе каждый день какая-то девчонка звонит.

— Какая еще девчонка? — равнодушно и устало спросил он.

— Не знаю. Я думала, ты знаешь.

— Не знаю.

— Она мне надоела.

— Забавно, — нехотя улыбнулся он.

Он принимал ванну, когда зазвонил телефон. Через дверь было слышно, как жена отвечала: приехал, моется, пожалуйста, попозже. Он уже собирался ложиться, когда телефон зазвонил снова.

— Да, — сказал он.

— Рудик, здравствуй, ты приехал! — раздался в трубке чей-то радостный голос.

— Здравствуйте, — осторожно ответил он. — Кто это?

— А ты не узнал? Эх ты, Рудик... Это я, Ио.

— Ио, — тотчас вспомнил он и невольно рассмеялся. — Здравствуй, Ио. Ты, оказывается, подобрала для меня более подходящее название.

— Да. Тебе нравится?

— Меня так звали, когда мне было столько же, сколько сейчас тебе.

— Не важничай, пожалуйста.

— Нет, что ты...

Они замолчали, и он, не выдержав, спросил:

— Так в чем дело, Ио?

— Рудик, она что — твоя жена?

— Да.

— А почему ты не сказал мне, что женат?

— Прости меня, — шутливо ответил он, — я не знал, что это очень важно.

— Конечно, важно. Ты что — любишь ее?

— Да, — сказал он. — Ио, послушай, пожалуйста: не надо мне больше звонить.

— Испугался, — нараспев произнесла она. — Ты, Рудик, не подумай чего. Ты, конечно, живи с ней, если хочешь, я не против. Только так тоже нельзя: не звони. А может, мне по делу надо будет.

— По какому делу? — улыбаясь, спросил он.

— Ну как, по какому. Ну... ну, например, из одного резервуара у меня вода никак под ответ не выкачивается в другой, — нашлась она. — Ведь тогда можно, правда?

— Не знаю.

— Конечно, можно. А ее ты не бойся, Рудик, ведь нас двое, а она одна.

— Кого?— не понял он.

— Да жену твою.

— До свиданья, Ио.

— Ты устал, да?

— Да.

— Ну, хорошо. Пожми мне лапу и ложись спать.

— Жму тебе лапу.

— А с ней даже не разговаривай.

— Ладно,— он засмеялся.— Не буду.

Все еще улыбаясь, он вернулся к жене.

— Это Ио,— сказал он.— Так зовут эту девчонку. Забавно, правда?

— Да,— выжидающе ответила она.

— Она не могла решить задачу с двумя резервуарами. Она учится не то в седьмом, не то в восьмом классе — не помню.

— И ты помог ей с задачей?

— Нет,— сказал он.— Я все перезабыл, а резервуары — это действительно сложно.

Утром телефон зазвонил чуть свет. Какой там свет — никакого света не было, весь город спал последним предзвездным сном. Поднимаясь, Рудольф взглянул на дом напротив — ни одно окно еще не было освещено, и только подъезды, как губные гармошки, сияющие металлом, светились четырьмя правильными рядами. Телефон трезвонил беспрерывно. Подходя к нему, Рудольф взглянул на часы: половина шестого.

— Слушаю,— сердито сказал он в трубку.

— Рудик, Рудик...

Он рассвирепел:

— Ио, ведь это же черт знает что такое...

— Рудик,— перебили его,— послушай, не сердись, ты еще не знаешь, что случилось.

— Что случилось?— остывая, спросил он.

— Рудик, ты уже больше не Рудик, ты Рудольфио,— торжественно объявили ему.— Рудольфио! Здорово, правда? Это я только что придумала. Рудольф и Ио — вместе получается Рудольфио, как у итальянцев. Ну-ка повтори.

— Рудольфио,— в голосе смешались отчаяние и ярость.

— Правильно. Теперь у нас с тобой одно имя — мы нерасторжимы. Как Ромео и Джульетта. Ты Рудольфио и я Рудольфио.

— Послушай,— приходя в себя, сказал он.— Ты бы не могла в другой раз парекать меня в более подходящее время?

— Ну как ты не поймешь, что я не могла ждать. Вот. А потом тебе пора вставать. Рудольфио, запомни: в половине восьмого я жду тебя на трамвайной остановке.

— Я сегодня не поеду на трамвае.

— Почему?

— У меня отгул.

— А что это такое?

— Отгул — это внеочередной выходной, я не пойду на работу.

— А-а,— сказала она.— А как же я?

— Не знаю. Поезжай в школу и все.

— А у твоей жены тоже отгул?

— Нет.

— Ну, это еще ничего. Только ты не забывай: нас теперь зовут Рудольфио.

— Я счастлив.

Он водворил трубку на место, и чертыхаясь пошел кипятить чай. Уснуть теперь все равно он бы не смог. К тому же в доме напротив уже светились три окна.

В полдень в дверь постучали. Он как раз мыл полы и, открывая, держал в руках мокрую тряпку, которую почему-то не догадался оставить где-нибудь по дороге.

Это была она.

— Здравствуй, Рудольфио!

— Ты!— удивился он.— Что случилось?

— Я тоже взяла отгул.

— Вон как!— мужественно ответил он.— Гуляешь, значит. Ну, проходи, коли пришла. Я сейчас домою.

Не раздеваясь, она села в кресло возле окна и стала смотреть, как он, склонившись, водит тряпкой по полу.

— Рудольфио, по-моему, ты несчастлив в семейной жизни,— заявила она через минуту.

Он выпрямился.

— С чего ты взяла?

— Это очень легко увидеть. Например, ты без всякого удовольствия моешь полы, а у счастливых так не бывает.

— Не выдумывай,— улыбаясь, сказал он.

— А скажешь, счастлив?

— Ничего не скажу.

— Ну, вот.

— Ты лучше разденся.

— Я тебя боюсь,— заглядывая в окно, сказала она.

— Что-что?

— Ну, ты же мужчина...

— Ах, вон что.— Он засмеялся.— Как же ты осмелилась сюда идти?

— Ну мы же с тобой Рудольфио.

— Да,— сказал он,— я все забываю об этом. Это, конечно, накладывает на меня определенные обязанности.

— Конечно.

Она замолчала и, пока он гремел ведром в кухне, сидела тихо. Но когда он вышел к ней,

пальто уже висело на спинке кресла, а лицо у нее было задумчивое и печальное.

— Рудольфио, а я сегодня плакала,— вдруг призналась она.

— Отчего, Ио?

— Не Ио, а Рудольфио.

— Отчего, Рудольфио?

— Это из-за моей старшей сестры. Она устроила скандал, когда я решила взять отгул.

— По-моему, она права.

— Нет, Рудольфио, не права.— Она поднялась с кресла и стала возле окна.— Один раз можно, как вы не поймете. Я сейчас, знаешь, какая счастливая, что с тобой говорю...

Она опять замолчала, и он внимательно посмотрел на нее. Сквозь платье, волнуясь, у нее пробивались груди, как два маленьких гнездышка. Он подумал, что уже через год лицо у нее удлинится и станет красивым, и ему стало грустно от одной только мысли, что со временем будет и у нее свой парень, который, быть может, даже без волнения завладеет всем этим богатством. Он подошел к ней, взял ее за плечи и, улынувшись, сказал:

— Все будет хорошо.

— Правда, Рудольфио?

— Правда.

— Я тебе верю,— сказала она.

— Да.

Он хотел отойти, но она позвала:

— Рудольфио!

— Да.

— Зачем ты так рано женился? Ведь еще бы два года, и я бы вышла за тебя замуж.

— Не торопись,— сказал он.— Ты и так выйдешь замуж, за какого-нибудь очень хорошего парня.

— Я бы хотела за тебя.

— Он будет лучше, чем я.

— Ну да,— недоверчиво протянула она.— Ты думаешь, лучше бывают?

— В тысячу раз лучше бывают.

— Но это будешь не ты,— она вздохнула.

— Давай лучше пить чай,— предложил он.

— Давай.

Он пошел на кухню и поставил чайник на плитку.

— Рудольфио!

Она стояла возле полок с книгами.

— Рудольфио, у нас с тобой самое красивое имя. Вот посмотри, даже у писателей нет лучше.— Она на мгновение умолкла.— Может быть, только вот у этого. Эк-зю-пе-ри. Правда, красивое?

— Да,— сказал он.— А ты не читала его?

— Нет.

— Возьми и почитай. Только без отгулов, договорились?

— Договорились.

Она стала одеваться.

— А чай?— вспомнил он.

— Рудольфио, я лучше пойду, хорошо?

Улыбка у нее была грустная.

— Ты только не говори своей жене, что я здесь была. Хорошо, Рудольфио?

— Ладно,— пообещал он.

Когда она ушла, он почувствовал, что ему стало тоскливо, он был полон какой-то необъяснимой, еще не открытой тоски, тем не менее существующей в природе. Он оделся и вышел на улицу.

Весна наступила как-то сразу, почти без предупреждения, она как гол влетела в ворота города, вызвав неистовый шум болельщиков. Люди за несколько дней стали добрее, и эти несколько дней казались им переходным периодом от поры ожидания к поре свершения, потому что весенние сны с мастерством опытной цыганки нагадали им счастья и любви.

В один из таких дней, уже вечером, когда Рудольф возвращался домой, его остановила пожилая женщина.

— Я мать Ио,— начала она.— Вы простите, вас, кажется, зовут Рудольфио.

— Да,— улынувшись, согласился он.

— Я знаю о вас от дочери. В последнее время она много говорит о вас, но я...

Она замялась, и он понял, что ей трудно спросить то, что необходимо было спросить как матери.

— Вы не волнуйтесь,— сказал он.— У нас с Ио самая хорошая дружба, и ничего плохого от этого не будет.

— Конечно, конечно,— смущаясь, затормозилась она.— Но Ио — несдержанная, взбалмошная девочка, она нас совсем не слушает. И если вы повлияете на нее... Понимаете, я боюсь, возраст такой, что надо бояться,— она может натворить глупостей. И потом меня пугает, что у нее совсем нет подруг среди одноклассниц и даже вообще среди сверстников.

— Это плохо.

— Я понимаю. Мне показалось, вы имеете на нее влияние...

— Я поговорю с ней,— пообещал он.— Но, по-моему, Ио хорошая девочка, зря вы так беспокоитесь.

— Не знаю.

— До свиданья. Я поговорю с ней. Все будет хорошо.

Он решил позвонить ей сразу же, не откладывая, тем более, что дома не было жены.

— Рудольфио!— было видно, что она очень обрадовалась.— Какой же ты молодец, что позвонил. Рудольфио, а я опять плакала.

— Нельзя так часто плакать,— сказал он.

— Это все «Маленький принц». Мне его жалко. Ведь правда, он был у нас на земле?

— По-моему, правда.

— И по-моему, тоже. А мы не знали. Ведь это же ужасно. И если бы не Экзюпери, никогда бы не узнали. Не зря у него такое же красивое имя, как у нас.

— Да.

— Я еще вот о чем думаю: хорошо, что он так и остался Маленьким принцем. Потому что страшно: а вдруг потом он бы стал самым обыкновенным. А у нас и так слишком много обыкновенных.

— Не знаю.

— Зато я знаю, это точно.

— А «Планету людей» ты прочитала?

— Я все прочитала, Рудольфио. По-моему, Экзюпери очень мудрый писатель. Даже страшно становится — до чего мудрый. И добрый. Помнишь: Барка выкупают на свободу, дают ему деньги, а он тратит их на туфельки для ребятншек и остается ни с чем.

— Да,— сказал он.— А помнишь Боннафуса, который разорял и грабил арабов, а они его ненавидели и в то же время любили.

— Потому что без него пустыня казалась им самой обыкновенной, а он делал ее опасной и романтической.

— Ты молодчина, если все это понимаешь,— сказал он.

— Рудольфио,— она замолчала.

— Я слушаю,— напомнил он.

Она молчала.

— Рудольфио,— отчего-то волнуясь, сказал он.— Приходи сейчас ко мне, я один.

Оглядываясь, она прошла к креслу и села.

— Ты чего такая тихая?— спросил он.

— Ее правда нет?

— Жены?

— Ну да.

— Нет.

— Мыра она у тебя.

— Что?

— Мыра — вот что!

— Где ты взяла это слово?

— В великом русском языке. Там для нее ничего более подходящего нет.

— Ио, ну нельзя же так.

— Не Ио, а Рудольфио.

— Ах, да.

— Я недавно позвонила и попала на нее. Знаешь, что она мне сказала? Если, говорит, ты насчет резервуаров, то лучше обратись к учителю. По-моему, она ревнует тебя ко мне.

— Не думаю.

— Рудольфио, а правда я лучше ее? И у меня еще все впереди.

Он улынулся и кивнул.

— Вот видишь. По-моему, тебе пора с ней развестись.

— Не говори глупости,— оборвал он ее.— Я тебе слишком многое позволяю.

— Из любви, да?

— Нет, из дружбы.

Она, насупившись, умолкла, но было видно, что это ненадолго.

— Как ее зовут?

— Кого — жену?

— Ну да.

— Клава.

— Ничего себе приданое.

Он рассердился:

— Перестань.

Она поднялась, на мгновение закрыла глаза и вдруг сказала:

— Рудольфио, прости меня, я не хотела...

— Только не реветь,— предупредил он.

— Не буду.

Она отошла и отвернулась к окну.

— Рудольфио,— сказала она,— давай договоримся так: я у тебя сегодня не была и ничего этого не говорила, хорошо?

— Да.

— Считай, что это «до свидания» я тебе сказала по телефону.

— Да.

Она ушла.

Через пять минут зазвонил телефон.

— До свиданья, Рудольфио.

— До свиданья.

Он подождал, но она положила трубку.

Она уже больше не звонила, и он ее долго не видел, потому что опять уезжал и вернулся только в мае, когда на солнечных весах лето окончательно перевесило весну. В это время у него постоянно было много работы, и, вспоминая о ней, он все откладывал: поговорю завтра, послезавтра, но так и не поговорил.

Они встретились случайно — наконец-то в трамвае. Он увидел ее и стал нетерпеливо проталкиваться, боясь, что она сойдет — ведь она могла сойти и на другой остановке, а он бы, наверное, не решился прыгнуть вслед за ней. Но она осталась, и он поймал себя на том, что обрадовался этому больше, чем следовало бы, наверное.

— Здравствуй, Ио,— касаясь рукой ее плеча, сказал он.

Она испуганно обернулась, увидела его и, радостно замешкавшись, кивнула.

— Ио!

— Не Ио, а Рудольфио,— как и раньше, поправила она.— Мы ведь с тобой все еще друзья, правда?

— Конечно, Рудольфио.

— Ты уезжал?

— Да.

— Я однажды звонила, тебя не было.

— Я уже целую неделю здесь.

Народу в трамвае было много, и их беспрерывно толкали. Пришлось встать совсем близко друг к другу, и ее голова касалась его подбородка, а когда она поднимала лицо, а он, прислушиваясь, наклонялся, приходилось отводить глаза — настолько это было рядом.

— Рудольфио, хочешь, я тебе что-то скажу?— спросила она.

— Конечно, хочу.

Она опять подняла лицо, совсем близко к его лицу, так что ему захотелось зажмуриться.

— Я все время скучаю без тебя, Рудольфио.

— Глупышка ты,— сказал он.

— Я знаю.— Она вздохнула.— Но ведь не скучаю же я по всяким мальчишкам, они мне сто лет не нужны.

Трамвай остановился, и они сошли.

— Ты пойдешь к своей Клаве?— спросила она.

— Нет, давай погуляем.

Они свернули к реке, туда, где начинался пустырь, и шли без дорожки, перепрыгивая через кочки и кучи мусора, и он взял ее за руку, помогая перебираться через завалы.

Она молчала. Это было непохоже на нее, но она молчала, и он чувствовал, что она, как и он, тоже полна волнения — сильного, гудящего и ничему не подвластного.

Они вышли к яру, и все еще держась за руки, смотрели на реку, и куда-то за реку, и снова на реку.

— Рудольфио,— не выдержав, сказала она.— Меня еще ни разу никто не целовал.

Он наклонился и поцеловал ее в щеку.

— В губы,— попросила она.

— В губы целуют только самых близких людей,— мучаясь, выдавил он.

— А я?

...Она вздрогнула, и он испугался. В следующее мгновение он вдруг понял — не почувствовал, а именно понял, что она ударила его, закатила самую настоящую пощечину и бросилась бежать, снова туда — через пу-

стырь, через кочки, через волнение и ожидание.

А он стоял и смотрел, как она убегает, и не смел даже окликнуть ее, не смел броситься за ней и догнать. Он еще долго стоял — опустошенный, ненавидящий себя.

Это случилось в субботу, а в воскресенье рано утром ему позвонила ее мать.

— Рудольфио, простите, пожалуйста, наверное, подняла вас...

Голос у нее был сбивчивый, дрожащий.

— Я слушаю,— сказал он.

— Рудольфио, Ио сегодня не ночевала дома.

Ему надо было что-нибудь ответить, но он молчал.

— Мы в отчаянии, мы не знаем, что делать, что предпринять, это впервые...

— Сначала успокойтесь,— сказал наконец он.— Может быть, она за ночевала у подружки.

— Не знаю.

— Скорей всего, так оно и есть. Если часа через два не придет, будем искать. Только успокойтесь, через два часа я позвоню вам.

Он опустил трубку, подумал и сказал сам себе: ты тоже успокойся, может быть, она за ночевала у подружки. Но успокоиться он не мог, наоборот, он почувствовал, что его начинает бить нервная дрожь. Чтобы унять ее, он пошел в чулан и, насвистывая, стал рыться в своих старых, еще школьных учебниках. Задачник по алгебре где-то запропастился и, отыскивая его, он несмужко отвлекся.

Телефон, притаившись, молчал. Рудольф закрыл за собой на кухне дверь и стал листать задачник. Вот она: если из одного резервуара в течение двух часов перекачивать воду в другой резервуар...

Зазвонил телефон...

— Она пришла,— не сдерживаясь, мать заплакала.

Он стоял и слушал, как она вытирает платочком глаза.

— Рудольфио, придите, пожалуйста, к нам.

Она опять заплакала и уж потом добавила:

— С ней что-то случилось.

Не спрашивая разрешения, он снял плащ, и мать молча показала ему рукой на дверь ее комнаты.

Ио сидела на кровати, поджав под себя ноги, и, раскачиваясь, смотрела прямо перед собой в окно.

— Рудольфио!— позвал он.

Она обернулась к нему и ничего не сказала.

— Рудольфио!

— Перестань,— брезгливо сморщилась она.— Какой ты Рудольфио, ты самый элементарный Рудольф.

Удар был настолько сильным, что боль сразу охватила все тело, но он заставил себя остаться, он подошел к окну и оперся на подоконник.

Она все раскачивалась взад и вперед, и

все смотрела перед собой, и тихо скрипели под ней пружины кровати.

— Ну, хорошо,— соглашаясь с ней, сказал он.— Но объясни, где ты была.

— Тебе это интересно?— она явно передраживала его.

— Да.

Не обращая на него внимания, она замурлыкала какой-то протяжный незнакомый мотив — тоскливый и бесконечный. И все раскачивалась взад и вперед.

В ОБЩЕМ ВАГОНЕ

Рассказ

Давно, очень давно Волков не ездил в общем вагоне, а тут пришлось. Это было время летнего пассажирского наводнения, и поезда, как волны, один за другим шли к дальним западным и восточным берегам, с шумом сшибаясь на вокзалах и каким-то чудом все же расходясь по сторонам. Волков прошел в последний вагон и стал проталкиваться среди ног и спин. Сесть было пегде: всюду люди и узлы, и узлы походили на людей, а люди на узлы — те и другие двигались, толкались и искали свободное место. Волков встал у самого выхода из последнего купе и снял пиджак.

Духота в вагоне стояла невыносимая. Люди быстро вспотели и теперь пылали, словно костры, разожженные друг возле друга. Капли пота на их лицах сверкали, как искры, — казалось, вот-вот они затрещат, разлетаясь по сторонам, но в самый последний момент люди торопливо гасили их платками. Поезд уже должен был двинуться, но почему-то все стоял и стоял. Волков уже в который раз начинал считать до десяти, гадая, на каком же числе состав тронется, но тот, казалось, никуда не торопится.

Прямо перед Волковым на скамье сидели две девушки лет по семнадцать-восемнадцать и мужик в соломенной шляпе и в каком-то блестящем, чешуйчатом галстуке, который даже по формам напоминал рыбий хвост. Когда мужик открывал рот, хватая им воздух, галстук в такт этому жадному дыханию послушно двигался из стороны в сторону. Четвертое место на скамье было занято странного вида остроконечным узлом, родство которого с мужиком даже не надо было доказывать,—

он восседал как его родной сын. Волкова этот узел раздражал. Только потому, что его принесли раньше, он занял место, а человек должен стоять на ногах.

— Папаша,— не вытерпел наконец Волков,— а узел-то можно бы убрать, а?

— А там водка,— сказал мужик.

— Ну и что?

— А ничего. Оно, конечно, можно и водку под лавку засунуть. Вот ты и сядешь.

— Спасибо,— буркнул Волков.

Только он сел, поезд тронулся. По вагону сразу же прошелся ветерок, и люди зашевелились, задышали, стали приглядываться друг к другу. В ожидании время остается как бы всего лишь с одной часовой стрелкой: оно утомительно и неторопливо. Но вот ожидание кончилось, минутная стрелка снова пошла по кругу, и люди сразу стали другими, словно и в них тоже заработали какие-то важные части, которые были выключены. Мужик рядом с Волковым вдруг о чем-то забеспокоился и заерзал на своем месте, поглядывая то в одну, то в другую сторону. Потом он повернулся к Волкову.

— Далеко едешь?

— Нет.

— Это смотря как рассматривать,— философски заметил мужик,— а то можно сказать, что и до Москвы недалеко.

— Можно,— согласился с ним Волков,— но я до Москвы не доеду, я утром сойду.

Мужик кивнул головой, но не успокоился. О чем-то размышляя, он еще раз кивнул и после этого спросил:

— Это какая же остановка у нас утром будет?

— Комарово.

— Комарово,— мужик обрадовался.— Вот как. Так бы сразу и сказал, что Комарово. Они вот тоже в Комарово вылезать будут,— он показал рукой на девушек.— У меня там дружок до войны жил, Ванька Андриянов. Может, знаешь такого?

— Нет, не знаю,— сказал Волков.— Я там еще не был.

— Значит, в первый раз. Посмотри, посмотри. А я в Комарове был. Давно был, до войны еще. Мы там с Ванькой Андрияновым на бухгалтерских курсах вместе учились. А ты-то туда в гости едешь?

— Нет, не в гости. В командировку.

— А-а-а, ишь ты.

Видно, перед поездом мужик выпил и теперь мог беседовать хоть со всем вагоном. То и дело он засовывал ногу под скамью и передвигал там свой узел. Вид при этом у него был сосредоточенный и внимательный. Потом он ставил ногу на место и начинал крутить головой, словно проверяя, все ли в ней хорошо. По всему было видно, что мужик страдает, а страдать он, конечно, не хотел. Поэтому, решившись, он осторожно подтолкнул Волкова локтем, и когда тот обернулся, зашептал, показывая пальцем под скамью:

— А в сумке-то водка.

— Да-да,— сказал Волков, не зная, что на это надо отвечать.

— Давай,— предложил мужик, сладко прищурившись.

— Нет,— Волков отказался.— Жарко.

Мужик кивнул, но сам, конечно, не понял, как можно отказываться от того, что, по его мнению, объединяет сердца и души всех людей. Он умолк, но не успокоился. Себе он уже дал разрешение — это было самое главное, остальное уладить было легче. Он поднялся и, оглядываясь, пошел в ту же сторону, куда шел поезд. Волков с облегчением вздохнул.

Трясло в вагоне ужасно — сказывалось то, что он был последним. Казалось, он беспрестанно переваливается с рельса на рельс, словно подпрыгивая то на одной ножке, то на другой, потом отдохнет, пройдетя немножко как следует и снова начинает прыгать. Привыкнуть к этому было бы нетрудно, знай Волков, что в поезде нет купированных вагонов и все едут на одинаковом положении. Но они были, и люди в них играли в шахматы, читали книги или просто, в конце концов, могли развалиться на скамье. Мысль об этом причиняла Волкову боль, и он морщился от нее, заранее чувствуя себя разбитым и нездоровым. О том, что будет ночью, он старался не думать.

Поезд шл на запад, вслед за днем, но не поспевал за ним, его самого уже нагонял вечер — он был здесь какой-то дымчатый и неясный, словно уставший от бега. Волков смотрел в окно, но как-то невнимательно — смотрел и почти ничего не видел, кроме вечера, который мчался по рельсам телеграфной линии, где столбы, как шпалы, рябили в глазах.

Не выдержав, Волков отвернулся. Девушки рядом с ним о чем-то щебетали, и он involuntarily прислушался. Они говорили об одноклассниках, перебирая каждого, — кто куда пошел после школы. Сами они, судя по всему, только что сдали экзамены в пединститут и теперь на несколько дней, оставшихся до занятий, ехали домой. Они уже сейчас жили встречами и разговорами, которые им предстоят дома, ради них они ехали обратно, хотя, наверное, могли бы не ехать. И, конечно, они правы — это стоило того, чтобы тратить деньги и вести себя по-ребячьи. Волкову захотелось поговорить с ними и хоть ненадолго приобщиться к их радости, к чувству, которое он когда-то испытал сам. Сколько же с тех пор прошло? Ровно шестнадцать лет, он один прожил почти столько же, сколько они вдвоем, но они считают себя совсем взрослыми, а он, наоборот, думает о своей взрослости как о будущем, хотя ему за тридцать. И попробуй тут разберись, кто прав, а кто нет. Думая об этом, он спросил совсем другое.

— А Комарово далеко от станцин, девушки?

Они повернулись к нему разом.

— Нет, километра два,— сказала одна.

— Там автобус ходит,— подсказала другая.

— Это хорошо, что автобус,— он улыбнулся им.

— А вы правда в первый раз к нам?

— Правда.

— А что вы слыхали о нашем городе?

— Кажется, ничего,— сказал он, подумав.— Кроме того, что есть такой. Но, если вы хотите, я могу рассказать вам о нем.

— Это как?— спросила та, которая сидела рядом с Волковым, недоуменно подняв на него свои громадные, какого-то весеннего цвета глаза, в которых было и голубое, и синее, и зеленое — все сразу.

— А вот так.

Волков был рад, что затеял этот разговор — вот и время пройдет, но главное было не в этом, главное заключалось в том, что он будет меньше завидовать их молодости, непосредственности, наивности, тому внутрен-

нему человеческому пространству, которое не заполнено еще в них ни большими ошибками, ни большими заботами. Они почему-то напоминали Волкову бутылки с молоком — не зря же говорят, что молоко на губах не обсохло — и вид у них был молочный: белый, чистый и свежий. Они просто жили и только, не задумываясь еще о своей величине и не ведая о том, насколько трудно быть человеком.

Рассказать о городе, в котором они жили, Волкову ничего не стоило: он много ездил и знал, что районные городишки мало чем отличаются друг от друга. Почти у всех у них постоянно рабочий вид, они невыразительны и неприхотливы.

— У вас там деревянные тротуары, — начал он, — да и то они в порядке только на главной улице. Эта улица длинная-длинная и по ней от начала и до конца — это значит от вокзала и до какого-нибудь маслозавода ходят маленькие автобусы, с одной, с передней дверцей.

— Но у нас есть и большие, — поправила его та, которая сидела в углу. — И ходят они не до маслозавода, а до РТС.

— До РТС, — он сразу согласился. — Они проходят мост через Комаровку — так называется ваша речка?

— Та-ак.

— Она неширокая, спокойная, и зимой по ней возят сено. На лошадях. Теперь дальше. Город ваш почти весь деревянный, двухэтажных каменных зданий только пять или шесть — это райком, две школы, комбинат бытового обслуживания, клуб и контора РТС. Гостиница деревянная и вход в нее почему-то со двора.

— Вы правда у нас не были? — удивленно спросила его девушка с весенними глазами.

— Правда.

Пришел мужик, шумно сел на свое место и, прислушиваясь, настороженно молчал.

— А вы не смеялись над нашим городом? — снова спросила девушка.

— Нет, зачем же.

— Он у нас старый, добрый и никому зла не делает. Мы его любим.

Волков улыбнулся.

— Честное комсомольское!

— И все-таки вы уезжаете из него в большой город, — сказал Волков.

— Во-во, — подхватил мужик. — Жили-были и нету. Только поднялись и ищи-свищи. От отца, от матери — ко всем чертям, и не найдешь — вот какое дело! А в деревнях что происходит!

— Да нет, отец, — с досадой сказал Волков, — не о том вы. Они же учиться едут. В своем маленьком городе они становятся добрыми — от тишины, от тополей, от речки, а умными надо становиться где-то в другом месте.

— Куда там!

— А что — конечно.

— Во-во, все умные, одни мы дураки.

— Да зачем вы так?

— А, едут, пускай едут. Мне начхать да рюмочкой запить, вот и все расставанья. У меня свои проблемы огородами стоят, весь век разбирай, не разберешь.

Волков молчал.

Мужик пожевал губами и вдруг радостно толкнул Волкова в бок.

— Земляка я встретил.

Волков не ответил.

— В том вагоне едет. Я, значит, иду, а он сидит. Вот так я его и обнаружил. А он не знал, что я еду, оттого и сидел. А еще говорят...

Мужик на полупhrase умолк и, наклонившись, стал шарить рукой под скамьей, пока бутылки не зазвенели.

— Голос подают, — обрадовался он. — Водка, она в бутылке тоже ум имеет, а уж когда в человека войдет, то там безобразия разводит — это верно.

Он взглянул на Волкова, словно проверяя, какое на тогo это произвело впечатление, но ничего не увидел и продолжал:

— У меня сосед был. Весь век ни капли в рот не брал, а помирать лег, старуху за бутылкой послал. И всю ее, значит, выпил и помер. Это как объяснить?

— Не знаю, — пожал плечами Волков.

— А чего тут знать? Значит, всю жизнь человек от этой трезвости, как от заразы, мучился, а перед смертью не выпес. Это понимать надо.

Мужик, довольный собой, глубокомысленно вздохнул, взглянул вправо и обрадованно произнес:

— Идет, идет!

Подошел парень.

— Ну, здравствуй, еще разок, Петро, — засуетился мужик, протягивая ему руку.

— Здравствуй, Иван Сергеевич.

— Вот ведь как, Петро, а! Ты, значит, там едешь, а я здесь сижу. Это как, а?

— Бывает, — развел руками парень.

— Ну, мы это положение выправим. Ты как, а? Ничего?

— Ничего.

— Во-во. Главное — не быть дураком. Правильно я говорю?

Мужик достал узел, поставил его себе на колени и развязал. Все это он проделал не спеша, с чувством хозяина. Бутылки были спрятаны в носки — видно, чтобы в дороге не побились.

Парню сесть было некуда, и он, стоя перед мужиком, следил за каждым его движением. Вот показалось горлышко, и мужик, все так же не торопясь, отбил с него сургуч и достал стакан.

Рядом с Волковым забулькало.

— Ну, за встречу или как?

— А хоть как.

— Во-во.

А поезд все шел да шел. За окном лежала темнота, и поезд прошивал ее, как игла.

В соседнем купе заплакал ребенок. Волков видел, как мать, укачивая его, смотрела в темноту, и ей, наверно, было тревожно от ее близости. Мужик снова налил в стакан и, набирая духу, остановился. У девушки, которая сидела рядом с Волковым, тускнели от тяжести глаза — два ее маленьких солнца приближались к закату. Черная голая шея парня, которую, видимо, и зимой и летом укутывали только ветры, стала багровой. Люди на скамьях постепенно расплывались. Волкова клонило ко сну, и все, что было перед ним, получало другие очертания и измерения.

Мужик, резко повернувшись, больно толкнул Волкова в бок.

— Осторожней, отец, — открывая глаза, со злостью сказал он.

— А, извиняй, извиняй.

Сон сразу пропал — покачался, покачался и, словно обидевшись, куда-то ушел. Волков выругался про себя и от нечего делать стал смотреть, как затихает вагон, как люди по очереди вытягивают ноги и роняют головы. Казалось, они были цифрами на какой-то замысловатой мишени, и невидимый стрелок мастерски поражает их одну за другой.

— Ну, я пойду, Иван Сергеевич, а то место займут, — сказал парень.

— Иди, коли так, иди, — позволил мужик. — Я сейчас тоже прикорну, а завтра вместе сойдем. На сегодня хватит — правильно ты говоришь.

«Слава богу, — подумал Волков. — Может, правда успокоится».

Мужик прильнул головой к стене, что-то пробормотал и сразу же выпрямился.

— Мы какую станцию проехали? — спросил он.

— Не знаю, — ответил Волков. — Спи, отец, утром разберемся.

— Э, нет. Оно, конечно, спать можно, но, с другой стороны, можно и выпить. Ты как, а?

— Я никак, я уже сказал. И тебе, отец, хватит. Потом будешь всю ночь куролесить. Волков рассердился.

— Подожди, — мотая головой, сказал мужик. — Я тебе сейчас, все, значит, до капли объясню. Мы с Петром один носок опростали, а куда его один, когда у меня две ноги? Соображаешь?

Он хохотнул и снова достал узел.

Девушка, которая сидела рядом с Волковым, подняла голову и открыла глаза. Ее лицо недоуменно повернулось в сторону мужика и обиженно нахмурилось. Она снова закрыла глаза — казалось, хлопнула дверью и ушла, чтобы не оставаться вместе с ним. Но что-то заставило ее вернуться. Когда Волков повернулся к ней, она, вздохнув, молча смотрела перед собой, и этот вздох, как звук открываемой двери, снова вернул ее на прежнее место.

— Не спишь? — вполголоса спросил Волков.

— Разве тут уснешь? — обиженно сказала она.

— Ничего, вы днем отоспитесь.

— Конечно, отосплюсь. А все равно спать хочется.

— А ваша подруга спит.

— Ага, она спит, — сказала девушка и, слабо улынувшись, взглянула на Волкова.

— Что вы завтра будете делать? — спросил он.

— Не знаю.

— А я знаю.

— Вы все знаете.

— Да, — сказал он.

— А что я завтра буду делать?

— Вы пойдете по вашим деревянным тротуарам от самого вокзала до самой РТС.

Она молчала.

— Правда? — спросил он.

— Правда, — призналась она. — Но теперь я не пойду, раз вы про это знаете.

— Ну и зря.

— Я спать хочу, — сказала она. — Он еще долго будет пить?

— До утра, наверно.

Девушка ничего не ответила. Казалось, ее лицо покрывалось вуалью или чадрой, оно теряло выражение и становилось все более и более усталым, потом и глаза закрылись, и Волков опять остался наедине с мужиком.

Тот, глядя куда-то в сторону, мял пальцами папиросу, и табак сыпался ему на колени.

— Вот что, отец, — Волков взял его за

плечо.— Давай договоримся, что здесь ты курить не будешь. Здесь дети, понимаешь?

— Они спят,— возразил мужик.

— Если ты здесь закуришь, я тебя вытолкаю из вагона,— решительно сказал Волков.

Мужик поднялся и послушно заковылял в тамбур.

Волков устал. «Никогда, ни за что в жизни в общий вагон больше не пойду,— думал он.— Надо было подождать. Надо было пропустить хоть десять поездов, зато на одиннадцатом ехать нормально».

Потом он вытянул ноги и оглянулся на девушку. Она спала. Спать было неудобно, и она, охраняя себя от тряски, скрестила руки на груди. Ее узкие, сдвинутые вместе колени, как узлы, завязанные на память о ее великой девичьей тайне, подпрыгивая, дрожали. Волков отвернулся, чтобы заглушить в себе поднимающуюся сладкую боль. «Все это уже не для меня,— с тоской подумал он.— Вот так всегда: чет-нечет, чет-нечет, потом короткая, неслышная команда, и ты уже в другом ряду».

Он закрыл глаза, затем открыл их и еще взглянул на голые, дрожащие колени девушки.

— Чет-нечет, чет-нечет, и ты уже в другом ряду,— повторил он.

Поезд, как шахтерская клеть, все глубже и глубже спускался в ночной забой, и отработанными штреками позади него оставались пустые и молчаливые станции. Иногда сбоку появлялась луна — единственный выход на гора. По сторонам сразу же за темнотой чувствовалась твердая порода, пугающая извечной нетронутостью. Казалось, ее нерасщепленные атомы тишины таили в себе жуткую силу. В длинном, бесконечном коридоре, по которому шел поезд, насвистывал ветер.

Люди в вагоне, доверившись поезду, спали. Этот сон был беспокойным — то и дело кто-нибудь, устав, перекладывал голову с одного плеча на другое. Похоже было, что люди ехали на ночную смену — они спали как придется.

Волков долго сопротивлялся, но в конце концов не выдержал и, засыпая, почувствовал себя где-то высоко над землей. Он плыл над огнями, над лицами, поднятыми вверх, и над крышами с посадочными крестами, но никак не мог выбрать место, где можно было бы приземлиться. Он заглядывал на них сверху, как в магазинную витрину с множеством красивых вещей, но сам он не знал, что ему нужно, и пролетал мимо них не останавливаясь. Было тихо, и ничто ему не мешало плыть все дальше и дальше.

Потом он почувствовал усталость, спустился, сел на первую попавшую скамью и, вытянув затекшие ноги, положил голову на спинку скамьи, чтобы было удобнее. Он решил отдохнуть как следует. Вокруг него не было ни души.

Еще не проснувшись, Волков понял: случилось что-то очень важное. Казалось, кто-то стучался в него, он прислушался — стук был мягкий, но настойчивый, и он расхотелся по телу, как вино — удар-глоток, удар-глоток и так без конца. Волков, не выдержав, пошел открывать и, пока шел, все размышлял, кто бы это мог быть. Он открыл глаза, осторожно повернул голову вправо и затаил дыхание.

Девушка спала, обняв его одной рукой и положив ему голову на плечо. Она спала и, видно, ни о чем не знала. Она пришла к нему во сне, и от нее было тепло и хорошо, как бывало хорошо когда-то давным-давно, словно забытое возвращалось, чтобы обновить чувства. Его сердце забилося сильнее, оно, как радист, быстро отстукивало своими длинными красными пальцами полные смысла точки и тире, разнося по всему телу весть о случившемся. А она дышала ровно и доверчиво, и это дыхание постепенно успокоило его.

Он прижался к ней ближе, закрыл глаза и тоже уснул. Но и во сне он охранял девушку от всего, что могло бы ее разбудить. Он слышал, как пришел мужик и еще долго возился в своем углу, но он слышал все это так, как будто оно происходило где-то за спиной. Он отмечал про себя остановки, но отмечал их так, словно вспоминал забытое. Он спал и не спал, будто все время шел по коридору с темными и освещенными окнами, и опи, чередуясь, напоминали шахматную доску, за которой он играл сам с собой. Даже во сне он был счастлив от этой нечаянной близости с незнакомой ему девушкой, от которой исходила самая первая молодость, пахнувшая парным молоком, и совсем еще детская доверчивость. Все это его волновало и одновременно успокаивало — он мог шагнуть в одну сторону, а мог в другую, и всюду ему было хорошо. В нем ненадолго сошлись два человека: один — восемнадцатилетний парень, обнимающий свою девчонку в последней электричке, а второй — пожилой мужчина, к которому прижалась дочь. Случай устроил ему встречу, напоминая о чувствах, которые в нем были и которые будут, но он не мог в них разобраться, потому что спал.

Волков проснулся оттого, что ему стало холодно и одиноко. Он поднял голову и увидел, что уже рассвело. Девушка сидела, от-

вернувшись от него и глядя куда-то в сторону. Она стала чужой и далекой, нетрудно было понять, что она стыдится того, что произошло ночью.

— Скоро Комарово?— спросил он у нее. Она не ответила.

— Сейчас будет,— сказала ее подруга.

Люди просыпались и, отряхиваясь, приходили в себя. По вагону пробежала проводница, размахивая желтым флажком. Девушки поднялись. Волков пошел вслед за ними, держась за верхние полки,— поезд уже тормозил.

Они сошли на перрон, и Волков сказал девушке, показывая на чемодан:

— Давайте помогу.

— Нет-нет, я сама,— она испугалась и заторопилась.

Задержавшись у витрины с газетой «Гудок», он подождал, пока она ушла. У него было такое чувство, словно он провалился на каком-то важном для себя экзамене и теперь многое потерял навсегда. Он смотрел в газету, а сам думал: что же все-таки случилось? На душе у него было нехорошо.

Потом он шел по деревянным скрипящим тротуарам, которые угадал еще вечером, по маленькому городку, в котором знал все наперед, и снова пытался понять, почему эта ночь в переполненном вагоне была такой хорошей и почему после нее осталась такая пустота. И идти ему уже никуда не хотелось, а хотелось сесть в поезд и вернуться обратно.

ОБРАТИМАЯ ЛЮБОВЬ

РАССКАЗ

Снежные космы повисли над перевалом. И отряды сползли в долину Мамакана. В зимовье стало тесно. Но не было шума, с каким геологи прощаются с тайгой. Поисковики были смурные. И часто выходили, то один, то другой, слушать небо. Но с неба летел малиновый и свербящий переклич гусиных караванов. И слухачи виновато возвращались в ощутимо нагретое и невидимо наэлектризованное зимовье.

Чаще всех выбегал на ветер Петя Суров, старший геолог. Он, может, и хотел бы скрыть, что больше всех хлопочет из-за Гали. Но разве в партии скроешь? Догадывались, зачем Гале нужно срочно лететь в Бодайбо. Даже Алик понимал. В больницу ей надо было. Четыре месяца Петя выскальзывал по ночам из двухместной палатки и возвращался только под утро. Алик видел это, потому что сам приходил от Ленки на рассвете. А днем все четверо падали от усталости. И под глазами у них синело, как в уловах Мамакана.

Галя не знала, что ждет ее впереди. Ленка, та опытная. С той ничего не случается. А эта — девочка, только из института. Лето прошло. Осень. И Петю ожидала жена в Иркутске. И вот он хотел побыстрее отправить Галю в больницу. Чтоб все было так, будто ничего не произошло. И они, вся партия, изо всех сил пытались сделать вид, что ничего особенного не произошло. Даже не разговаривали друг с другом. Но людей не проведешь. И все, как Алик, только и думали об этом. И очень хотели, чтобы Галя побыстрее улетела. Тогда можно будет вздохнуть спокойнее.

— Во — слышите! — гудит! — прыгнул с нар Петя.

Под его мускулистыми ногами прогнулись плахи. И закачалась рация на столике Бакшеева.

— Галлюцинации, — буркнул Бакшеев.

Петя угрюмо походил вдоль нар.

— Чего же он не летит? — спросил Петя, косо поглядывая на Бакшеева.

— А может, плохо передал? — Петя остановился за спиной радиста, снисходительно свешивая над ним белокурую бородку.

Бакшеев сорвал наушники и шмякнул ими по столу.

— Я плохо не передаю! — На лице его выделились сизые вены.

Поисковики вскочили с нар. Зарычал общественный пес Трубадур. Алик оттащил Петю. Подальше от греха. Бакшеев был псих. На фронте в блиндаже его засыпало вместе с рацией. И, в общем, рискованно было брать Бакшеева в тайгу, но радист он был отличный. И надо же было Пете передолдонить. Хотя и его надо понять... Петю тащили в угол Алик и Бондарь. Алик прозвал начальника Бондаря за силу и рост екатерининским гвардейцем. Но и Петя был не из худосочных. Он занимался туризмом: жал три раза в неделю глыбы. И теперь он отпихнул Бондаря и начал говорить, что ошибиться может каждый, подумаешь, нашелся непогрешимый, и что он вообще не верит в безгрешных людей.

У Бакшеева посинела переносица. Он откатил чурбан и пошел на Петю, доставая из кармана удостоверение радиста высшего

класса. Достал и замахнулся, не то всем показать, не то щелкнуть Петю по лицу. И никто не знал, что же делать?

— Баню стопить надо,— шамкнул Кириллыч и прошел между Петей и Бакшеевым.— Попариться всем надо, гляжу.

— Никто нам не срубил баню,— обрадованно и поспешно пророкотал Бондарь.— А воду в чем греть?

Кириллыч похлопал своими латаными верхонками по тонкостенному сейфу.

— Ослобоняйте от бумаг и ставьте на печь,— скомандовал Кириллыч.— Крепкий ящик — не выльется...

Бондарь тоже стукнул по сейфу, ухмыльнулся и попросил Алика помочь поставить сейф на железную печку. Начальник любил Кириллыча. Старика приходилось каждый год отвоевывать у отдела кадров. Не отпускали пенсионера на горные работы. Но Бондарь отказывался от трех молодых горняков и брал одного Кириллыча.

Старик отворил дверь зимовья и призывно махнул верхонкой. За ним пошли с интересом. Кириллыч был мудр, лукав и находчив. Это он ответил на жалобы женщин, что мерзнут в огромных спальниках: «А вы по двое, по двое...» Может быть, этот совет старика и подтолкнул Алика и Петю согреть девчат? Именно после этого Ленка и Галя перестали жаловаться на холод.

Кириллыч вступил на песчаную косу. На ее острие вскипали буруны: свинцовая вода Мамакана билась с пенной водой Сидельты. По дну грохотали валуны, и шамканье Кириллыча было еле слышно:

— Несите голыши поболее!

Похрустывая суставами, он вытоптал на песке площадку и протянул руки. Ему начали подавать из воды мокрые валуны. Кириллыч укладывал их в маленькую крепость. А Трубадур обнюхивал кладку и норовил задраить возле нее заднюю лапу.

Стены выложили быстро — по десятку валунов на брата. Наперебой подсовывали Кириллычу валуны. Замысел старика начали понимать. Но как он хотел покрыть верх каменки?

— Ломы! — открыл свой секрет Кириллыч.

Сначала опешили, потом одобрительно загудели: «Надо же, совсем забыли...» Привезенные на вертолетах ломы были на вес золота. Не то что калить, дышать на них летом боялись. Но теперь-то и они сезон свой отработали. Можно выбросить. Но старик верно додумался, что надо их использовать. Бондарь сходил к зимовью и принес охапку ло-

мов. Кириллыч уложил их поперек каменки и приказал:

— Поплоще глыбки.

Ему натаскали из воды плоских глыб. Кириллыч заложил ими ломы. Потом закурил махорочку и махнул верхонками на каменку.

— Наваливайте мелочи!

Застучали валуны, и скоро над каменкой выросла горка. По цепочке набросали в печь сухих смолевых поленьев, и Кириллыч поджег их скруткой сухой бересты. Из щелочек выполз дым, но вскоре вырвалось и пламя, и засипели мокрые валуны.

— А теперь венички заготовьте,— предложил Кириллыч.— Да позеленее ветки ломайте.

Поисковики разбрелись по тайге. Шелест, шорох, треск. Среди листопадного золота отыскивали стойкую зелень. Ломали ветки, засыпаясь листьями. Вязали веники и несли старику. Лай Трубадура звонко носился над осветленной тайгой.

Кириллыч сидел на чурке, будто Наполеон. Он принимал безобразные веники, встряхивал, и если лист осыпался не очень щедро, раздваивал и перевязывал снова. В его бороденке настряло листьев, и она стала походить на тощий веник. Навалив рыжую горку веников, Кириллыч выпрямил поясницу и плюнул на каменку. Слюна испарилась. Тогда Кириллыч попросил принести совковую лопату. Он сунул ее в огненное дыхало и понес к воде уголья. Черная флотилия, злобно шипя, понеслась по Мамакану. Кириллыч сходил несколько раз, и по его лицу заструились зольные потеки. Валуны трескались, как патроны, и Трубадур отскакивал под смех людей. Поисковики растянули над каменкой шестиместную палатку.

— Жара адова! — заревел Бондарь, который поддерживал палатку изнутри.

— Женщины, милости просим на парок,— пригласил Кириллыч, и глазки его светились, как две капельки росы.

— Нет, нам париться нельзя,— таинственно ответила Ленка.

И никто не посмел больше настаивать. Только у Пети вдруг отяжелел взгляд.

— Идите, парьтесь! — и он толкал взглядом Галя к накалившейся палатке. — Париться всем полезно.

Алик уважал Петю, но тут он губу прикусил. Слишком страстно толкал ее Петя париться. В таком положении! Это он заставлял ее доказать, что она не беременна.

Галя шагнула к палатке, сунула под тент голову и отшатнулась.

— Нет, нет,— прошептала она,— не могу...

— Э-э, хилое племя,— лицемерно сказал Кириллыч и потащил через голову свою вылинявшую куртку.

Женщины ударились в бег. Бондарь с Петей сходили за сейфом и еле заволокли его в палатку. Петя сбросил свой синий тренировочный костюм, схватил глыбу и начал жать ее одной рукой.

— Древние римляне перед баней занимались поднятием тяжестей,— говорил он, пыхтя и скаля зубы.— Слаще баня.

Алик любовался Петиними мышцами. Они были тверды, как дерево. Плохо только, что кожа белела, точно березовая кора. Неприятно было загорать, да и мошкара даст развее?

Сзади захрустел песок. Пришел Бакшеев со своим веником. Уставился на Петю горючим взглядом. Петя выронил глыбу.

— Раздевайтесь,— предложил Алик Бакшееву.

— Много вас,— пробормотал Бакшеев и повернулся.— Я потом.

Алик несколько раз обернул куртку вокруг своего блокнота, с которым не расставался даже в спальнике, полез в палатку.

Кириллыч и Бондарь трясли вениками над каменкой. Потом Кириллыч набрал ковш воды и хлестнул на каменку. Валуны яростно пыхнули паром. Алика обожгло, и он отступил в угол. Но вторая волна пара догнала его. И он задышал, как рыба на берегу.

— Ого-го!— протрубил Бондарь и окрестил себя веником.

В ответ раздался ужасный визг. Это Петя втащил в парилку Трубадура. Но псу пар оказался не по нутру.

Петя похотел и начал истязать себя веником. Они с Бондарем хлестались наперегонки. Кириллыч с ухмылкой подливал. Алик осторожно похлестал себя и замер. Каждое движение вызывало ожоги. Он хотел выбраться из палатки, но увидел насмешливый взгляд Пети и остался. Решил сидеть до конца.

Распространился вяжущий запах распаренных березовых листьев. Бондарь ревел, как изюбр. Тела парильщиков стали под цвет петушиных гребешков. А Кириллыч только начал похлестывать тощие свои мослы. Одной рукой поливал каменку, другой прибивал пар к себе. Горячий тайфун метался по палатке. И молодые не выдержали. Полезли наружу. Кириллыч шлепал каждого веником по задку.

— В речку, в речку, охолонитесь!

Петя кинулся в Мамакан. Нырнул, и в во-

двороте над ним закружились золотые листья.

Бондарь охнул и тоже нырнул.

Алик зашел по колено и выпрыгнул на песок. Вода жгла хлеще пара. А Петя подкрался и ударил по воде, целясь в Алика. Алик схватил свой узелок и помчался за палатку. Там прятался и Трубадур.

— Эй, сейчас бы грамм двести и — в обморочное состояние,— сказал Петя, прыгая на одной ноге.

— А у нас бутылка «нз» есть,— ответил Бондарь.— Растереться на случай простуды.

— Натираться нам ни к чему,— повторил Петя незабвенного Бизинчука, и все трое засмеялись.

— Такой парок любую простуду вышибет,— сказал Алик.

— Я как новорожденный,— отозвался Бондарь.

— Даже уезжать из тайги не хочется,— сказал Петя, потягиваясь.

— Жил бы так и жил...

— Переходи на круглогодичную разведку,— посоветовал Бондарь.

— Ну да!— испугался Петя и подтолкнул Бондаря к зимовью.— Давай лучше выпьем твой спирт.

Они зашагали по тропе к зимовью, и бороды их шелковились под блеклым осенним солнцем.

Алик шагал широко, как научил его Петя в маршрутах. Он чувствовал себя рядом с Петей и Бондарем настоящим геологом и мужчиной. Но в город ему очень хотелось. Его ждала Роза. Ему надо было просить у нее прощения. Весной все вышло так глупо. Настоящий мужчина и вида не показал бы, что ревнует. Ну, станцевала с другим. Постояла с другим часок. Может быть, даже поцеловал тот, другой, ее. И надо ли было устраивать сцену ревности? Теперь он судит по-мужски. Но это после того, как подружился с Петей. А Петя познакомил его с Ленкой и научил действовать: «Люби, пока молодой». А все остальное случилось само собой. Трехдневный маршрут в паре с Ленкой. Вдвоем в палаточке. Шумит тайга и блещут глаза Ленки, словно вода в таежном ручье. А губы веселы, будто жизнь ее — сплошное счастье, и ее не бросил муж, и нет у нее ребенка... Роза другая. Меланхолическая. Она его невеста. И он попросит у Розы прощения. Он прочитает ей стихи, которые написал в тайге. Писал для нее. Даже Пете не показывал. Конечно, не все там хорошо. Мучает эта рифма: «Роза — мороза...» Но, главное, он думал о ней, о своей невесте...

— Давайте сами все приготовим,— предложил Бондарь, входя в зимовье.

Петя поморщился, но вынужден был присоединиться к большинству. Замелькали бороды над столом. Бутылку спирта водрузили на середину. Ее обставили кружками, банкой маринованных огурцов, лепешками, вареной олениной и брусникой в чашке.

Пришли женщины. У Гали было лицо бледное, утомленное. А у Ленки розовое. Ленка опять сказала за Галю:

— Нам нельзя.

— Можно,— настаивал Петя.

Но Галья взяла кружку лишь после того, как Кириллыч добавил в спирт брусничного сиропа.

— Выпьем за наших милых женщин, черт побери!— пророкотал Бондарь и чокнулся с Галей.

К Гале потянулись все остальные, будто она была именинница. На ее матовых скулах зацвели жарки.

Алик хотел лишь притронуться к Ленкиной кружке своей. Но кружки были магнитные. А по-над кружкой усмехались всеелые Ленкины губы. Точно все у нее было хорошо. Даже то, что они скоро совсем расстанутся.

Алик отдернул кружку и лихо выпил спирт. Его было немножко — только поморщиться. Но сразу ударило в голову. Алик поднял на Ленку искренние глаза: «Почему ты не переживаешь?»

— Закусывай,— сказала она,— опьянеешь.

Алик схватил кусок оленины и повел глазами. Заговорили за столом.

— Все будет хорошо, Галчонок,— скороговоркой сказал Петя, и на глазах у Галки вспорхнули слезы.

— Вот что значит — долго не пить,— гудел Бондарь.

— Это после пара стучает так,— заметил Кириллыч.— Пар, он человек.

— Я чем ни лечил нервы — не помогало,— поддакнул Бакшеев.— А попарюсь — злость как рукой снимет.

— Пар всегда был праздником для русского человека,— вставил и Алик свое слово. Самому стало смешно, как неуверенно ворочался язык. И Ленка хихикнула.

— Хорошо, когда праздник,— отозвался Бондарь, похрустывая огурцом.

— И плохо, когда приходят будни,— поутину сплющил губы Петя.

— А я часто парюсь,— сказал Кириллыч.— И чтобы опосля бани мне старуха бутылочку не выставила — не было такого. Попаримся, выпьем, а потом и пошухарим, как молодые...

Мох закачался на потолке от смеха.

Алик заметил вдруг, что продвигается к Ленке. И что ему надо ей что-то сказать. Такое, что надо только для Розы держать, в душе. Хотя она и меланхолична, но она его невеста. Родители столько времени переиграли в лото: «Полсотни три!.. Дед!.. Ангарские уточки!.. Чертова дюжина!..» И между делом вели дружескую дискуссию, кто должен нянчить будущего ребенка... И всегда фигурировал один ребенок. А если их будет два? И один неродной?..

Алик выскочил в сенцы, построенные из ошкуранных осиновых жердей. Повис на стенке. Он решил сосредоточиться и узнать, почему его так волнует мысль о неродном ребенке. Вернее, как отнесутся его родные к его неродному ребенку... Но сосредоточиться не удалось. Заскрипела дверь, и к нему привалился Бондарь.

— А что я могу поделат?— дыхнул горячо он в щеку Алика.— Виноват... допустил бардак... Но не жениться же самому на ней...

— Обойдется,— промямлил Алик.— Завтра прилетит вертолет...

— Авось,— ответил Бондарь и запел:

В гареме нежится султан,
Ему счастливый жребий дан:
Он может женщин всех любить.
Хотел бы я султаном быть!..

Не успел Бондарь закрыть дверь, как в сенцы вышел Петя. Он сунул Алику папиросу и дал прикурить от спички.

— Ты меня прости, негодяя,— сказал он,— я прочитал твои стихи.

— Да какие там стихи,— махнул папиросой Алик.

— Плохие,— сказал Петя.— Но ты способный... Еще напишешь...

— Буду стараться,— ответил Алик.

— Только ты слюни не пускай,— посоветовал Петя.— И ничего такого не думай...

— А я не думаю,— ответил Алик.

— Любовь — штука обратимая.— Петя жадно всасывал дым, нарушая режим култура.— А времена Катеньки Масловой прошли... Нынче вся сила в гемоглобине...

— Но если не прилетит вертолет?— прошептал Алик.

— Прилетит.— Петя выбросил недокуренную папиросу и скрылся за дверью. Зимовье задрожало.

И тут же дверь снова запела. Выскочил покурить Бакшеев.

Алик собрался сбежать. Но фронтовик вцепился в его плечо.

— Вот ты поэт,— заскрежетал его голос.— Пишите вы про цветочки-ягодки... А ты

напиши про то, как мечется человек, по дитенку тоскует, а силы мужские контузия отняла...— Он хлопал по карманам в поисках спичек, по одним и тем же карманам.

Алик инстинктивно приткнул свою папиросу к его.

И тут залаял Трубадур. И застрекотало над зимовьем. Бакшеев кинулся из сеней. За ним пронеслись остальные, кроме Кириллыча и Гали.

— Где же мой платок?— забеспокоилась Галя.— Кириллыч, где мой платок?

— Вот что, дочка,— расслышал Алик сдавленный голос Кириллыча.— Мы со старухой своих вырастили и давай твоего вынянчим... Роди!

Кружка свалилась на пол, забренчала.

— Да что вы, Кириллыч, родной,— затрепетал Галин голос.— С чего взяли вы?...— И Галя вдруг истерически засмеялась.

Алик зажал уши и побежал к вертолетной площадке. За ним приковылял хмурый Кириллыч.

Маленький вертолет сделал круг над зимовьем и упал на деревянный настил. Лопастей вертелись, и приминались кусты.

Ленка не дождалась остановки лопастей и кинулась к вертолету. Мягкими волнами груды— на блещущие ножи.

— Куда?— закричал Алик и в диком вратарском прыжке поймал Ленку.

— Да ты что?— сверкнули белки ее глаз.— Опьянел?

— А тебе жить надоело?— крикнул он, точно муж на жену.

Ленка вместо ответа подвела его к замершим лопастям. Оказалось, что они высоко от головы.

— А мне показалось...— пробормотал Алик.

Ленка засмеялась и дернула его за бородку. Алик погнался за нею. Но в это время из кабины отворилась дверца.

— Где ваш срочный груз?— спросил молодой пилот. Его брови выгнулись, словно два рыжих котенка.

— Айн момент!— улыбнулся Петя и помчался к зимовью.

— Человек у нас,— сказал Кириллыч.— В больницу надо...

— А мне все равно,— гордо сказал пилот.

— Как это все равно?— рванулась к нему Ленка.— Она вас как бога ждала!..

Пилот отпрянул, и брови его выпрямлись.

— Бураны над перевалом все время,—

начал оправдываться он.— Давайте вашего человека.

Алик повернулся и пошел к зимовью, сбивая с ерника мелкий красный лист в форме сердца. И он топтал эти красные лесные сердца. И думал, что не надо пускать слюни. Надо отправить Галю с глаз долой. И тогда все уляжется. Станет на свои прежние места, как весной. «Все остались при своих интересах...» Где же он слышал? Ах, родные, его и Розины, говорят, когда никто не выиграл в лото. Нет, у Пети лучше: «Любовь— штука обратимая...» Это как обратимая реакция.

Алик решительно прыгнул в сенцы. Дверь оставалась открытой. Алик хотел издать радостный вопль: «Вертолет подан». И увидел, что это лишне. Оба смотрели в окно на вертолет. И не шевелились. Только слова, как пощечины.

— Я тебе человеческим языком говорю: лети!

— Не хочу.

— Утром только плакала...

— А сейчас передумала.

— Ты представляешь, на что идешь?

— Представляю.

— С ребенком тебе не найти мужа.

— Не надо.

— Я говорю человеческим языком!..

Алик, цепляясь за осиновые стояки, выбрался из сеней. Зашел в угол между стеной зимовья и сенцами. Сполз по стенкам на землю. Прижал к себе приткнувшегося Трубадура. Пес лизнул его по одной щеке, по другой, и Алик понял, что плачет.

— Ну, что же вы?— раздался вслед за топотом трубный глас Бондаря.— Ему же через перевал лететь...

— Я не полечу,— сказала Галя, и голос ее налился звоном:— Грузите пробы.

Бондарь сопел некоторое время, потом высказался:

— Ну как знаете... Я сделал все, что мог.

И— топот, но затихающий.

Вертолет забил лопастями. Вибрация передавалась земле. Потом земля успокоилась. А над тайгой разнесся стрекот. Вертолет потянулся к перевалу, над которым рдели снежные космы.

Алик выждал, когда захлопнулась дверь за последним из провожающих, и побрел к Мамакану. На ходу достал блокнот со стихами и вырвал исписанную половину. Кинул этот пучок в быструю воду.

Листки понеслись, белея, как первые льдинки.

ТАЛЫЙ СНЕГ

РАССКАЗ

Рыжику, щенку остроухой лайки, не подходит никакое другое имя.

Сюда, в палатку, он попал по легкомыслию: обланывал на деревенской улице веселого Федю Горышина да так и увязался за ним. Рыжик и Федя друг другу понравились. Федя — парень добрый, на щенячьи нападки не осердился, погладил по голове, понял, что лаяли на него не со зла, для удовольствия.

За деревней стояла машина. Федя подмигнул Рыжику, потрепал загривок.

— Хозяин твой шкурку мне не попортит?

Щенок облизывал Федины руки, истово припал на передние лапы, залаял — как медный колоколец с высоких ступенек покатился.

— Э-э-э...! Будем считать, что ты у нас в гостях. — Подхватил Рыжика на руки, сунул в кузов и сам перемахнул через зеленый борт.

Машина тронулась, загревели в кузове железные бочки, а парни, в остропахнувших полушубках, громко заговорили. Щенок испугался. И Федя взял его на руки.

Рыжику было от чего испугаться. Машину видел он два или три раза. В его таежную Перекатиху машины приходят только зимой, когда встанет река, завозят охотникам товары. А много ли товаров нужно на восемнадцать дворов? Летом, чтобы в город попасть, — плыви водой. Да и эта дорога не про всякого: порожища больно, река закрутит, замотает, ударит о серые камни. Есть и еще путь — выючная тропа. И все.

Но вот слух принесло: пройдет неподалеку от Перекатихи дорога железная.

Нынешней зимой люди появились, говорят: за Лосиным ключом просеку пробиваем.

Мужики в той стороне тоже рассказывали, что видели палатку, а рядом тракторы, бульдозеры. И людей. И вот они, люди, и

сами пришли из-за Лосиног ключа. А Лосиный-то рядом — пешком одним днем обернуться можно.

Новое место Рыжику понравилось. Палатка стоит около незамерзающего ручья. За ручьем черный ельник. И выше сразу же сосняк начинается. Лесистые хребты придвинулись и справа, и слева. Иногда над самой палаткой белка зацокает или рябчик пролетит. Приволье.

— Гав! Гав!

И в палатке хорошо. Особенно вечерами, когда пахнущие соляжкой парни приходят и начинают снимать шумные жесткие одежды. Потом они садятся на короткие сосновые чурбаки вокруг гудящей железной печки, которая медленно наливается могучей красной силой.

— Вот так, брат Рыжик, поработали мы сегодня вроде бы ничего.

Рыжик понимает, что обращаются к нему, молотит хвостом по земляному полу, собирает морщинки в углах белозубой пасти — улыбается.

— Ну, чего, доволен? У тебя, брат, хозяева хорошие, работающие.

Рыжик ко всем относится ласково, но выделяет Федю Горышина, хмуроватого, с крестьянской прижимистой хозяйственностью Мишу Суслова и дежурного по табору.

Когда солнце выкатывалось как раз против горелой плешины на дальнем хребте, дежурный наливал варево в термос, брал девять чашек, восемь ложек, свистел Рыжику и шел по тропе на трассу.

— Эй, дармоеды, налетай!

— А какое меню?

— Осетрина заливная. Суп из акульих плавников.

Обедали всегда вместе. Чашку Рыжика

держали на весу, ждали, когда еда остынет. Щенок нервно взлаивал, ронял с языка светлые капли.

— Любит жрать. Как наш Мишка.

Потом каждый вытирал свою чашку первобытно белым снегом, а Рыжик чисто вылизывал горячим красным языком. Ребята закуривали. Синие папиросные дымки в прозрачном воздухе кажутся необыкновенно вкусными. Заставляли щенка бегать за брошенными рукавицами, барахтались с ним в снегу.

— А смотрите, братцы, наст-то какой крепкий стал. Рыжика, суцього сына, уже держит,— как-то удивился Митька Солянов, штатный сквернослов, похожий на бойцового петуха парень.

— Весна скоро. Число-то сегодня какое?

Ребята долго высчитывают, спорят. Выясняется: на дворе апрель, число третье. И вроде только сейчас все вдруг заметили, что небо стало голубее и глубже, наст окреп, а солнце нагревает мех ондатровых шапок. Запусти пальцы в мех и почувствуешь живое тепло.

Сегодня утром Рыжика кормили плохо. Щенок сунулся носом в жидкую крупяную болтушку, есть не стал.

— Нет больше ничего,— развел руками дежурный Федя.— Вот так-то. Но грустить не надо: вечером машина должна прийти. Тогда и загуляем. Мой день рождения отметим. Я ведь именинник сегодня. Не знал?

— Не знал,— прохрипел из дальнего спального мешка сонный голос.— И, по-моему, никто не знал.— И крикнул бодро, громко: — Уши оторвем.

— Чего кричишь, блохи кусают? — подал голос Митька.

— Эй, люди, вы дрыхните, а новорожденный поздравления ждет. Становись в очередь, не толкайся.

Федю подхватили полуголые парни, бросили к промерзшему зеленому потолку палатки, поймали. Бросали снова и снова.

— Кидай чаще, лови реже,— подбадривал всех Митька.

Вечером сидели, как обычно, около гудящей печки, кидали в огонь промерзшие поленья. Часто выходили из палатки словно бы по делу. Ваня Чернецов, скромный незаметный парень, рассказывает:

— Это ничего, так день рождения проводить. Почище бывает. Я ведь шофером раньше работал. Ну в рейсе были. Спешу на именины. На свои. Двадцать два года. Ну кручу баранку. А зима. Снег. Метет. И перемело все. Сунулся в снег — и застрял. Лопатой пока махал, тепло было. Потом вижу — бесполезно.

Бросил копать. Тогда замерзать стал. Опять за лопату. А сил нет... Вторые сутки в рейсе...

Откинув брезентовый полог, в палатку вошел Миша Суслов.

— На хребте машина гудит.— И поставил на печку большую кастрюлю воды.

— Дальше-то что? — деланно спокойно спросил кто-то Ваню.— Чем дело кончилось?

— Да ничем. Видишь, живой. Машина идет...

И все, не сдерживаясь больше, весело, разом заговорили, засмеялись.

За деревьями стал разрастаться белый пожар, заметались черные тени деревьев, и на маленькую поляну въехала, тяжело переваливаясь на кочках, машина. В свете фар лица ребят стали бледными, с глубокими провалинами глаз.

Из кабины с одной стороны легко выпрыгнул начальник колонны Виктор Петрович Кеженцев. С другой — Нефед Зуев, отчаянный шоферюга, известный тем, что в прошлом году весной, когда раскисла земля, почти сутки гнал машину на дальний участок по чудом держащемуся льду реки. И это после того, как ушла под лед машина мостостроителей. А как приехал — три дня пил запойно.

— Здравствуйте, ребята,— Кеженцев пожимает протянутые руки, возбужденно улыбается. Ему где-то под сорок. Он высок, худощав и подвижен.— Жизнь как?

Дверка кабины снова открылась, и на землю прыгнул третий человек — девушка в большом пуховом платке.

— Да, ребята. Это Зоя Ивановна. Будет варить вам. Знакомьтесь.

Нефед выпустил воду из радиатора, выключил фары. Сразу стало темно и холодно, и только вход в палатку высвечивал розовым.

— Идем к огню.— Кеженцев махнул рукой и пошел впереди всех, чуть покачиваясь на длинных ногах.

В палатке Кеженцев уютно расположился около печки на сосновом обручке. Подтянул к себе Рыжика, спросил серьезно:

— Завтра глухаринные тока искать пойдем?

— Живем, братухи,— с большим рюкзаком ввалился в палатку Митька.— Мечи на стол. Корми именинника. Смотри, он какой бледный...

— Ты, Федька, именинник? — спросил Нефед.— Сколько тебе?

— Двадцать пять уже...

— По этому поводу выпить надо. Как, Виктор Петрович?

— Чего там... Давай неси.

Нефед откинул полог палатки и нырнул в темный провал, через минуту поставил на

большой, сделанный из сосновых досок стол бутылку спирта.

— И мы не бедные. У нас только жрать нечего,— шумел Митька. И тоже поставил на стол бутылку спирта.

А у печки хозяйничала Зоя. Она не приглядывалась, не присматривалась, сразу стала к печке—как тут и была. Ребята сидели на койках, блаженно улыбались, терпеливо ждали, когда их позовут к столу. Они знали, что теперь, пока гремит кастрюлями эта девушка, их станут звать к столу и что кончилось «дежурство на кухне». На печи что-то жарилось, шипело, вкусно пахло. Митька сновал по палатке, поминутно спрашивал:

— Зоя, вам помочь?

Рыжик сидел у стола, ронял с языка тягучие капли.

Когда сели за стол, Митька вдруг забеспокоился:

— Зоя, а вы не всем налили. Вон Рыжик как смотрит на вас.

— Потом, после всех.

— Что вы, Зоя, сегодня у нас именины. А Рыжик приглашен на торжество.

— Разве только ради именинника,— и посмотрела на Федю ласково и кокетливо.

...Вечером, когда все заговорили и даже пытались петь, Федя поманил Митьку из палатки.

— Чего тебе? — шепотом спросил Митька.

Федя увел его к самому ручью и только тогда начал говорить.

— Проветриться позвал.

— С Митькой темнить не надо. Ты сразу говори.

— Ну, вот что, брат, ты меня извини, но крутись около Зои поменьше... Ну-ну, не раздувайся.

— Себе присмотрел?

— Хороший ты парень, Митька, а дурак. Вот ты начнешь амуры строить. Там еще кто-нибудь потянется. Другому к жене хочется домой.

— И начнется у нас такое...

— Напрасно я тебя дураком обозвал... Ребята и так тоскуют, а тут скоро дороги перекроются.

—...Месяца полтора ни одного свежего рыла не увидим. Ну ладно, не надо больше Митьке мораль читать. Митька понял. Не видеть Митьке красивой жизни...

* *

*

...Рыжик бежит по чуть заметной в сером предзакатном сумраке тропе. За ним, тяжело дыша, поспевают Кеженцев и Миша Сус-

лов. Они гулко стучат сапогами о мерзлые корни деревьев, шуршат снегом.

— Валенки бы надеть...

— Тихо, Петрович. Близко тут.

— Передохнем... Запалился...

— На месте. Там уж... До свету поспеть надо. Но смотрите...

— Давай еще.

Вот и токовище. Большая поляна окаймлена мягкими размытыми контурами деревьев. По всей поляне редкий кустарник.

— Здесь вставайте,— припадая к самому уху Кеженцева, одними губами шептал Миша.— Не кашляйте. Затайтесь и ждите.— И стал отаптывать около дерева снег.

Потом Миша шагнул за соседние деревья и исчез.

Кеженцев поправил ружье, погладил притихшего щенка и, привалившись плечом к шершавой коре дерева, стал слушать. А тишина такая, что кажется морозно-пряный воздух звенит. Только Рыжик слышал, как упала далеко отсюда ветка с дерева, как стучит у Кеженцева сердце, как возится, утапывая снег, невидимый Миша.

Стеклянную тишину как прошили из пулемета звонкие деревянные звуки: так-так-так. «Желна» — сообразил Кеженцев. Он мысленно увидел крупного черного дятла и улыбнулся, вспомнив, как один из его знакомых удивлялся: почему это у дятлов голова не болит.

Постепенно стало развиднать. Очертания деревьев стали резче, на легких облаках выступила розовая акварель.

Скоро на снег поляны должны слететься сказочные птицы. Кеженцев, стоя за деревом, томился. У него затекли ноги, отерпла спина, но он боялся пошевелиться. А вспомнив строжайший запрет кашлять, Кеженцев почувствовал, как в горле у него защекотало. Он снял шапку, прижал к лицу, тряс головой, незаметно переступил.

Взвыл Рыжик, подняв отдавленную лапу. Тяжелая невидимая птица сорвалась с черного дерева, мелькнула в розовом окне неба. Серая тишина раскололась злым светлячком, мелькнувшим из-за дерева, и могучий глухарь врезался в снег.

Рыжик радостно, распластаваясь в беге, бросился к птице.

— Вот черт, не дали току разгуляться,— ругался Миша довольным голосом.— Что же это ты, Рыжик? Плохой ты охотник.

Песик азартно трепал птицу, и Миша отобрал глухаря.

— По носу захотел получить.

Кеженцев был вконец расстроен.

— Да вы, Виктор Петрович, не огорчайтесь. Всякое на охоте бывает... Да вон какого красавца добыли. Мне его не надо. Возьмите себе, отвезите домой.

— Я, брат, не возьму птицу. Не сам добыл... Не могу.

К палатке — под горку — шли бодро. Кеженцев говорит уже весело:

— И прихватило кашлять. Ну немоготу. А тут Рыжику лапу отдал. Тут ты бабахнул. Все, думаю, разогнали ток. Все-таки здорово ты стреляешь.

* *
*

В палатке охотников ожидал скандал. Митька Солянов сердито метался между узких коек и кричал:

— А что она... Я что, ее звал? Порядки тут наводить...

Зоя, выпрямившись, стояла у стола.

— В чем дело? — строго спросил Кеженцев.

Митька кричать перестал, но сказал грубо:

— Пожрать нельзя. На просеку пора давно...

— Вымой руки и ешь сколько тебе надо, — Зоя стала передвигать на столе чашки.

Кеженцев усмехнулся, достал мятую пачку папирос.

— А может, умыться все-таки можно?

Митька, согнувшись, вынырнул за полог, пнул каблук брезента. Так же стремительно вернулся, шагнул к столу, сунул в карман масляной телогрейки большой кусок мерзлой сохатины.

Днем около бульдозера он жарит на углях мясо, материт белый свет, Кеженцева и, конечно, поварику.

— Что она порядки тут наводит?

— А она красивая, — сказал Федя Горышин.

— Вообще-то да, — миролюбиво согласился Митька. — Только если доведись, я лучше с Рыжиком целоваться стану.

Вечером Митька умылся старательно и первым полез за стол.

* *
*

— Все, — сказал как-то Миша Суслов. — Машина больше не придет. Вконец дорога размокла. Теперь через месяц только...

На работу шли молча. Шли не по тропе, прямо снежной целиной — так окреп наст.

Днем у Федора сломалась машина, и он

ушел на табор за какой-то деталью. Но не вернулся ни через час, ни к концу работы.

— Надо узнать, — забеспокоился Митька.

Когда пошли с просеки все, около петель на зайца встретили Митьку. Он сидел на пне и зло остругивал пихтовую ветку.

— Ты чего здесь, не на таборе?

— И вам не советую там быть.

— Ты, правда, чего тут? Случилось что?..

— Ничего не случилось. Земля вертится, черная Африка борется за свободу, план наша колонна выполняет, Федор Иванович Горышин любовь с кухаркой крутят.

— Брось темнить!

— Можете у Рыжика спросить.

Митька нагнулся, грустно погладил щенячью морду.

— Беги, Рыжик. Ты еще дитя. Беги в лес и ничего не знай, как человек предает человека... Тоже мне, мораль читал...

... В палатку вошли без обычных шуток, старательно делая вид, что ничего не случилось. Федя сидел у огня, курил, пускал дымные кольца и следил, как они исчезают.

— А я вас жду, ребята, — сказал он неестественно громко.

Митька, демонстративно не умываясь, полез за стол. Ложка стыдливо белела в его обожженной и обмороженной темной руке.

— Да, машина теперь не скоро придет, — сказал кто-то из угла.

На него шикнули.

— Хватит.

Всю ночь палатку тряс ветер, шумел повесенному в вершинах сосен, выдувал белую золу из печки.

А утром все увидели одинаковый сон. В светлом проеме выхода появилась высокая фигура и крикнула:

— Спите, черти... Подъем!

— Нефед, да ты как тут?

— Здорово, старик!

Но Нефед прервал их.

— Быстро, парни, машину разгружать. Мне еще обратно проскочить надо. Сегодня пиво должны привезти.

Машине и шоферу тяжело досталась эта дорога. Нефед почернел, запал щеками. У машины лобовые стекла и те в грязи.

Груз сняли быстро. Запчасти, продукты. Кеженцев позаботился.

Нефед торопливо пьет густой чай из белой, обжигающей руки кружки.

Митька Федю Горышина пригласил за палатку, в ельник.

— Идем, там ребята ждут.

Федя голову опустил, знал, зачем зовут.

Парни на Федора не смотрят. Муторно у

всех на душе. Ругать не стали и только сказали: уезжай. Все сказали.

— И Зойка пусть уезжает.

... Машина ушла за коричневые стволы сосен. Над поляной сизый бензиновый дымок. Все стоят молча. Лишь Рыжик, невидимый отсюда, кидается к колесам машины и лает, лает на всю тайгу.

— Чья очередь сегодня кашеварить? Твоя, Ваня?

Мотор воет уже чуть слышно. И кажется, не машина удаляется, а палатка, вылинявшая палатка с порванным верхом около самой трубы уплывает все дальше в безлюдье, в тайгу.

— Новую палатку не могут дать,— ворчит Митька.

— Мокни тут.

— Не проскочит Нефед...

— Ни черта ему не станет. Позагорает, а потом дома на перине отвалится.

— В штиблетах гулять пойдет. По тротуару. В белой рубашке.

— Пиво пить.

... Через час, когда выходили на просеку, увидел Федора. Он шел быстро, хлюпая сапо-

гами по талому снегу. Шапку держал в руке. На лбу капельки пота. Впереди Федора трусил рысцой Рыжик.

— Ну, чего? Нефед застрял? Трактор нужен?

— Уехал Нефед. — Федор надел шапку, полез за папиросами.

— А ты остался?

— Видишь. Остался. До кривой сосны доехали и спрыгнул. Не мог дальше ехать... Начало уж шибко сильно... И Рыжик не отставал.

Митька засмеялся. Заулыбались и остальные.

— Это верно. Дорога плохая. Трясет.

— Ребята,— Федя резко шагнул вперед. Глотнул воздух.

— Ладно тебе,— сказал рассудительный Миша Суслов.— Ты не совсем того, но ладно... В общем, завтра ты в няньках у Рыжика. Дежуришь по табору...

Из ближнего распадка вырвался ветер. Он принес острые запахи хвои, подтаявшей земли, погнал по голубому небу белые облака. Нежно посвистывали рябчики, лаял Рыжик, звенела под снегом весенняя вода.

ОСЕННИЙ МОТИВ

РАССКАЗ

Сумрак густеет быстро. Почти осязаемый, он накапливается в зарослях давно отцветшего багульника, прилипает к еловым лапам, выползает из-под корней поваленного кедра. Только круг неба, изорванный вершинами деревьев, остается светлым.

Прислушиваясь к наступающей ночи, лес замер. В этот час тайга кажется таинственной, непонятной и пугающей. И человек томится, ждет чего-то. Колдовская темнота подбирается со всех сторон. Шагни сейчас из темноты лохматый леший — поверишь. И нет ничего на свете, кроме этих темных деревьев да светлого лоскута над головой.

Около упавшего кедра сидят Федор Шаев, тракторист с соседнего рудника, и счетовод Костя Ирнинкин. Федор, живущий бобылем, в поселке считается заядлым охотником. В свободное время — в тайгу. Костя упросил Шаева взять его на шишкобой...

— Ну что, парень, огонь жечь будем?

Костя оживает, стряхивает с себя задумчивость.

— Давай, давай, дело.

Федор зашебуршал спичками и поднес яркий светлячок, спрятанный в ладонях, к молочной бересте. Огонек скрутил бересту, кинулся на сложенный аккуратно валежник, и заплесало пламя. В огне потрескивало, пощелкивало, попискивало. Облаком золотой мошки вились искры.

— Вот так-то веселее,— улыбнулся Костя.— А то зачумел немного. В голову всякая чертовщина лезет...

Огонь сделал темноту еще гуще. Она лишь отпрыгнула за ближние деревья и терпеливо ждет, когда костер ослабнет, чтобы подползти ближе.

Шаев не спеша достал кисет, оторвал от мятой газеты клочок и сделал самокрутку. Лениво потянулся к костру, взял горящую ветку. В отсветах пламени его лицо кажется бронзовым, неподвижным.

Далеко-далеко кто-то крикнул. Птица, зверь ли — не поймешь.

— Федор, а здесь медведи водятся?

— Бывает, как же.

— Не подойдет к нам?

— Не-е-ет. Тут-то рядом. Вот в Грязном...
— Это далеко?
— Как тебе сказать... Не очень. Спать давай.

Федор широко зевает, шурится на огонь. Потом говорит, не поворачивая крупной головы.

— Грызет жена-то?

Костя откликается сразу, с готовностью.

— Из-за этого и в тайгу рванул. А хорошо здесь.

— Хорошо,— кивает Шаев. — Месяц тут проживем... Мир, значит, не берет?

— Не берет.

— А у меня всегда мир... В тайге ж все равно лучше.

Костя видит большой дом Шаева. Серый и скучный...

— Лучше...

Костя на шишкوبة впервые и за день умотался. Еще утром Шаев срубил в распадке молодую березу и насадил на нее чурку. Колот получился большой, тяжелый. Костя прикинул — пуда два, не меньше.

— На,— сказал Шаев,— держи. Носить по переменке будем.

Костя не терпелось испробовать колот. Он подошел к кедрине, но Шаев остановил его.

— Пустая. Кедровка всю шишку спустила. Ты рядом возьми.

Костя укрепил черень колота в податливом мху, отвел тяжелую чурку. Ударил осторожно, слабо.

— Отводи дальше. Да резче.

Р-р-раз! — сосновая чурка скользнула по красноватому стволу, черень вывернулся из земли, саданул по ноге.

— Ты держи колот прямо. Давай-ка вместе. Да на себя шибко не тяни.

Ах-х! — отозвалось дерево. В ветвях зашумело, и с жирным всплеском врезались в мох тяжелые шишки.

Ах-х!

В ветвях ливень шумит. Ливень с ветром.

— Голову береги!

Крупные, с кулак, коричневые градины.

Переходили от одного дерева к другому. Били, били — до дрожи во всем теле, до маревых кругов перед глазами. Делали перемены — собирать шишки.

Отдыхать сели за полдень. Лицо, шея — мокрые, пареные. Глаза в счастливой слезе усталости.

— Поработали,— говорит Шаев. Растегивает гимнастерку.

— Да,— устало машет Костя. — А ведь сплутай — и не выйдешь.

— Не выйдешь,— соглашается Федор.

— В прошлом году на Чистом ключе чуть человека не убили. Было такое?

— Было, да не так. По справедливости все. Жил у нас там такой. Мужик как мужик. Знаешь, как в таборах бывает: шишки в кучи просто валят. И никто за ними не присматривает. Потому что воровства случиться не может.

На соседний кедр черным мячиком взлетела белка.

— Все утром, только развидняется, в тайгу. А этот, не помню откуда, он спит еще. Вечером из тайги еле ноги волочим, а он на таборе. А куча шишек у него больше всех.

Как-то будит меня сосед: «Взгляни — говорит, — за дверь». И все в зимовье не спят.

Н-да-а... Выглянул, а этот, паскудина, наберет у соседа из кучи и в свою. Потом к другому идет. Тут мы все и вышли...

Федор замолчал. Дымит махоркой.

— А дальше?

— ... Кричал он здорово.

Костя видит ночь. Черные деревья. Круг свирепых небритых лиц. А в середине круга мечется что-то бесформенное. Тяжелое дыхание. Хруст и крик.

— Страшно это...

— Страшно? — переспрашивает Шаев недобро. — Воровать страшно... Не били мы его. Не тронули, значит. А кричал, подлый, со страху. Утром лошади пришли. Он и уехал: все равно деваться некуда. Тайга таких не любит.

Костя не может уснуть, ворочается на лапнике, смотрит на костер. Шаев тоже не спит. Каждый думает о своем. Костя о Маруське и ее теплых руках, о том, что в последнее время у них что-то не ладится семейная жизнь. Костя во всем уступает. Что она скажет, то и верно. Только скучнее Маруська. Кричать не кричит, а как осенняя.

«Чудная,— думает Костя. — Блажит».

И Шаев думает.

По вершинам деревьев прошумел, тяжело вздохнул ветер.

— Слышь, Федор, урожай нынче хороший. Десяти дней хватит. Домой пойдем.

Ночью Костя будит Федора.

— Ходит кто-то,— шепчет он, припадая к самому уху. — А перед этим как ухнет что-то. Федор, напряженно вытянув шею, замер. Смотрит на припорошенные белым пеплом угли.

Сказал негромко:

— Никто не ходит. А ухнуло-то дерево, упало. Ночью упало. Значит, чтоб никто не видел.

* *
*

Желтым и теплым днем бабьего лета возвращались из тайги. Светлые паутинки, переброшенные через выбитую тропу, казались возникшими из воздуха.

Федор и Костя шагали неторопливо, довольные друг другом, удачным двухнедельным шишкованием.

— Зовет к людям-то?— спрашивает Шаев.— Зовет. Так всегда: идешь на месяц, а сам...

У Сухого ручья Костя нагнул податливую рябину, сломил тяжелую рыжую, в солнце, гроздь.

— Маруське.

Федор по-хорошему усмехнулся и тоже сломил ветку.

Неподалеку от прииска, где тропа выходит на песчаную дорогу, сделали остановку: отсюда, с крутого пригорка, виден весь поселок.

Осень — пора свадеб. На Подгорной, застроенной новыми избами, людно. Каленым листом осины пляшет посреди улицы девчонка.

Ей что-то играет на гармошке парень. Что — отсюда не разберешь.

На душе становится еще радостнее, праздничнее. Уже не сидится. И они торопливо

встают, натужно забрасывают за спины объемистые рюкзаки. Шаев переламывает ружье и вытаскивает из стволов тусклые, с прозеленью патроны.

Маруську увидели неожиданно. Около старого моста, где разноцветный галечник полого уходит в воду, она полоскала белье. Мокрый подол платья вылепил крепкие ноги.

— Эй!— крикнул Шаев.— Встречай гостей.

Маруська подняла голову и засмеялась.

— Ле-е-шай,— мягко пропела она,— вернулись. Лешай... — Приветливые губы ее вздрагивали. Розовая от холодной воды рука торопливо застегивала пуговицу на неподатливой тугой кофте.

Маруська вышла на берег. Теплый галечник шуршал под ее босыми ногами.

— А я вас жду.— И опять неведомо чему засмеялась.

— Ну, ладно,— вдруг грубо сказал Шаев,— я пойду.

Федор шел через гулкий мост, не оглядываясь, и только на середине его чуть приостановился и бросил через перила красную гроздь.

Но ни Маруська, ни Костя не видели этого. Не видели, как проплыла она мимо по синей реке.

В КОНЦЕ АПРЕЛЯ

РАССКАЗ

Линка жила одна.

Она чувствовала себя забытой и затерянной среди нервных паровозных гудков, среди красноватых, словно игрушечных, дощатых домиков. И только одно успокаивало ее. Это «одно» был Валерий. Он инженер. Линка знакома с ним уже два года.

После долгого молчания Валерий вдруг позвонил и обещал приехать.

Линка, а точнее Лина Александровна, как ее звали в начальной школе, была самостоятельной, ей за восемнадцать.

... Она оглядела себя еще раз в зеркале, хотела улыбнуться, но улыбки не получилось. Ей сделалось грустно. Люди на полустанке были какие-то скучные.

Взять хотя бы Тасю Сенникову — всегда испуганная ходит, гири кладет на чашки весов так, будто они ей руки обжигают.

А Короленок со своей машиной с обломанными крыльями? На него кто ни прикрикнет, он молчит. Скажут: давай, Короленок, еще, чего полбочки привез. «Где полбо-очки уж, тянет он. — Я рази что, обманешь меня...» Заскрежетит скоростями — и поехал... Ни злости в нем, ни гордости...

Да что Короленок, заведующего школой возьми: вместо Данилова Серка в сани впряжется — и хоть бы что на гору завезет. А в окне увидит свою Наденьку, и не в школу она идет — за водой, с ведрами, а он уж не знает куда классный журнал положить. Боится или любит — не поймешь у этих людей. Нет, жить с ними просто невозможно.

Линка не заметила, как залезла в лужу и зачерпнула в боты воды. «О господи, — чуть не застонала Линка, — когда я развяжусь с этим полустанком. Дурочка, — ругала она себя. — Валерий все хотел устроить, в загс,

сказал, донесет на руках. Так не-ет: асфальт надоел. Что теперь... Обещал в конце апреля. Сегодня последний день. Может, снова там...»

Линка все убыстряла и убыстряла шаги. Только когда позади осталось больше половины дороги, она остановилась, чтобы перевести дух.

Она не могла не увидеть, как в этом холодном, позабытом всеми краю весна набирает силы. В Сухом логу монотонно и грозно гудела лавина талых вод. Сюда с дальних клочков-огородов доносился и щекотал поздрин дым горелой соломы; он смешивался с испарениями земли, с запахами оживших кустарников и смолья. Все эти разноцветные голоса весны сливались в одну мелодию, которая шла из ослепительных лучей солнца, пробивающегося из-под старой травы подорожника, даже из трухлявых пней и колодин. И Линка подумала: ей до этого нравилось, что ни один поезд не сбавлял хода на их полустанке. Сходить нужно было возле Шерагула и потом шесть километров добираться через сухое болото.

Первый раз она даже смеялась, когда прыгала по кочкам как коза. Ноги так уставали, что ныли; икры становились твердыми после этого и болели дня два.

Линка шла по Сухому логу, запинаясь, поскользнулась на грязном льду, но даже платье и коленка, заляпанные черной и гнилой болотной тиной, не рассердили ее. Она потерла край платья о выбеленную, пригложенную половодьем траву, потом стала на кромку льда, где из-под земли выбивался ключ, и осторожно, чтобы не провалиться, обмыла боты. Кончики пальцев зашлись от холода. Линка кое-как вымыла руки и до боли сжала покрасневшие пальцы; они разогре-

вались, кололо еще сильнее, и Линка смеялась и плакала. Она захватила по комочку слежалого снега, комочки скоро превратились в льдинки. Линка все сильнее и сильнее сжимала пальцы — льдинки таяли. А когда она разжала пальцы, на ладонях ничего не было, только следы от растертых мутноватых капель.

Перед станцией Линка уже так не бежала. Снеговая каша хлюпала у нее под ногами, она выбирала место, где потверже, проваливалась, успевала занести ногу, и только что сделанный глубокий след заполнялся черной густоватой водой.

За насыпью сквозь голые ветки тополей уже можно было под треугольной крышей прочесть: «Шерагул».

Нет, ничего не изменилось здесь. Все так же, еще с той осени удерживалась за старый ствол тополя часть уродливой металлической ограды. Тут же, за деревьями, стоял облезлый, со следами зеленой охры, фонтан. Вода била из него так давно, что об этом никто не помнит. Кучи цемента, теса и кирпичей, наваленных в беспорядке, лужи до самого крыльца, через которые кто-то положил старые расколотые доски, — все привело Линку в уныние, и она подумала сейчас об одном: поскорее уехать отсюда.

Не разбирая, она присела на поваленную ограду и так сидела, пока не подошел поезд.

Станция Шерагул маленькая, народу сошло немного. Линка успевала заглянуть в лицо каждому — Валерия не было. Поезд тронулся, никто ни с одной подножки не соскакивал. Состав изогнулся, мелькнул последний вагон. Ушел начальник станции, разбрелись пассажиры.

А Линке идти некуда.

Она не обернулась, когда сзади, разбрызгивая замерзающие к вечеру лужи, засигналила машина. В уши ударил знакомый голос:

— Лина Александровна! — высунувшись по пояс из кабины, кричал Короленок. — Вы домой? Садитесь, довезу!

Линка не ответила.

— Решайте, Лина Александровна. Мне стоять не за чего.

Линка едва успела влезть на подножку, ухватилась за порванное сиденье, Короленок захлопнул дверцу, разбитый «газик» сделал прыжок с места.

— Ну и машина у тебя, — оглядывая кабину, усмехнулась Линка.

— Машина как машина, — громко говорил довольный Короленок. — За минуту дома будете, Лина Александровна.

Проехали Сухой лог, дорога пошла ровнее. Линка даже слишком серьезным голосом сказала:

— Вечером в клуб пойдем?

— Обманываете, — равнодушно ответил Короленок и медленно покосился на Линку.

— Да нет, правда.

— Может, приду, — я человек свободный.

В клубе негде было повернуться, пахло яблоками, играли старинный вальс.

Короленок сидел на самом видном месте и смотрел на Линку. На нем новая зеленая рубашка, застегнутая на все пуговицы. Воротник был тесноват или так жарко было в клубе — лицо у Короленка красное, пот ручьями. То и дело он запикивал два пальца под воротник и дергал, как бы силясь оторвать пуговицу. Потом он протиснулся к Линке, попросил танцевавшего парня отойти в сторону.

— Душно здесь, Лина Александровна. Пойдемте походим по воздуху.

Сошли с крыльца, мягкого от набросанных пихтовых веток.

Недалеко от клуба остановились, смотрели на редкие станционные фонари. На Песочной горе на одном месте леденяще рокотал трактор. Пиликала, прерываясь, гармошка. Кто-то смеялся, двое или трое шли к клубу. Не зная куда деть руки, поверх длинной телогрейки, скомкав ее снизу, Короленок сунул руки в карманы широких брюк и неожиданно спросил:

— Вы, Лина Александровна, от нас поедете? Насовсем если?

Линка молча с удивлением взглянула в лицо Короленка.

— Еще долго буду. А что?

— Уезжайте, Лина Александровна.

— Зачем?

— Все от нас уезжают новые. А то как.

— Никуда не нужно ехать. Здесь хорошо.

— Все одно. К городу лучше. Жизнь тут какая... Я, может, тоже уеду.

— Ты ведь здешний, все равно вернешься.

— Но и что, что здешний. Машину поставлю и все. Я где хошь устроюсь. Только бы захотел.

— Тебе всегда здесь нравилось, я знаю.

— Мало ли что нравилось. А теперь другое.

— Что другое?

— Все.

— Непонятно.

— Чего непонятно, — голос у Короленка вялый и покорный.

— Ну — в город тебе зачем?

— Там человеком можно быть. Походить, посмотреть. А тут лес один. Я был в городе...

— Вон здесь места какие — и не жалко?

— Они мне уже маячат перед глазами. Все то же самое. Живи тут не живи... Вам — что, вам теперь можно... Все-таки...

— Пошли в клуб, — сказала Линка.

Они вернулись.

Когда Линка пригласила Короленка танцевать «Дунайские волны», тот степенно, даже деловито сказал:

— Чего не могу, того не могу.

Линка танцевала с заведующим школой. Линка смеялась. Отчего было так весело? Отчего, когда она шла сюда первый раз, ей

хотелось плакать? Зачем заведующий школой, всегда тихий и хмурый, говорит и танцует больше всех? Почему такой смешной Короленок: он сидит и не спускает глаз с Линки? «А Короленок ничего, — думает Линка. — Если бы ему рубашку другую... И не сапоги, а ботинки. Он бы такой был...»

Линка не знала, сколько она танцует, она уже не отделяла, что вот это — ряд сдвинутых крепконогих скамеек, что у дверей, справа, как заходишь, — новая, еще не побеленная печь, а это, — свисающее с потолка, — люстра.

Все клонилось, переворачивалось, смешивалось...

СЮРПРИЗ

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ

— Участок вам выбран — конфетка, — напутствовал нас начальник экспедиции, отправляя весной в тайгу. — Там каждый уголок пахнет рудой, как осенний лес грибами. Стоит зайти, принюхаться — и руда на ладонке. Я и бульдозеры держу наготове, и буровые станки. Только найдите месторождение, и сразу ставим разведку.

И вот мы на месте. Три зеленых палатки на берегу бурливой реки — наши дома. Обступившие их березы — наши друзья. Под их ласковый шепот мы каждую ночь засыпаем. Река — наша кладовая, где всегда припасены для ухи чернопинные хариусы. Кудлатый костер — неперемный участник советов, свидетель надежд и разочарований.

Нас четыре геолога, десять рабочих и Касьянова, маленькая, курносенькая, розовощекая хлопотунья с белым платком на льняных волосах. С недавних пор она наш интендант, рыбак и повар. А слава о ее ухе и киселях уже гремит по всей экспедиции.

За рекой, от самой воды, поднимаются серые скалы. Из-под них выбегают ключи и, проплывав среди осок, желтых лютиков, зарослей ольхи и прямоствольных лиственниц, звенящими водопадами срываются в реку.

Эти заречные пади, ошетилившиеся тайгой, распадки с серыми угрюмыми скалами на склонах — место нашей работы. Мы успели изучить их как родную хату. Знаем каждый куст, каждую рытвину, каждый камень.

Вчера очкастый Виктор вернулся из маршрута и протянул Блинову его перочинный нож:

— Блинчик, деточка, опять ножичек потерял. У-у, растапа! Третий раз найду, заброшу в кусты.

Виктор невысокий, сухонький. Над остроносом лицом торчит давно нестриженный бобрый рыжевато-волос. Он делает его похожим на большого ежа. И слова у него колючие, занозистые, как иглы.

— Где нашел? — встрепенулся Блинов.

— На поляне, у поваленной лиственницы.

— У норы карнаухого бурундука?

— Хватил! Там березка лежит. А это у черемухи, где горностаи двух дрозды съели.

— А-а...

Я разносил в палатке маршруты на карту и думал: всех зверюшек по имени-отчеству узнали, а руды все нет...

В отряде поселилась тревога.

— Поднажать надо. Поднажать, — подзадоривал нас пачальник отряда и приглаживал ладонями седеющие виски. Значит, волнуется Тимофей Иванович. Высокий, сутулый, за эти месяцы неудач он совсем пригнулся к земле.

— Куда уж больше поднажимать-то, — вступилась Касьянова, разливая по мискам душистую уху.

— Помолчи, — обрывает Тимофей Иванович. — Вари уху, а в наши дела нос не суй. Поняла?

— Чего не понять-то, — обиженно вздохнула Касьянова. — Только правду я говорю. Уходят они чуть свет. Приходят в потемках. Да еще и при свечах работают. Если б сам руду эту клал, так знал где ее взять, а то пойдешь, поищи в тайге. Она, матушка, ой большущая!

Касьянова принесла чай и отошла в стору. Подперев пухлой рукой подбородок, вздохнула.

— А как эту самую руду посмотреть хочется! Страсть. Ох, наверно, красивая. Точно звезда горит. Уж я и то ее по ночам во сне вижу. Сегодня будто ухватила кусок и кричу: «Тимофей Иванович, Тимофей Иванович!.. Ко мне...»

— Слыхали. Весь лагерь переполошила, — отмахивается Тимофей Иванович.

Блинов резко отставляет кружку чаю, и бурое пятно растекается по смолистым доскам стола.

— Ну, как же. «Рудой здесь пахнет, как осенний лес грибами», — передразнивает он начальника экспедиции, и высокий тенорок срывается на фальцет. — Чушь! На этом участке руды нет. Надо переносить поиски на другой участок.

— Блинчик знал где руда и молчал? — язвит Виктор.

— Профессор Радугин говорит: долины — это фонд наших будущих открытий. Здесь проходит главный разлом. Пора заняться долиной.

— Блинчику косогоры надоели... Блинчику ровных дорожек захотелось. Блинчик забыл, что у главных разломов руды не бывает.

— Батюшки! Да они переругаются из-за этой руды, — всплескивает руками Касьянова.

— Может быть, и верно поискать по долине, — задумчиво говорит Тимофей Иванович. — Да разрешит ли экспедиция изменить район работ?

Река прижалась к горам, и на этом берегу, где стоят наши палатки, расстилается широкая межгорная впадина: луга, рощицы черемухи и тальников. И почти у самых палаток карасиное озеро. Туда вечерней зарей прилетают жировать горластые утки. Для охотников здесь раздолье...

— Тимофей Иванович, а может быть, с местным населением переговорить. Может быть, они про реку знают, — не унимался Блинов. Он очень настырный, коренастый, безусый, безбровый, круглолицый, и когда волнуется, то лицо у него как бы буреет и становится похожим на пережаренный блин.

— Надоело, товарищ Блинов, — морщится Тимофей Иванович и переходит на официальный тон. — Я работаю двадцать лет, и в ваши годы тоже верил в «местное население», товарищ Блинов. Чуть приезжал в новый район, сейчас же писал в газеты призывные статьи, делал доклады, а вечером вылезал на завазину и вел со стариками душещепательные беседы. Все ждал, что они чудо покажут, а мне тащили бульжники, собачиты. Меня таскали по тайге то смотреть «нефть», то какой-

то таинственный камень «гляденец», то где железной руды «видимо-невидимо». Времени убито бездна, а толку ни на копейку. Пусть о геопроходах распинаятся профсоюзные активисты, а я сыт до этих пор, товарищ Блинов. — вскинув голову, Тимофей Иванович провел пальцем по шее. — Вот долина это другое дело... Если разрешит экспедиция, пойщем.

После долгих переписок экспедиция разрешила изменить границу участка. Начали работать в долине. Ходить было легко. Мы объедались смородиной и, проколесив целый день среди болотных кочек, стариц, возвращались в лагерь с пустыми рюкзаками. Иным из нас не приходилось за весь день взмахнуть молотком.

Лето кончалось. Касьянова угощала нас брусничными и голубичными киселями. Скоро желтые листья с берез упадут на палатки, поплывут по реке.

— М-м-да. Что-то не то, — вздыхал Блинов. — Пески, глина, болото. Тут нужно искать как-то иначе. Может быть, попробуем поговорить со старожилами, а?

Тимофея Ивановича аж перекосило от злости. Но он промолчал.

Касьянова разлила чай и, встав в сторону, подперла подбородок рукой.

— Ни, Блинов. Я здесь выросла. Если б кто знал чего, так слушок пошел. Зря ты с этими разговорами Тимофею Ивановичу досаждаешь. — Чуть помолчав, продолжала тихо, вроде бы просто мысли вслух прорывались: — А руду-то как увидеть хочется. Намедни я бруснику собирала, и вдруг мне между кустов руда мерещится. Черная. Блестит. Протянула руку, а это гадюка. Шипит, окающая. Ужалить хочет. Испугалась — страсть! А блестела шкура на солнце, словно руда.

— Касьянова, да та руда, что мы ищем, белая.

— Белая? Ишь ты. А я и не знала. Все черную ищу. Как небо ночное и чтоб звездочки блестели. Белая, значит, будет?

Лист полетел. Скоро конец работ. Тут-то я решился высказать заветную мысль. Она появилась еще весной. Я вынашивал ее неделями, месяцами. Взвешивал все за и против. Теперь она созрела и сама рвалась наружу.

— Товарищи! Где мы ищем? Здесь каждую кочку десятки раз обкосили покосчики. Они знают каждый кустик. И на старом участке исхожено на десять рядов. Кто только там не был? Охотники, шишкарники, геологи, ягодники, снова геологи. Даже юные краеведы разжигали свои костры. Чего там искать. Смотрите, руда вон где.

Я показал за реку. Там, за невысокими горами нашего участка, стеной поднимались серые голые хребты с остроконечными пиками, с полями вечных снегов на склонах. В солнечные дни снега сверкали словно россыпи драгоценных камней, а сейчас розовели отсветом утренней зари, как поля саранок.

— Там голые скалы, там легко искать. Взгляните на пашу карту. Некоторые интересные зоны тянутся в сторону этих хребтов. Там почти никто не ходил,— доказываю я.— Даже на географических картах эти горы и речушки показаны только пунктиром.

— Мишенька, тебя прельстила слава «Тигра снегов»? Мишеньке хочется...— по привычке язвит Виктор. И вдруг брови его хмурятся, лоб морщится и рыжеватый бобрник наползает почти на глаза. Виктор убегает в палатку. Оттуда он выходит с картой и кричит:— Звери! Мишенька прав. Прав, черт меня побери! Смотрите на карту. В ту сторону, вроде, тянутся рудные зоны.

После долгих споров мы составляем длинную радиограмму начальнику экспедиции. Просим еще раз изменить границу наших работ. Мы просились в горы. В те самые нехоженые, неисследованные горы, которые сверкают на солнце россыпями алмазов, на закате алеют полями саранок, а в пасмурные дни закутываются в серые тучи, как в шаль.

— Чинуши! Бюрократы! Канцелярские крысы! Мы топчемся без всякого толку, а они и в ус не дуют,— кипел Виктор на неразворотливость начальника экспедиции.

Тимофей Иванович приглаживал ладонями седые виски и угрюмо молчал. Касьянова, разлив по кружкам кисель, вставала в стороне и, подперев, как всегда, щеку ладонью, качала головой:

— Неужто они там без понятия? В горы же падо. Чего здесь искать, если все исхожено... А руду как увидеть хочется. Вчера собираю бруснику и вдруг под кустом как заблестит белое. Точно руда. Протянула я руку, а это иней в тени лежит. Ах!...

Разрешение получено в тот вечер, когда хлопья снега валились из низко повисших туч. Утром последние нырки и шилохвость стонали на полузамерзших озерниках. Самые смелые поднимались в серое небо, а холодный ветер бросал их на землю и они жались друг к другу, испуганно вертели головками и, наверное, боялись, что не успеют перебраться через засыпанные снегом гольцы. Мы очищали снег с палаток и, засунув замерзшие руки в рукава ватнушек, жались к костру.

Через несколько дней к нам пробилась

машины. Шоферы привезли приказ экспедиции об окончании полевых работ и переселении на «зимние квартиры». И словно назло проглянуло солнце и осветило далекие горы. Они стояли чистые от головы до пят, одетые в сверкающую снежную одежду. И где-то там скрывалось месторождение, которое мы искали.

Все!

— А ваши соседи руду нашли,— сказал один из шоферов.

— Батюшки! Счастье-то какое,— всплеснула руками Касьянова.— Вот посмотреть хотя бы одним глазом.

— Можно и посмотреть. Я захватил кусочек,— шофер прошел к машине, отряхнул с валенок снег, полез в кабину и долго шарил под сиденьем. Касьянова стояла рядом, дула в замерзшие кулаки и торопила:

— Скорее, миленький. Неужто потерял?

— Вот она. Смотри.

Касьянова схватила обеими руками маленький невзрачный серый комочек и изумленно выдохнула:

— Неужели руда такая?

— Такая,— подтвердил Тимофей Иванович.— И хорошая руда.

— Везет же людям,— зло сплюнул Виктор.

И вдруг Касьянова всплеснула руками, зашумела и, скользя по снегу, убежала в свою палатку. Она вернулась к костру с двумя небольшими камнями. Протянула их Тимофею Ивановичу.

Мы столпились вокруг. Осматривали маленькие кусочки породы и недоуменно переглядывались.

— Черт меня побери. Это же руда! Настоящая руда,— закричал Виктор, срывая очки и поднося один из камней к близоруко прищуренным глазам.

— Руда,— подтвердил Тимофей Иванович.— И гораздо богаче соседней. Касьянова, откуда она у тебя?

— Батюшки мои! Что ж я натворила-то,— запричитала Касьянова, прижимая ладони к щекам.— Ой, лихонько мне, лихонько. Тимофей Иванович, Витенька, Мишенька,— обращалась она то к одному, то к другому и добрые глаза ее виновато влажнились.— Это ребяташки из села на Карасином озере, у наших палаток, рыбешку ловили. Бреднем-то и выволокли со дна эти камушки. Они еще вам показать хотели, да ты, Тимофей Иванович, пужал их всегда. И я прикрикнула, нечего, мол, у занятых людей время отнимать. А камини-то не знаю зачем в палатку бросила.

— Да когда это было?

— Еще по весне. Почитай, недели две прошло как работать начали. Ой, лихонько мне. Ой, лихонько!

— Вот так сюрприз!— развел руками Блинов.

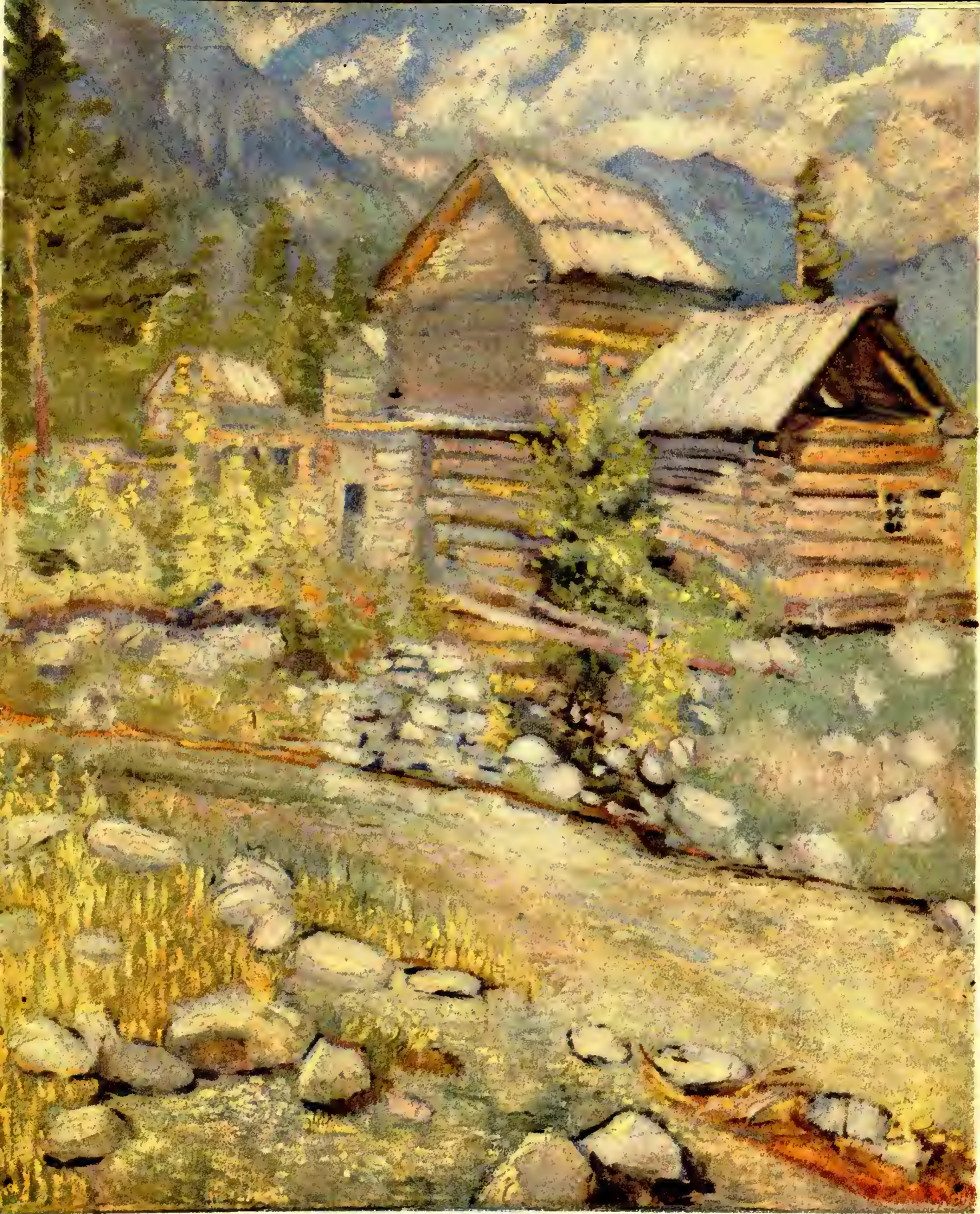
... Месяца через два первые скважины подбурили на глубине мощный пласт руды. Керн торжественно принесли в засыпанную снегом палатку. Тимофей Иванович сидел у раскаленной докрасна печурки и потирал ру-

ки. Виктор счастливо улыбался и хлопал всех по плечу:

— Утерли мы нос соседям. Утерли. Наша-то руда и богаче и пласт мощнее.

Касьянова слушала наши восторженные слова и шептала:

— Из-за моего нерадения ребята-то мучаются. Зимой в палатках живут. Нет, чтоб мне, дуре, сразу показать эти камни. Теперь бы и бараки построили. А то мучаются бедные. И все из-за меня.



А. П. Жибинов. Аршан. Мельница. Масло.



А. П. Жибинев. Подсолнухи. Масло.

ГАЛЕРЕЯ „АНГАРЫ“

АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ

Талантливый живописец

Осенью прошлого года в залах Иркутского областного художественного музея состоялась выставка, посвященная пятидесятилетию со дня рождения и десятилетию со дня смерти художника Алексея Петровича Жибинова. Иркутяне имели возможность наиболее полно увидеть произведения талантливого живописца.

На выставке были представлены и первые ученические произведения, созданные в 1927 году, и самые последние работы художника, в том числе незавершенная картина «Умолкнувшая скрипка» (1955 год). Судя по работам, особенно последнего периода жизни, скрипка художника не умолкла. Она звучит во весь голос сейчас, после его смерти, в сердцах тех, кто видел эти работы.

Алексей Петрович родился в Красноярском крае, в 1904 году, а по другим данным в 1905 году (его не принимали на работу и он себе прибавил год). Учился он в Нижнеудинской средней школе. С 1921 года учится в Иркутском университете, на литературном факультете. Литература влекла Алексея Петровича с детства. Он любил много читать, периодически и сам писал душевные стихи, выражая в них свои сокровенные мысли и чувства. Поэзию художник не бросал до самой своей смерти. Но это было не единственным его увлечением. Он мечтал о воссоздании действительности не описательно, а изобразительно. Юный художник подмечал характерные черты своих товарищей, иногда делая на них едкие рисованные шаржи. В конце концов любовь к живописи и рисунку взяла верх. В 1925 году, не закончив университета, юноша покинул его и перешел в Иркутскую художе-

ственную школу-мастерскую к опытному педагогу художнику Ивану Лавровичу Копылову, воспитаннику Казанской школы, школы Зайденберга в Петербурге и студии Жульена в Париже.

Иван Лаврович Копылов, вернувшись из Европы в Сибирь, в 1910 году организовал свою студию в Иркутске и бессменно, до 1930 года, руководил ею. Влияние французской живописи сказалось в его работе. Подтверждение тому — первоначальные работы А. П. Жибинова.

В первые годы Советской власти у Копылова отсутствовали строгие учебные программы, здесь даже не было необходимого обслуживающего персонала. Учащиеся сами топили печи, сами ремонтировали помещение студии, изыскивали средства на ее содержание, выполняли платные заказы. Сам Жибинов работал в школе учителем рисования. Только в свободное время между уроками он находил возможность посещать студию и выполнять задания учителя. Здесь он занимался четыре года.

О занятиях у Копылова тепло отзывался сам Жибинов: «Установка Ивана Лавровича Копылова воспитывала в нас безграничную веру в великую миссию советских художников, художников социалистической страны, на долю которых падает честь открыть миру эру нового возрождения искусства. С такой установкой я и вступил в жизнь по окончании учебы у Копылова. В 1929 году я еду в Ленинград, затем в Москву завершать свое художественное образование. В Ленинграде и Москве тщательно изучаю произведения мирового искусства. Эрмитаж, Русский музей, а в Мос-

кве — Третьяковка и Музей западного искусства, где в это время сосредоточиваются мои усилия в изучении искусства. В Ленинграде я знакомлюсь с работой Всероссийской Академии художеств того времени и системой художественного образования и воспитания, если можно было назвать системой то, что там творилось тогда (1929 год)».

В Ленинграде Жибинов избрал мастерскую Филонова. О своем новом учителе, его творчестве художник говорил: «Содержание произведений П. Н. Филонова... меня не вдохновило. И однако, не скрою, мастерство его меня поразило настолько, что сделало его учеником. И участь у него мастерству, я думал о своем содержании, своих темах, которые и пытался выразить рядом сделанных в то время работ».

Сейчас мы видим, в какой-то мере творчество Филонова так же оставило отпечаток на произведениях Жибинова того времени. Но постепенно из года в год художник отошел от влияния своего учителя и пошел самостоятельным творческим путем. Произведения Жибинова стали менее дробными, конкретнее и обобщеннее. Раньше по методу своего учителя он подходил к картине от частного к общему, т. е. начинал с тщательностью прописывать мелкие детали, а потом постепенно заполнялось все полотно краской, создавая законченность картины. Это мы видим в произведении «Красная армия» (1931 год), куда вложено много труда, композиция построена в фрагментарном показе определенных действий персонажей. Отдельные части полотна выполнены скрупулезно, тонкой «колонковой» кистью с проработкой каждой детали, каждого сантиметра плоскости холста. Причем маленький точечный мазок имел свой насыщенный, без смешения с другими красками цвет, он звучал и создавал общую единую цветовую настроенность произведения. Подобный метод мы видим и в портретах «Девушка с голубем», «Портрет писателя Н. Асанова», «Портрет поэтессы Е. Жилкиной» и в композициях «Музыка», «Прогулка».

Эти композиции возможно и аллегоричны, но в них виден цветовой настрой, чувствуется определенный ритм, помогающий выявлению темы. Последующие работы художника исполнены другой, более совершенной техникой, лучше выражающей действительность, правдивее, понятнее и острее, насыщеннее в цвете и определеннее в композиции.

Возьмем «Натюрморт с посудой», созданный в 1941 году. Здесь сочность цвета и его единство, компактна композиция. Не случайно, сразу же после исполнения, натюрморт был приобретен в Иркутский художественный му-

зей. Он до сих пор находится в постоянной экспозиции музея и значительно выделяется своим мастерством среди работ других художников.

Началась Великая Отечественная война. Алексей Петрович идет защищать свое отечество от фашизма. На фронте он вступил в Коммунистическую партию. Почти пять лет художник не брал кисти в руки, а выполнял боевые задания офицера-воина Советской армии.

Вернувшись и изголодавшись по своей любимой живописи, А. П. Жибинов с новой страстью и энергией приступил к работе над двумя полотнами, темы которых им были уже прочувствованы и пережиты на полях сражений. В это время он создает картину «Офицер, сдерживающий коня». Картина была показана на выставке в 1946 году, посвященной победе над фашизмом. Зрители с большой теплотой приняли произведение художника. Официальная критика нелестно отзывалась о произведении, обвиняя художника в формализме.

Затем он пишет большую многофигурную картину, в память о советских воинах в Норвегии, где сражался и сам художник. Это картина «Красноармейский дозор на берегу Норвежского фьорда в 1944 году». Интереснейшая композиция так и не увидела свет. Ее не приняли на выставку, и сам автор свернул полотно в рулон, так оно и пробыло в мастерской художника до его смерти, а затем хранилось в семье художника. После длительного хранения в рулоне картина потрескалась, живопись местами осыпалась, и поэтому в таком виде ее невозможно было экспонировать.

Алексей Петрович Жибинов шел своим собственным путем, искал новые живописные средства выразительности. О работе с натуры А. П. Жибинов оставил нам в своих записках мысли: «Пишешь с натуры — не фотографируй натуру, а воспевай ее. Т. е. отгалкиваясь от натуры, находишь выражение каждой ее детали в образе, вытанном спецификой материала, ума и чувств твоих. Если я изображаю солнечный день, то зависимость моя от натуры — это самый напряженный, самый жаркий свет, самые сильные контрасты: и жара, и зной, пронизывающие все и вся, и сладкая прохлада теней. Если я изображаю сосну, то единственная моя зависимость от предмета — это чтобы в моем изображении сосна была более сосной, чем та, с которой я рисую ее».

Все творчество Жибинова проникнуто исканиями предельной выразительности образа. Мы видим это в сочных красочных пейзажах,

многочисленных натюрмортах, глубоко психологичных портретах и тонких по замыслу композициях.

Следует отметить цикл портретов иркутских писателей, с которыми художника связывала общность взглядов и интересов. Еще в 1933 году им написаны великолепные портреты писателя Н. А. Асанова и поэтессы Е. В. Жилкиной. Что касается портрета Жилкиной, то он изумителен по своей пластичности и психологизму. В 1937 году им создан портрет детской писательницы Агнии Кузнецовой.

После Великой Отечественной войны Алексей Петрович продолжал дружбу с писательским миром. В 1948 году он выполнил два портрета — писателя Г. Ф. Кунгурова и драматурга Б. И. Левантовской. Жибинов большой и задушевный друг иркутского поэта И. И. Молчанова-Сибирского. Он написал два его портрета. Один из них в 1951 году, а второй в 1953 году.

Еще накануне Великой Отечественной войны А. П. Жибинов задумал большое многоплановое полотно «Песнь о В. И. Ленине». Вот что писал об этом сам художник: «В 1940—1941 годах я отважился начать работать над давно волнующей мое сознание темой: «Песнь о Ленине». Делаю эскизы, в каникулярное время еду в Москву, в музей Вл. Ильича Ленина, изучаю материалы о нем. Но война 1941 года прерывает работу. Я вынужден оставить кисть и взяться за оружие. С 1941 по 1945 (включительно) — на передовой линии фронта. Горжусь тем, что свято и честно выполнил свой долг гражданина и воина. К концу 1945 года возвращаюсь с фронта. Продолжаю работу над «Песней о Ленине». Делаю новый эскиз. Вижу необходимость восстановить то, что в результате войны потеряно мной в мастерстве. Но комплекс военных ощущений требует своего выражения, и я делаю композицию «Офицер, сдерживающий коня». Пишу серию натюрмортов с пейзажем, как средство и восстановить и развить мастерство, накопить силы для работы над «Песней о Ленине». Такую поучительную роль играют все мои работы... Сейчас все мои усилия сосредоточиваются на работе «Песнь о Ленине». Этот труд рассчитан мной на много лет».

Просматривая альбом художника, рисунки, этюды, эскизы, мы видим, сколько времени, сил и энергии посвятил Жибинов этой важной и интересной теме. На выставке по-

мещено только несколько эскизов к картине «Песнь о Ленине», хотя можно было сделать специальную выставку подготовительных работ к этому произведению.

25 февраля 1955 года Алексея Петровича Жибинова не стало. Художник ушел из жизни сравнительно молодым. Он прожил всего пятьдесят лет. Его произведения, кроме Иркутского, не встретите ни в одном музее страны. Да и понятно: считая, что он многого не достиг, Жибинов не очень стремился обнародовать свои работы. Он творил, добиваясь совершенства живописного выражения, чтобы найти правдивое воплощение нашей действительности, выразить свои чувства на окружающий его мир, мир созидания. Живописец многократно переписывал, перекомпоновывал, записывал неудачные холсты, и вновь начинал работать. Не выходило — уничтожал, и брал чистые холсты. И все считал, что он не добился желаемого результата. В искусстве менялась мода, требования и воззрения. Жибинов, не боясь оказаться в лагере «правых» или «левых», оставался самим собой и шел путем исканий до конца жизни. По этим причинам иногда его осуждали, в отдельные периоды хвалили, но он не сбивался с избранного им пути в искусстве.

Будучи преподавателем Иркутского художественного училища, где он проработал почти тридцать лет, в часы, свободные от уроков, посвящал себя всецело живописи. Без искусства для него была немыслима жизнь. Вся его общественная деятельность тоже связана с искусством. В 1933 году он был одним из инициаторов организации Иркутского союза художников, вел активную партийную работу, постоянно принимал участие в выставках. Сам творческий процесс давал художнику радость бытия, счастье жизни.

Это был талантливый и самобытный художник, ищущий живописец, с философским мышлением, с горячим и страстным сердцем настоящего советского гражданина. Он умер в расцвете творческих сил преждевременно, затравленный тяжелыми отголосками страшного периода культа личности.

Сейчас большое количество картин художника передано в дар Иркутскому музею Верой Константиновной Заорской-Жибиновой. Иркутский музей хранит в своих фондах богатый материал о творчестве Алексея Петровича Жибинова. Он ждет своих исследователей-искусствоведов.

Мало кто знает, что Павел Григорьевич Маляревский, известный драматург, автор удостоенной Государственной премии пьесы «Каиуи грозы», писал стихи. Но еще меньше тех, кто слышал увлекательные, придуманные как бы между делом, фантастические и приключенческие рассказы и повести Павла Григорьевича. Они так и не попали на бумагу, остались, как принято говорить, изустными, ибо все время отнимала у писателя работа над пьесами и многолетний исследовательский труд по истории театральной жизни Сибири. И вот комиссия по литературному наследию Павла Григорьевича Маляревского нашла в его бумагах написанную давно, еще в двадцатые годы, приключенскую повесть «Модель инженера Драницина». Предлагаем ее вашему вниманию.

ПАВЕЛ МАЛЯРЕВСКИЙ

МОДЕЛЬ ИНЖЕНЕРА ДРАНИЦИНА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

ЧЕЛОВЕК В СЕРОМ ПАЛЬТО

- Гражданин, вы мне наступили на ногу.
- Извините, мадам, толкают.
- Ты куда лезешь, мальчуган?
- А куда надо, туда и лезу.
- Господи, какая пошла молодежь. Ей слово, а она двадцать.

Инженер Драницин тяжело вздохнул, нащупал в кармане портсигар и стал пробираться на площадку.

«На следующей выйду, пойду пешком, душно».

Трамвай бросил голубоватую искру, лязгнул и остановился на углу Кузнецкого проспекта. Пока с площадки, толкая друг друга, сходили пассажиры, сзади публика лезла в вагон.

Драницин глубже надвинул шляпу и медленно пошел по проспекту. Был свежий осенний вечер. Чернело небо. Над головой дрожали звезды. Около кино вихрастый мальчишка торговал папиросами. Драницин шел медленно, с наслаждением вдыхая свежий, бодрящий воздух. На углу ему бросилась в глаза витрина универсального магазина. За огромным стеклом громоздился буфет, «под дуб», посредине стоял стол, густо обросший неудоб-

ными высокоспинчатыми стульями. На белой скатерти топорщились туго накрахмаленные салфетки. У стола, нелепо вытянув ноги, сидел манекен в тройке из черного сукна. Восковая женщина с нарумяненными щеками, фальшиво улыбаясь, протягивала ему чашку чая.

— Ах, какая красота,— услышал инженер,— Коля, нам надо обязательно купить буфет.— Женщина со вздернутым пудренным носиком повисла на руке стройного молодого человека. Тот ласково наклонился к ней и что-то шепнул. Женщина рассмеялась.

В голове инженера мелькнуло — молодые жены, он криво усмехнулся и, подняв воротник, пошел дальше.

Мысли лениво цеплялись одна за другую:

«Вот так и будет. Сначала поэзия. Он любит, она без памяти. В кино подряд по три сеанса сидеть готовы и ручки друг другу жать. А потом съедутся и начинается приобретение. Обставятся вот такими оряси-нами, занавесочки повесят, виктролу купят и начнут семейное счастье размусоливать. Тьфу».— Инженер сердито плюнул и, еще глубже надвинув шляпу, решительно зашагал в переулок. «Домой надо».

В переулке было тихо. На углу сутулился фонарь. Изредка встречались одинокие пешеходы. Из подъезда большого каменного дома вышел мужчина. Он быстро направился к Драницину, подошел неслышно, и чуть тронул его за плечо.

— Скажите, не вы будете инженер Драницин?

Голос звучал мягко и вкрадчиво.

— Я, а вам что угодно?

— У меня к вам очень серьезное дело.

Перед инженером стоял плотный человек выше среднего роста. На нем было серое дорожное пальто. Из-под козырька мягкой кепки глядело бледное, словно фарфоровое лицо, глаза с полуопущенными веками; и как-то странно, словно приклеенные, висели большие черные усы.

— Очень важное дело,— повторил человек.— Можете вы мне уделить полчаса?

Инженер подумал. Идти домой не хотелось. Ему было совершенно безразлично, где убит остаток вечера.

— Зайдемте в пивную.

— Странно, но пройдемте,— пожал плечами инженер.

Они пересекли улицу. Под желто-зеленой выемкой скупо светилась лампочка. Дверь तो и дело открывалась, и из пивной, пошатываясь и что-то напевая, выходили люди.

— Вот сюда,— сказал человек.

В зале было дымно. За неопрятными столиками сидели завсегдатаи. Какой-то высокий мужчина одиноко притулился в углу и сосредоточенно и медленнопил. Перед ним стояла целая батарея пустых бутылок.

Немудрый ансамбль: скрипка, пианист и баянист — все слепые, в черных очках, деревянносидели на возвышении и играли популярно из оперетт.

Мужчина в сером пальто отыскал столик. Сели.

Официант, помахав по столу грязной салфеткой, поставил две кружки пива и блюдечко с моченым горохом.

— Итак? — вопросительно вскинул глаза инженер.

Человек в сером пальто вынул портсигар, предложил: — Курите, — неторопливо зажег спичку и, пустив синеватую струйку дыма, навалился на стол, чтобы быть поближе к Драницину.

— Дело, о котором я буду с вами говорить, очень важное, — начал он, — и я думаю, мы сумеем найти общий язык. Кто я, чем занимаюсь, неважно. Знакомиться мы будем потом. — Он остановился и, оглянувшись, продолжал приглушенным голосом:

— Мне известно, что вы работаете над проблемой лучей икс.

Инженер вздрогнул и пальцы его крепко сжали толстую ручку пивной кружки. Незнакомец усмехнулся, взглянул вопросительно и, придвинувшись еще ближе, продолжал:

— Мне известно также, что вы уже разрешили эту проблему. Вам понятно, конечно, значение этого открытия, понятен, я думаю, и тот интерес, который может возбудить оно в военных кругах. Так вот, я имею к вам предложение.

Человек откинулся, отхлебнул пиво и на усах его легкими бисеринками сверкнули мелкие капли.

— Буду говорить прямо. Предлагаю вам ехать за границу.

Инженер снова вздрогнул. В глазах его блеснуло любопытство. Он взял из портсигара папиросу, закурил и выжидающе наклонил голову.

— Условия исключительные, — продолжал человек в сером пальто. — Вам будет дана лучшая в мире лаборатория. Вам предоставят целый штат работников, крупнейших ученых, имеющих европейские имена. Вам обеспечено миллионное состояние и широчайшая известность.

— Так-а-ак, — задумчиво протянул инженер, нарочито медленно прихлебывая пиво, — и что же от меня требуют?

— Только одного. Изобретение должно стать собственностью вашего нового отечества, достоянием людей, борющихся за утверждение подлинной цивилизации.

— А как же это я за границей окажусь, — размеренно, словно разговаривая сам с собой, проговорил инженер.

— Все уже организовано. Вы и ваша жена получаете заграничные паспорта. На службе вам дают очередной отпуск. Вы якобы выезжаете в Крым, а вместо этого едете за границу. Нам пужно только ваше согласие, и чем скорее, тем лучше.

Инженер молчал.

Человек в сером пальто снова отхлебнул пиво.

— Не скрою, — сказал он, — что ваше изобретение глубоко интересует крупнейших людей нашего времени. Оно известно одному... — он наклонился к самому уху инженера и шепотом произнес имя, ставшее символом ненависти к молодой стране, имя одного из крупнейших авантюристов, сделавшего знаменем своей жизни крестовый поход против большевизма.

— А, вот как! — неожиданно громко произнес инженер, откинувшись на спинку стула.

— Тише, вы, ради бога, тише, — пробормотал человек в пальто. Инженер вдруг осекся, и улыбнувшись, медленно сказал:

— А вы все-таки любопытная разновидность подлца.

Человек отшатнулся, глаза его стали еще уже и на лбу блеснули капельки пота.

— Относительно моих занятий вы глубоко заблуждаетесь, — продолжал инженер. — Но если бы даже я и сделал такое открытие, то неужели бы я стал торговать им?

Незнакомец улыбнулся спокойно и чуть насмешливо.

— А что будет, если я позову сейчас милиционера? — спросил инженер, засунув руки в карманы пальто и медленно покачиваясь на стуле.

В ту же минуту он почувствовал сильный толчок, стул под ним опрокинулся и он нелепо забарахтался на полу.

— О, черт, — бормотал подымаясь Драницин.

Перед ним стоял официант.

— Упали-с. Стул вам попал плохой.

Инженер оглянулся, человека в сером пальто уже не было.

— Сколько с меня? — раздраженно бросил Драницин.

— Они уже уплатили. Может, прикажете еще пивца, — изогнулся официант.

Инженер круто повернулся и пошел к двери.

На улице было пусто. Желтые лампочки скупо освещали вывеску. Инженер постоял, словно в раздумье, махнул рукой и, поеживаясь, пошел домой.

— Подлецы,— бормотал он,— экие подлецы. И откуда они могли пронюхать. Да и я тоже хорош, тайну на квартире сохранить вздумал. Надо было в институт идти. Так нет. Дома спокойно... Вот тебе и покой.

Инженер выпрямился, застегнул пальто и быстро зашагал к дому.

ГЛАВА II

ДОМА

За дверью привычно задребезжал звонок. Раз, другой, третий. Наконец послышалось шлепанье босых ног и старческий голос:

— Кто тут?

— Я, Андреевна.

Инженер вошел, поблагодарил соседку и, осторожно ступая, прошел по коридору в свою квартиру.

— Где это вы изволили пропадать?

Маленькая хорошенькая женщина в мелких кудряшках, поджав ноги, сидела на кушетке, около лежал раскрытый роман и валялись смятые бумажки от конфет.

— Заседание было,— устало ответил Драницин.

— Удивительно часто бывают у вас эти самые заседания. Господи,— неожиданно перешла она на плаксивый тон,— у всех жизнь как жизнь, а тут деваться от скуки некуда. Ни тебе театра, ни тебе кино... Муж на заседаниях, жена дома. Вот хотя бы Храмцовых взять, живут же люди: и бывают везде, и к себе принимают, и жена по последней моде одета, а у нас все наоборот.

У инженера нехорошо заняло под ложечкой и заломило виски.

«Началось,— подумал он,— и так каждый раз».

Он обвел глазами комнату. Все было знакомо и ужасающе обычно: обеденный стол, широкий диван, крытый клеенкой (под кожу), буфет, из-за стекла которого скалила зубы посуда, мягкая мебель в углу и две араукарии, неподвижно, словно часовые, стоявшие по бокам небольшого кабинетного рояля.

— Все как в хороших домах,— подумал инженер и, скривив губы, прошептал:— Уют.— Ему почему-то вспомнилась сегодняшняя сце-

на у витрины универмага. Еще сильнее заломило виски.

— Послушайте,— обратился он к жене (когда они ссорились, то говорили друг другу «вы»),— неужели вам не надоело. Ведь это повторяется каждый день. Жить же так, как Храмцовы я не могу и не хочу. Да у меня и средств таких нет.

— Конечно,— воскликнула жена,— конечно. Мы, видите ли, не можем совмещать, нам, видите ли, нужны свободные вечера. Мы изобретаем. А мне эти изобретения надоели, слышите, надоели.

Упоминание об изобретении напомнило инженеру вечернюю встречу. Он скользнул взглядом по лицу жены. Глаза ее глядели зло. Драницин хотел что-то сказать, но махнул рукой и, круто повернувшись, пошел в свою комнату. В темноте нащупал настольную лампу и повсрнул выключатель. Свет от лампы упал на стол, заваленный книгами и бумагами. Тут же валялся бритвенный прибор, стояла пепельница, полная окурков.

— Не убрали,— поморщился инженер.

Он сел к столу и машинально придвинул к себе небольшое складное зеркальце.

На него глядело лицо немного усталого человека лет тридцати двух. Волосы на висках начинали редеть. Лицо было сухое с глубоко сидящими глазами и резко очерченным подбородком. Небольшие усы старили. Глаза смотрели недовольно.

— Некрасив,— пробормотал инженер,— что и говорить, некрасив, к тому же фигура неубедительная, нескладная какая-то.

— Ну, к черту все это. Надо работать.

Отыскав нужные книги, он пошел в лабораторию. Когда-то там была ванная комната, об этом говорила чуть заметная ржавчина на плохо выбеленной шершавой стене (здесь раньше проходила труба); на полу корчился кусок оцинкованного железа. Ванная была ликвидирована давно, и Драницин приспособил комнату под лабораторию. Никто в нее не допускался, ключи от комнаты хранились у самого Драницина и царил в лаборатории такой хаос, что, казалось, трудно понять, как человек может найти что-нибудь в этом беспорядке. Через минуту инженер уже забыл обо всех неприятностях. Он что-то мурлыкал себе под нос, довольно улыбался, добродушно возился около помятого примуса, морщил лоб над формулами.

Сергею Васильевичу Драницину в жизни, что называется, не везло. В институте звали его бирюком. Был он всегда чем-то занят,

вечно ему было некогда и держался он особняком. Окончив институт, он поехал на работу на Ванновский завод. Работал там Драницин много и хорошо. Был досуг, но инженер жил замкнуто. Вечерами, запершись в комнате, он читал, и не только специальную литературу. Читал страстно, с увлечением, и даже пробовал писать, но выходило плохо. Тогда же впервые он задумался над проблемой лучшей иск. Мысль эта овладела им целиком, она не давала спать, она тревожила во время одиноких прогулок. Он выписал уйму книг, просиживал до утра в заводской лаборатории. Наконец ему показалось, что он попал на верный путь.

Администрация ценила чудаковатого инженера. Ему поручали важнейшие работы, и он всегда выполнял их легко и просто.

— Это голова,—говорил про него директор— опытный, поседевший на хозяйственном фронте коммунист, и, прищурившись, добавлял,— большая голова.

Однажды инженера затащили знакомые на семейный вечер. Здесь он впервые встретился с Женей. Была она в то время веселой, хохотушкой. Драницин увлекся. Он стал искать встреч. С неопытностью в первый раз влюбленного человека он по вечерам часами простаивал около дома, где жила Женя, дожидаясь,— авось выйдет. И когда открывалась парадная дверь и Женя спускалась с крыльца, он как бы случайно встречал ее на углу и бормотал:

— Ах, какая неожиданность. Скажите пожалуйста.

Женя сле заметно улыбалась. Они шли гулять в чахлый сад над рекой, дышавшей сыростью и прохладой. И здесь однажды, краснея, путаясь, не зная куда девать руки, инженер признался, что он не может..., что он одинок, что если она согласится, то... и так далее и тому подобное. Звезды смотрели рассеянно и мудро, глухо шумела река. Над поселком плыл темный июльский вечер. Женя снова еле заметно улыбнулась и согласилась.

Быт Драницина перевернулся. Появился порядок, размеренность, знакомые, вечера: в гардеробе чинно висели три новых мужских костюма и дюжина дамских платьев. Вначале все это казалось необычным и радовало, хотя подчас и тяготило. Женя бросила работу (до замужества она служила чертежницей), увлеклась нарядами, жаловалась на скуку и требовала переезда в город. Муж согласился, и вскоре они уехали в Энск.

Он устроился в трест и с головой ушел в работу, продолжая возиться с изобретением.

Какая-то внутренняя неуверенность в себе и привычка работать в одиночку заставили его отказаться от попытки пойти в научно-исследовательский институт.

— Планы там да сроки, терпеть не могу,— говорил он,— а я уж сам полегонсчку да верней.

Жене не нравился образ жизни мужа. Вечно занятый, небрежно одетый, он способен был целыми сутками возиться в лаборатории. Она же думала о другом: о театрах, о широкой открытой жизни. Этого не получалось и она нервничала, капризничала, ссорилась с мужем. А он глубже замыкался в себе и уходил в работу. Все сильнее расходились их интересы.

— Как я мог жениться на этой девчонке?— удивленно пожимал плечами Драницин, щурил близорукие глаза и, безвольно махнув рукой, садился за книгу.

В лаборатории на стене приколотая кнопкой висела запылсинная фотографическая карточка. На фоне дымчатого дворца, колонн и якобы залива, уходящего вдаль, неестественно вытянувшись, сидело несколько мужчин в новеньких, неуклюжих костюмах и три женщины. Одна из них, почти подросток, глядела немного вбок, на груди у нее комично торпачился пионерский галстук. На паспорту висела надпись: «Первая бригада Ванновского завода».

Драницин частенько взглядывал на фотографию, и когда взор его останавливался на лице девушки, глаза теплели и углы губ расходились в улыбке. Маленькая пионервожатая Таня как-то необычно и крепко вошла в его жизнь. Они стали большими друзьями. Она работала в его цехе, и когда Драницин уезжал, ему казалось, что он расстанется с кем-то близким. Как-то через год его вызвали к телефону. Он узнал Танин голос. Они условились встретиться. Вечером, сидя в кафе, он слушал, как Таня, обжигаясь горячим кофе и пачкая пальцы в сливочном пирожном, рассказывала, что приехала учиться, что ее уже приняли на химфак, что она будет работать пионервожатой, что ей «ой как понравилась» картина «Процесс о трех миллионах».

Драницин молча улыбался. С тех пор они изредка встречались то в кино, то в театре, то в сквере.

В эти редкие встречи Драницину было как-то и хорошо и грустно, потому-то так тепло светились глаза, когда он смотрел на запыленную фотографию. А теперь Таня уехала в Москву—ее вуз перевели, и лишь изредка приходили короткие, наспех написанные письма.

Время в лаборатории шло незаметно. Стрелка часов показывала около четырех. Инженер встал и потянулся. В мозгу еще копошились обрывки формул и мыслей. Приятная усталость томила тело.

— Хорошо поработал,— пробормотал Драницин, выключая свет.— Хорошо.

Он на цыпочках прошел в столовую, нащупал в буфете кусок хлеба, отыскал колбасу, стоя поел и, выпив стакан воды, вернулся в кабинет. Постелил на диване постель и стал раздеваться.

В это время на столе осторожно зазвонил телефон.

— Фу, черт,— выругался инженер. Звонок в такое время был необычен. Шлепая босыми ногами, он подошел к столу и, зло взяв трубку, раздраженно спросил:

— Что надо?

В трубке пророкотало:

— Инженер Драницин?

Инженер узнал голос человека в сером пальто. Вечерняя встреча, почти забытая за работой, встала опять и неожиданно взволновала.

— Прошу окончательного ответа,— дребезжала трубка,— рекомендую согласиться...

— Подите вы к черту,— крикнул инженер, бросая трубку.— Странно, — говорил он сам с собой, сидя на диване и докуривая папиросу.— Странно. У меня как-то даже до сознания еще не дошло сегодняшнее приключение.

Это было обычно. В мозг, думавший всегда об одном, с трудом входили новые мысли, и только теперь после телефонного звонка инженеру было как-то не по себе. Билось учащенно сердце и ломило виски.

ГЛАВА III

«Лорд Генри порывисто обнял ее гибкое, юное тело. Она трепетала. Он тоже, и в комнате раздался страстный поцелуй.— Ты моя,— прошептал Генри».

— Есть же такие люди,— воскликнула Женья и мечтательно перевернула страницу затрепанного романа.

В это время в прихожей задребезжал звонок, через минуту еще, на этот раз как-то особенно настойчиво. В квартире никого, кроме Жени, не было — все ушли на работу.

Загнув страницу, Женья побежала в прихожую.

— Кто там?

— Евгения Дмитриевна Драницина здесь живет? — слышался ребячий голос.

Женья приоткрыла дверь, предусмотрительно не сняв цепочки. Перед ней стоял беспризорник. Из-под огромного картуза хитровато смотрели плутовские глазенки и нос пуговкой.

— Вам, тетя, письмо,— и он вытащил из-за пазухи узенький изящный конверт. Женья улыбнулась: и конверт и почерк были знакомыми.

— Спасибо, малыш,— сказала она и сунула мальчугану конфету.— Ответа не надо?

— Нет, тетя,— и мальчуган, сунув конфету в широкие драные штаны, неожиданно лихо свистнул, сел на перила и победоносно съехал вниз. Женья улыбнулась и заперла дверь.

— Милый, милый,— напевала она,— это от него.

Гибкие пальчики надорвали конверт и на диван выпала крошечная записка.

«Джени, надо увидиться, приходи в 12 в сквер в условленное место, целую миллион раз». Женья радостно улыбнулась.

— Котик, купи ты мне из соболя манто,— напевала она, пудря нос и крася губы.

Котик был рослый мужчина лет тридцати с безукоризненным пробором; он ходил в сером заграничном костюме, в ботинках джимми, в мягкой шляпе, и его всегда окружал еле уловимый аромат тонких духов, дорогих папирос и сытого комфорта. Связь была в меру поэтична и очень удобна.

Женья одевалась долго. Наконец она вышла, по привычке оглянувшись, и быстро пошла к трамвайной остановке. Человек в сером пальто, с лицом словно из фарфора и с длинными, точно приклеенными усами стоял у витрины магазина и искоса смотрел на подъезд квартиры Драницина. Когда Женья вышла, он криво улыбнулся и, лениво сунув руки в карманы, пошел в переулок.

Навстречу ему шли два оборвыша.

— Можно,— еле слышно уронил человек в сером пальто, проходя мимо.

— Идем,— толкнул оборванец своего товарища и, слегка пошатываясь, они вошли во двор дома, где жил Драницин.

Женья приехала в сквер. Маленькие часики показывали без пяти двенадцать. Наморщив носик, она осмотрела условленное место. Там никого не было.

— Противный,— прошептала она.— Так я же его помучаю.

Она решила погулять и прийти через двадцать минут, но и через двадцать минут Котика не было. На скамейке, обнявшись, си-

дела пара. Мужчина неприязненно взглянул на Женю.

То же повторилось через десять минут и еще через пять.

Когда разгневанная Женя в третий раз проходила мимо пары, мужчина злобно посмотрел ей вслед и до ее слуха донеслось:

— Ходят тут разные, посидеть не дают.

Через минуту Женя нервничала у телефона.

— Позовите мне Горецкого.

— Я у телефона.

— Так-то вы поступаете, что это за глупые шутки, — кричала она в трубку.

Голос в телефоне растерянно оправдывался.

— К чему эти идиотские записки, — истерически выкрикивала Женя.

— Какая записка?

— Ваша. Ваша!

— Ничего не понимаю.

Горецкий уверял, что это какое-то недоразумение, обещал сегодня же заехать.

Женя успокоилась, бегло взглянув на свое отражение в стекле телефонной будки, поправила шляпку и вышла на улицу. Вдруг ей стало не по себе. Какая-то смутная догадка и непонятная тревога защемили сердце. Она села в трамвай и поехала домой.

Вот и дом.

Взбежав по лестнице, Женя машинально дернула дверь и обмерла. Дверь была открыта и из прихожей выглянул милиционер в каске.

— Что вам надо? — пролепетала Женя.

— Проходите, проходите, Евгения Андреевна, — засуетился выбежавший из коридора сосед Сидор Трифонович, — не бойтесь. — Женя вошла.

— Всегда я говорил, душа моя, что квартиру нельзя оставлять без надзора, — взволнованно ораторствовал Сидор Трифонович. — И что вам стоит посидеть дома, пока Груша из отпуска придет. Так нет. Что вы, как можно. И вот теперь полюбуйтесь. — Он широким жестом пригласил Женю на кухню. Ничего не понимая, она пошла за ним. Дверь черного хода была открыта настежь. Замок вместе с куском дерева был вырезан и вынут; цепочка снята.

— Хорошо, что я декадную сводку дома забыл. А директор требует и кипятится, ну я и поехал. Прихожу и слышу, знаете ли, какой-то подозрительный скрип на кухне. Я к двери. Слышу кто-то пробует американку открыть. Я как крикну: кто там — стрелять буду! И сразу же по лестнице топот. Открыл —

и вот... — Сидор Трифонович театрально показал на дверь.

— Всегда я говорил...

Милиционер, составив протокол, удалился.

Женя, взволнованная всем происшедшим, ушла в свою комнату и вызвала мужа домой.

Через час встревоженный Драницин слушал несвязный рассказ вперемежку со слезами, всхлипываниями и упреками.

— Меня могут убить, — почти выкрикивала Женя, — я беззащитна. Я не могу больше жить в этой ужасной квартире. Это вы виноваты... Вы... Вы.

Попытка ограбления взволновала и его. Он догадывался, что это не простой налет на квартиру. Ему почему-то казалось, что вчерашние угрозы, к которым он отнесся так легко, претворятся в жизнь.

Отправив жену в магазин, Драницин сообщил в трест, что не придет на работу, и, шагая по кабинету, обдумывал, как же ему поступить. Было ясно, что люди, идущие на ограбление среди бела дня, не остановятся ни перед чем, чтобы вырвать изобретение. В глубокое раздумье он прошел в лабораторию.

Вывув из ящика стола тетрадь, испещренную чертежами и таблицами, Драницин отыскал листок, на котором была написана решающая формула, составляющая основу изобретения. Зажмурив глаза, он мысленно повторил ее, потом вырвал листок и сжег его на печельнице. Когда пламя погасло и черный сморщенный листочек, слегка потрескивая, клонился набок, Драницин осторожно сдул пепел в печь. Подумал немного, потом бросил в топку тетрадь.

«Когда надо — восстановлю,» — подумал он. Чиркнула спичка, и пламя ярко охватило бумагу. Ему стало легче. Оставалась модель, но разобрать принципы ее устройства без знания формулы было трудно.

— Что же делать? — спросил сам себя инженер. — Надо пойти и сообщить об открытии. Но кому?

Постояв немного в раздумье, он хлопнул ладонями по голове. Ну, конечно же, надо идти к секретарю крайкома. Мелькнуло сомнение — поди, попасть трудно. «Ну ничего, я ему письмо напишу — примет».

Инженер присел к столу, сдвинул в сторону груды книг и перо быстро забегало по бумаге.

«Тов. Бойкевич, действительно прошу Вас немедленно принять меня. Дело касается сделанного мною изобретения.

Инженер Драницин.

19 августа 1925 г.»

Подумал, наморщил лоб и приписал.
«П. С. Служу в химтресте замглавного инженера.

Д.»

Запечатав письмо, позвонил в крайком. Ему сообщили, что прием у секретаря с двенадцати до двух. Инженер успокоенно положил трубку, взял какую-то книгу и растянулся на диване.

А в это время в захудалой пивной на окраине города за столиком сидел человек с лицом словно из фарфора, с длинными, точно приклеенными, черными усами. Перед ним, смущенно опустив глаза в пивные кружки, моргали два оборванца.

— Ничего,— успокаивал человек,— не отчаивайтесь. Вы мне еще будете нужны. Если справитесь с тем, что я вам поручу — получите все целиком.

Оставив на столике несколько червонцев, человек вышел на улицу, взглянул на часы, подумал и, завернув в переулочек, направился к маленькому скверчику.

В скверике было пусто. Ветер нес желтую тухлявую листву. Пахло осенью, сыростью и гнилью. Человек в сером пальто сел на скамью, закурил и задумчиво смотрел вдоль дорожки. По аллее шла высокая девушка в черном потертом пальто. Человек встал и сделал два шага навстречу.

Поздоровались. Сели.

— Что нового?— сухо по-деловому спросил он. Девушка нервно теребила несвежий платок. Была она бледна и как будто растеряна.

— Что нового?— повторил человек в сером пальто, нетерпеливо отбрасывая докуренную папиросу.

— Номер шестьдесят два звонил в крайком,— растерянно прошептала девушка.

— В крайком?— вздрогнул человек.— Зачем?

— Спрашивал о часах приема. Прием с двенадцати до двух.

Человек в сером пальто задумался. Качались деревья. Ветер нес тухлявую листву, пахло сыростью.

Так прошла минута. Другая.

— Семен Семенович, мне нужны деньги,— прошептала девушка.

— Что?— Но не дождавшись ответа, вынул из кармана пять червонцев и передал ей.

— Завтра от двенадцати до двух будьте обязательно у провода крайкома. Слышите, обязательно.

Голос звучал сухо и повелительно.

— Жду вас в четыре часа здесь. Слышите?

— Слышу.

Девушка хотела было встать. Помедлила отчего-то и еле слышно сказала.

— Я боюсь.

— Чепуха,— резко бросил человек в сером пальто.— Бояться нечего. За завтрашнюю информацию получите сто. Кстати, зайдите в пассаж, есть стоящие вещи. Итак, до завтра.

ГЛАВА IV

ИНЖЕНЕР СИДИТ В КРАЙКОМЕ

Драницин встал поздно. Накануне он долго сидел в лаборатории. Делал последние опыты и заснул только под утро. На службу не пошел. В ответ на звонок из треста сказал, что нездоровится.

Женя дулась и сразу же после чая куда-то ушла. Инженер прошел в лабораторию, достал плоский стандартный чемоданчик, сунул в карман чемодана маленькую записную книжку, осторожно уложил модель и, весело мурлыкая что-то под нос, вышел на улицу.

«Такси разве взять»,— подумал он.

Подошел к стоянке.

— Свободен?

— Вполне,— улыбнулся шофер.— Садитесь, мигом довезу.

Инженер взялся за ручку дверцы, но вдруг смущенно покраснел и, прошептав что-то нечленораздельное, быстро отошел от такси.

— Досада какая, бумажник забыл,— бормотал он.

Шофер зло скривил рот — сорвалось.

— А ты, видно, приятель, в первый раз,— подошел к нему шофер с только что подхваченного «форда».

Шофер не ответил, взглянул надменно сверху вниз и сердито рванул рычаг.

Машина вздрогнула и быстро понеслась вдоль улицы.

— Да ведь и номер-то у ней не наш,— изумился шофер.— Тут что-то странно.

А инженер тем временем быстро шел по улице.

Чтобы дойти до здания крайкома, надо было пройти по большой людной улице, пересечь один переулочек и выйти на главный проспект.

В переулочке было тихо. Около одного из домов стояла машина, где-то плакал ребенок.

Неожиданно из-за угла вышли два пьяных оборванца. Они шли пошатываясь, поддерживая друг друга и горланили.

За-а кирпичик по-о-любила-а я этот завод...

— Эх и развезло,— подумал инженер.

Поравнявшись с Дранициным, один из оборванцев неожиданно упал ему под ноги. Инженер пошатнулся, инстинктивно схватил обеими руками чемодан и повалился на асфальт. В то же мгновение он почувствовал, что у него выхватили чемодан. В руке осталась боль.

Драницин приподнялся, машинально поправляя сбитую на затылок шляпу.

Оборванец с чемоданом в руках бежал наискось к дому, возле которого стояла машина.

Второй оборванец исчез.

— Помогите,— кричал инженер, все еще сидя на тротуаре.— Помогите!

Милиционер Семен Кнопка в этот час выходил на дежурство. Подтягивая ремень и на ходу надевая перчатки, он уверенно и солидно шагнул через арку ворот к переулку.

Вдруг его ухо уловило крик. Мингом забыв о солидности, Кнопка выскочил на улицу, машинально расстегивая кобуру.

Глаза его быстро охватили поле действия. На тротуаре сидел человек. Он кричал «Помогите!»

Оборванец с чемоданом подбегал к дому, где стоял автомобиль. Кнопка вытащил револьвер и зычно крикнул:

— Стой, сукин сын, стрелять буду!

Оборванец, не обращая внимания, бежал к автомобилю. Кнопка целился в руку, державшую чемодан.

— Стреляю!— крикнул он.

— Ну и стреляй,— выругался оборванец.

Грянул выстрел. Недаром Кнопка на стрелковом соревновании взял первую премию.

Оборванец охнул, чемодан вывалился из рук. Кнопка подскочил, схватил одной рукой чемодан, продолжая целиться в оборванца.

— Руки вверх,— орал он,— я тебе покажу, как посереде дня шухер устраивать.

Оборванец покорно поднял руки. Кровь густо бежала по рукаву и тяжелыми каплями шлепалась на булыжник. Шофер с любопытством смотрел на происшествие, высунув голову из кабины.

По улице уже бежал народ.

— Товарищ милиционер, это мой чемодан,— раздался около Кнопки голос.— Ей-богу мой.

Кнопка повернулся, и перед ним возникло растерянное, запачканное пылью лицо инженера.

И в то же время сердито рывкнула машина и быстро пролетела мимо.

Кнопка обернулся — оборванца не было.

— Где есть грабитель?— спросил Кнопка.

— А он, дяденька, в машину запрыгнул,— услужливо проговорил босоногий мальчуган.

— Упустили,— съехидничал желчный сухопарый гражданин, поводя длинным носом,— известно, милиция.

— Гражданин милиционер,— снова раздался голос,— отдайте чемодан, мой это.— Кнопка сердито повел глазами в сторону говорившего.

— Каки таки доказательства можете представить, что этот чемодан ваш?— Он был озлоблен, инженер казался ему главным виновником того, что он упустил грабителя.

Публика довольно загоготала.

— На чемодане под ручкой есть пластинка с буквами СВД,— сказал инженер.

— А вот посмотрим,— угрожающе промолвил Кнопка и наклонил к чемодану рябую физиономию.

— Точно так, есть,— сказал он разочарованно,— а только, гражданин, может, вы вместе грабили и прочесть успели,— высказал он свои подозрения.

Инженер растерянно оглянулся.

— Так вот же паспорт мой. Я же и есть СВД: Сергей Васильевич Драницин. Это же мои инициалы.

Кнопка, шевеля губами, просмотрел серенькую книжку, отыскал фотографию и долго сравнивал инженера с изображением на дешевой пятиминутке.

— Сходственно будто, только здесь ровно помоложе,— ткнул он пальцем в фотографию. Инженер усмехнулся.

— Ну, ладно,— решил милиционер,— чемодан берите. Адрес я ваш запишу, а завтра вызовем для допроса.

Инженер взял чемодан и, озираясь по сторонам, быстро зашагал к главному проспекту.

Публика нехотя расходилась, комментируя события.

Вот наконец и здание крайкома.

Инженер толкнул тяжелую дверь и очутился в огромном вестибюле. Крайком помещался вверх. Драницин медленно поднимался по лестнице, устланной толстой дорожкой.

Вот и площадь, и бланк — третий этаж.

— Вам куда?— остановил инженера комендант.— Предъявите партбилет.

— Да я же беспартийный.

— Тогда паспорт,— мягко улыбнулся комендант.

Бегло просмотрев документ, он вернул его со словами:

— Пройдите в двадцать девятую комнату. Инженер шел по узкому коридору.

Вот и двадцать девятая. Это была большая приемная с огромными окнами на улицу. За желтым стандартным столом сидел молодой человек в толстовке, очевидно, помощник, тут же на стульях примостились трое мужчин с портфелями.

— Секретарь принимает?—спросил Драницин.

— Принимает,— ответил помощник.— А вы по какому делу?

— По личному,— буркнул инженер,— фамилия моя Драницин, работаю в химтресте.

Помощник недоуменно пожал плечами, но записал. Драницин сел и погрузился в раздумье.

— Товарищ Бойкевич принять вас сегодня не может,— тихо сказал инженеру помощник.

Драницин растерялся— в последний момент все ломалось.

В приемной было тихо и слышно было только мерное тиканье маятника да скрипучий голос человека с унылой физиономией.

Драницин вспомнил о письме.

Он вынул конверт и передал его помощнику:

— Отдайте Бойкевичу,— сказал он тоном, не допускающим возражения. Помощник снова пожал плечами и ушел в кабинет. Через минуту оттуда, оживленно о чем-то разговаривая, вышли два человека. Следом за ними показался помощник. Он подошел к двум мужчинам и сказал:

— Товарищ Бойкевич очень извиняется, но принять вас сегодня не сможет. Приходите завтра ровно в час.

Человек с унылой физиономией весь как-то просиял и, записав бумаги в портфель, вышел из приемной так быстро, словно боялся что вот-вот его вернут. За ним ушел и другой ожидавший.

— Пройдите,— обратился помощник к Драницину.

Инженер вошел.

ГЛАВА V

У СЕКРЕТАРЯ КРАЙКОМА

В огромной комнате стоял письменный стол, к нему примкнут был другой под красным сукном— видимо, для заседаний. У стены громоздился большой кожаный диван. Возле окна небольшая вертушка с книгами. На стене портреты. У стола, заложив руки в карманы расстегнутого пиджака и читая какую-то бумагу, стоял человек с коротко остриженной головой. Из-за пиджака виднелся

ворот косоворотки, застегнутой на одну пуговицу.

Сергей Васильевич подошел к столу, протянул руку и отрекомендовался.

— Драницин, инженер химтреста.

— Здравствуйте,— сказал секретарь. Рука у него была большая с сильными длинными пальцами.— Садитесь,— и он показал на стул.

Инженер сел.

— Я вас немного знаю,— продолжал секретарь, плотно усаживаясь в кресле и закуривая папироску.

— Я вас тоже,— промолвил Драницин и вдруг густо покраснел, почувствовав, что сказал невпопад.

Секретарь чуть усмехнулся и, подвигая портсигар, полуспросил, полупредложил:

— Курите.

Инженер взял папиросу. Знакомый дым «Блюминга» действовал успокаивающе. То что секретарь курит именно «Блюминг», почему-то особенно понравилось инженеру и он как-то тепло взглянул на сидящего перед ним человека.

— Вы пишете о каком-то изобретении,— медленно промолвил секретарь, с наслаждением вдыхая дым папиросы.

— Да,— ответил Драницин.— Вы склонны, наверное, рассматривать меня как маньяка. Ведь вас, поди, осаждают десятки людей, предлагающих свои изобретения. Но, поверьте, то, что я буду говорить, точно проверено и испытано.— Инженер помолчал и переложил чемоданчик с колен на стол.

— Вот здесь модель моего изобретения.

Секретарь слушал внимательно, слегка наклонив голову набок.

— Вы, конечно, слышали о проблеме икс лучей, о лучах, дающих возможность действовать разрушающе на огромные расстояния без проводов.

Секретарь утвердительно кивнул головой. Инженер положил окуроч в пепельницу и сказал:

— Так вот, эти лучи я и открыл.

Сказано это было просто, буднично, словно человек говорил о чем-то обычном. В высокопотолочной комнате таилась тишина, слышно было, как тикали часы да где-то далеко по коридору приглушенно вздрагивал телефонный звонок.

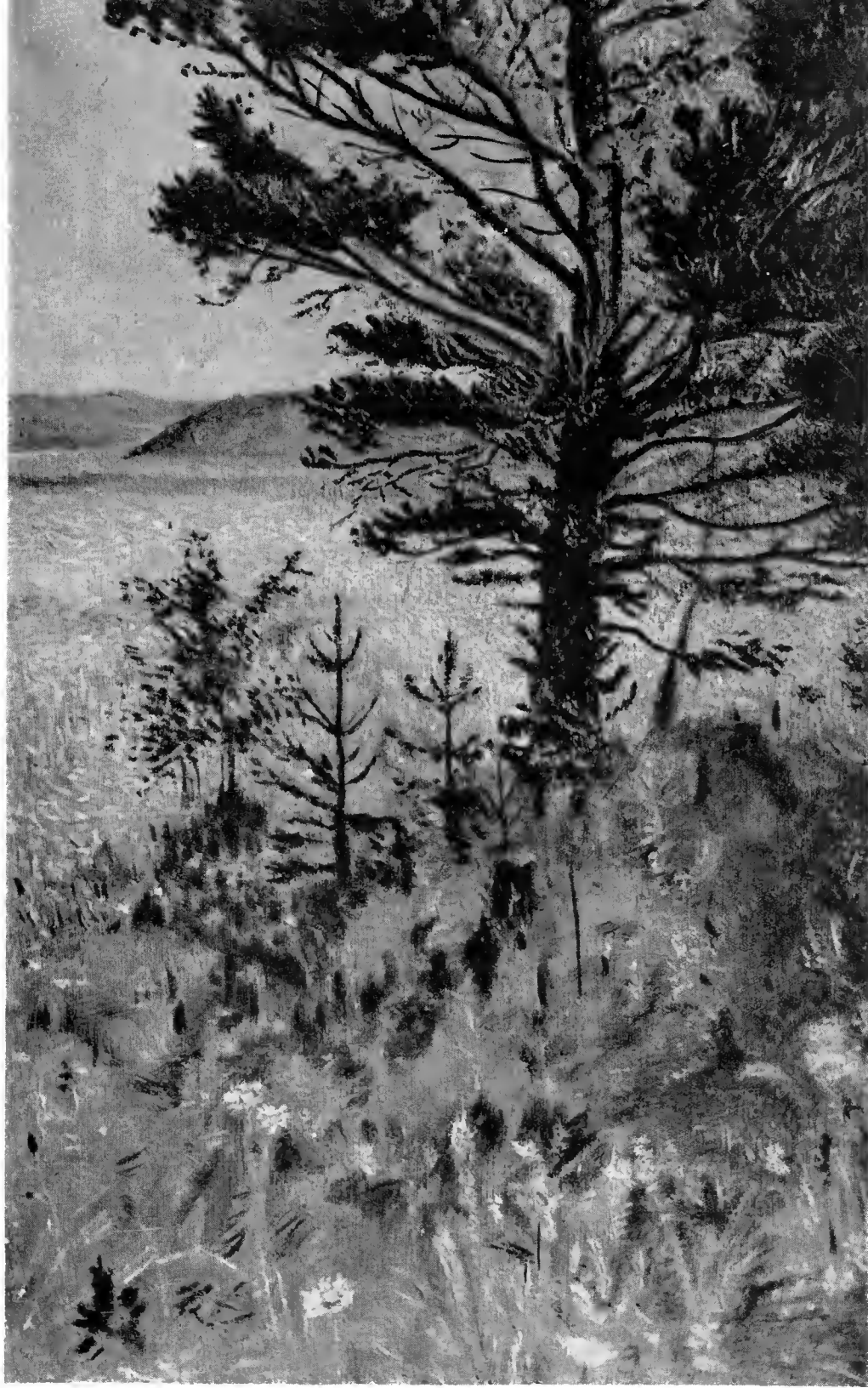
Секретарь оживился.

— Вы открыли?

— Да, я открыл,— промолвил инженер,— я давно работаю над этим вопросом. Много было неудач. А потом оказалось, что все это проще, чем я думал. Знаете, мы часто услож-

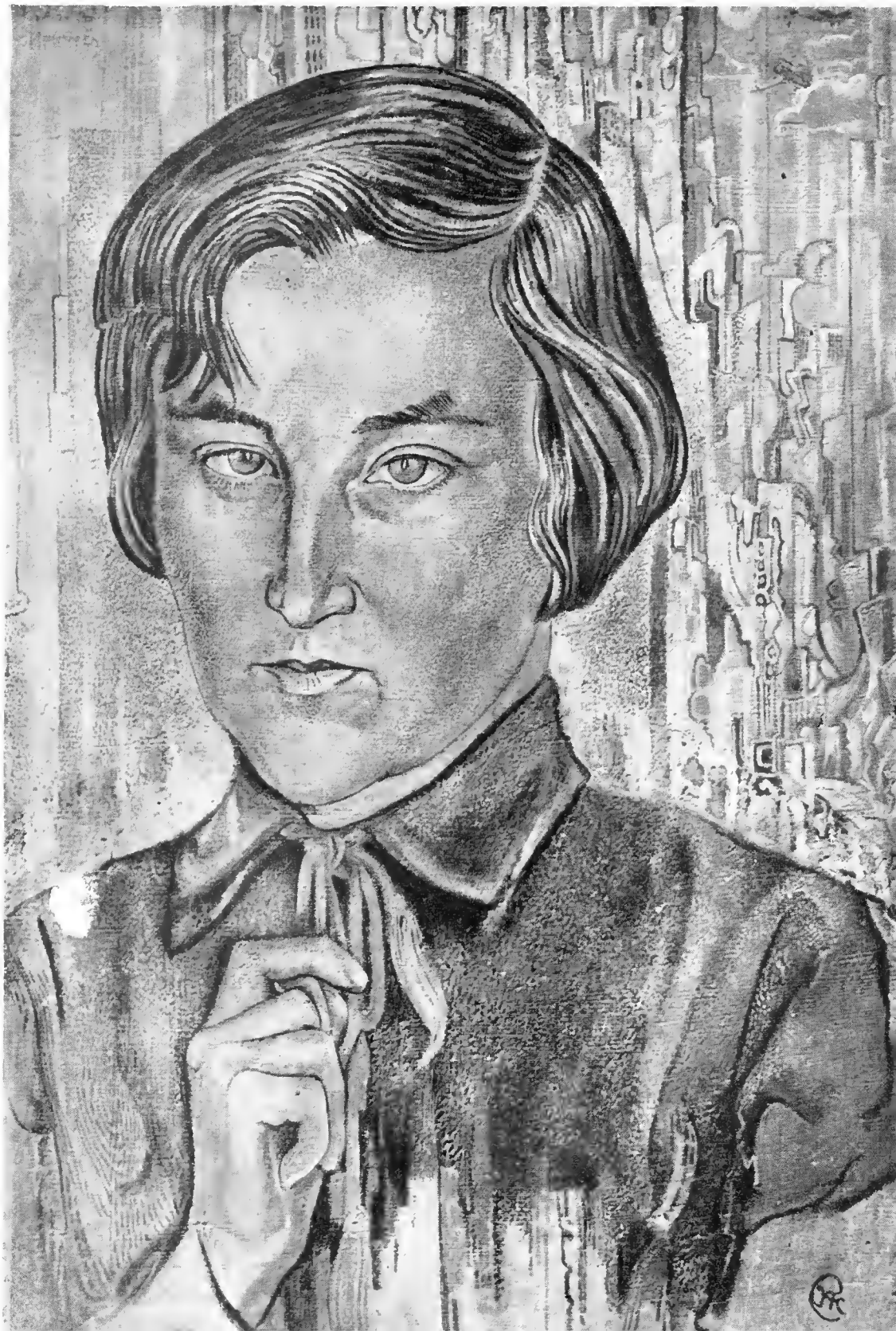


А. П. Жибинов. Автопортрет. Масло.



А. П. Жибинов, Сосна, Масло.

А. П. Жибинов, Портрет Е. В. Жилиной. Масло.





А. П. Жибинов.
Портрет Н. А. Асанова.
Масло.

нять простое любим,— как-то застенчиво улыбнулся он.— У меня приготовлена модель. Вот она. Взгляните.

Он привстал и открыл чемоданчик. Внутри на черной обивке, тускло поблескивая медью и никелем, лежал небольшой изящный аппарат.

Секретарь встал и с любопытством глядел на модель.

— Хотите опыт проделать?— продолжал оживленно инженер.— Только знаете что, давайте закроем двери, а то еще войдет кто-нибудь. Помешает, неудобно.

Говорил он просто, словно были они давно знакомы.

— Давайте,— согласился секретарь. Подойдя к двери и приоткрыв ее, он сказал помощнику:

— Я занят, никого не впускайте.

Затем он повернул дважды ключ.

Инженер уже вынул модель, она стояла на столе.

— Скажите,— спросил он секретаря,— вам эту безделушку не жаль?— И он указал на тяжелый бронзовый подсвечник на толстой витой ножке, одиноко стоящий у письменного прибора.

— Да нет, не жаль,— усмехнулся секретарь.— Я и сам не знаю, зачем он тут стоит.

— Ну и прекрасно,— обрадовался инженер.— Знаете что, тащите-ка его вон туда в угол и поставьте на несгораемый шкаф, а я тут прибор налажу.

— Идет,— согласился секретарь. Ему нравился дружеский тон инженера.

— Ну-с, теперь все в порядке. Наведем фокус, определим масштаб, поймем отражение и будем действовать. Взгляните-ка.

Секретарь наклонился над прибором. В маленьком заркальце он отчетливо увидел отражение подсвечника, хотя зеркало было повернуто к несгораемому шкафу тыльной стороной.

— Глядите туда,— властно сказал инженер, показывая на несгораемый шкаф.— Включаю.

Секретарь внимательно смотрел на подсвечник. Ему вдруг все это показалось нелепой мистификацией и он был почти недоволен собой. Но вдруг он отчетливо увидел, как высокий подсвечник покачнулся, верхняя часть его, словно срезанная бритвой, отвалилась, звонко ударилась о ребро шкафа и гулко упала на пол.

— Глядите!— почти вскричал инженер.— Ну как?

— Да-а-а...— произнес секретарь.

— Это модель, радиус ее действия не ве-

лик, только сто километров. Но в принципе задача решена. Я гарантирую постройку аппарата с радиусом действия в десять, пятьдесят, сто тысяч километров.

— Но каков принцип?— спросил секретарь.

Инженер объяснил сжато и дельно.

— И никто об этом изобретении не знает?— спросил секретарь.

— Никто...— и сразу осекся, вспомнив позавчерашнюю встречу.— Простите, ошибся. Вот тут-то и начинается самое интересное, почему я, собственно, и решил обратиться к вам.

Инженер подробно рассказал о встрече с незнакомцем и нападениях.

— Страшный вы человек, товарищ Драницин,— мягко говорил секретарь и в голосе его слышались нотки упрека.— Ведь не маленький. Большой специалист и над такой штукой дома работаете. Еще хорошо, что уцелели. Не особенно, должно быть, умны эти люди, хотя черт их знает, может, они только что узнали и торопились действовать. Но что же нам теперь делать?

— Не знаю,— немного смущенно пробормотал инженер.

Секретарь на минуту задумался.

— Скажите, у вас все это записано?

Инженер вспомнил о сожженных листах, густо покраснел и сказал:

— Нет, есть только часть... история открытия, а формул и расчетов нет. Все в памяти и чтобы восстановить, надо поработать.

— Так вот что,— продолжал секретарь.— Вас надо немедленно отправить в Москву.

— В Москву?

— Да, и не одного, а под охраной и только, слышите, чтобы об этом никто не знал. Те, кто за вами следит, очевидно, не остановятся ни перед чем. Вы должны исчезнуть. А как это сделать технически, мы сейчас решим.

Он взял трубку телефона, вызвал какой-то номер.

— Приезжайте, да, да, немедленно, очень важно. Да, да. Жду.

Минут через десять в дверь кабинета постучали. Секретарь открыл. В комнату вошел военный в гимнастерке, на воротничке поблескивали четыре ромба.

— Познакомьтесь.

Секретарь рассказал. Стали советоваться. Разработали план.

Военный позвонил на вокзал.

— Оставьте два билета до Москвы. Да, да в люксе. Есть? Вагон номер два второе купе? Хорошо. Благодарю вас.

Потом звонил куда-то еще.

— Пошлите Шедова. Конечно, в полной готовности. Номер? Номер пятьдесят шестой, — сказал он, взглядывая внимательно на инженера, точно меряя его глазами.

Через некоторое время в комнате появился новый человек с объемистым портфелем.

— Вам придется переодеться, — сказал военный инженеру.

Драницин растерянно взглянул на секретаря, тот улыбался.

— Надо, ничего не поделаешь. Сами видите какое дело.

Вместе с вновь пришедшим вошли в соседнюю комнату. Портфель незнакомца оказался неистощимым. С ловкостью фокусника он вытащил из него костюм, тонкий прорезиненный плащ и даже шляпу.

— Ботинки здесь, — сказал он. — Теперь все. Да вот и зеркало, и краска. Вам надо усы сбрить.

Инженер сконфуженно моргал. Он плохо отдавал себе отчет в происходящем. Но в ушах звучали ободряющие слова: — Ничего не поделаешь, товарищ Драницин, надо.

Весело кипела вода и минут через пять на инженера из маленького зеркала смотрело чужое, странно помолодевшее лицо. Не успел инженер оглянуться, как его волосы окрасились в черный цвет. Человек вынул из кармана футляр с роговыми очками и передал их Драницину.

— Теперь переоденьтесь.

Инженер, стесняясь, сбросил с себя одежду и начал надевать новое платье. Долго возился с запонками. Пальцы не слушались. Волновался. Не ладилось с галстуком.

Наконец оделся. Взял в руки плащ и шляпу, обернулся и ахнул. Перед ним стоял он сам, но не теперешний, а тот, каким был полчаса назад. Те же усы и волосы.

— Ну как? — справлялся двойник. — Скажите-ка фразу какую-нибудь. Мне ваш выговор поймать надо.

Инженер что-то сказал. Говорил он слегка картавя. «Р» звучало у него мягко.

Двойник повторил в точности.

— Ну, идемте, — взял он Драницина под руку. Вместе вошли в кабинет.

— Bravo, bravo, — вскричал военный. Секретарь удовлетворенно осмотрел вошедшую пару.

— Теперь дайте мне ваш чемоданчик, — попросил двойник.

— Нет, нет, а как же модель? Он внутри специально устроен для нее.

Осмотрели чемоданчик. Он был обычный,

стандартный. Послали в магазин купить такой же и заодно чехол для чемодана Драницина.

Уже вечерело.

— Так вот, — говорил военный. — Вы выйдете, на углу будет стоять такси номер двадцать шесть-двадцать два. Повторите.

— Двадцать шесть-двадцать два, — покорно повторил инженер.

— Вы спросите: «Свободен товарищ Эрель?». Вам ответят: «Свободен, но только для вас». Вы сядете. В такси уже будет сидеть человек, пусть вас это не смущает. Все остальное расскажет и сделает он. Не забудьте. Повторите.

Инженер повторил.

Военный обратился к двойнику.

— И вы пойдете к дому инженера. Ваша задача поймать тех, кто за ним охотится. За вами будут идти агенты.

— Не беспокойтесь, — улыбнулся двойник уверенно.

— А как... жена, — вспомнил инженер.

— Не беспокойтесь. Вы желаете, чтобы она выехала за вами?

Инженер растерялся.

— Да... нет... — пробормотал он. — Да вот я ей доверенность напишу... на зарплату.

Секретарь незаметно улыбнулся и быстро переглянулся с военным. Инженер поймал взгляд. «Понимают», — подумал он, и ему стало больно и плохо и в памяти всплыл образ девушки с каштановыми волосами. Она в Москве. Как ее адрес? Варварка, а дальше?

— Да, пожалуйста, — обратился он к двойнику. — У меня в боковом кармане открытка есть, там адрес один записан московский. Дайте, пожалуйста.

Двойник подал открытку. Драницин мельком прочел ее. «Москва. Варварка 18, кв. 4. Т. Д. Винициной». Сегодня он хотел отправить ее, но не успел. Написал только адрес. Машинально сунул открытку в боковой карман.

— Ну, вам пора — сказал военный, взглянув на часы. — Поезд уходит через час десять. Двойник ваш уже ушел.

Драницин крепко пожал руки военному и секретарю и вышел. Его провели на улицу другим ходом.

Все было так, как они условились, и через десять минут такси быстро мчалось к вокзалу. Человек, сидевший с Дранициным, сказал только четыре слова: «Следуйте всюду за мной».

Большие вокзальные часы показывали двадцать минут пятого. Поезд уходил в пять.

ГЛАВА VI

УЗЕЛ ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Человек в сером пальто сидел в сквере. Было свежо, и он зябко ежился. Опять, как и вчера, показалась девушка. И снова его голос был сух и властен. Волнение нездоровыми пятнами красило ее лицо.

— Вы опоздали,— говорил человек,— уже половина шестого.

Она пыталась что-то сказать, оправдываться. Он оборвал ее грубо:

— Что нового?

— Из крайкома звонили, заказали в Москву два билета.

— И все... А какой поезд?

— Люкс, второй вагон, второе купе,— прошептала девушка и вдруг истерически всхлинула.

— Я больше не буду, Семен Семенович, я не могу, слышите, не могу. Ведь это же нечестно.

— Поздно догадался,— жестко сказал человек, подымаясь.— Впрочем, я вас освобождаю от этих обязанностей. Я уезжаю. Вот ваши деньги. Прощайте.

Васька Клещ, задыхаясь, бежал переулками. Вдали замирала погоня. Позади остались: скандал на улице, тревожные свистки, бегущие милиционеры, люди, мчавшиеся к месту происшествия, притихшая толпа и женщина в сбившейся на бок шляпе. Она кричала истерически:

— Это он, он его сбил, он на меня чуть не наехал,— и она показывала на огромный темный автомобиль с потухшими фонарями, снотливо стоявший около. Милиционер открыл дверцу кабины и хотел сказать шоферу «Выходи», но так и остался с открытым ртом. Автомобиль был пуст.

— Кто шофер?— крикнул он в толпу.

Все молчали.

Хотел записать номер, но номера не было.

Тем временем Васька Клещ миновал два забора, проходной двор. Наконец безопасность. Васька остановился, стер пот и, важно размахивая чемоданом, пошел медленно.

— Вот Семен Семенович обрадуется, отвалит теперь сармаку, гуляй Васька Клещ.

Свидание было назначено в подвале.

Васька осторожно оглянулся и нырнул в черную дверь. Наощупь пробирался, обходя кучи мусора и кирпичей. В середине подвала была глухая комната без окон. В ней чуть брезжил свет. Васька вошел, на столе стоял

фонарь, скупо освещая стол и темную фигуру. Ваське стало почему-то страшно.

— Семен Семенович,— окликнул он,— Семен Семенович.

Фигура оставалась неподвижной.

— Семен Семенович, да это же я, я, Васька Клещ.

Человек за столом словно очнулся от тяжелого сна и, схватив Ваську за руку, спросил:

— Ну как?

Это было настолько неожиданно, что Васька даже вздрогнул.

— Вот он.— С гордостью, осторожно, точно хрупкую драгоценность положил на стол чемодан.

Семен Семенович дрожащими руками потянулся к чемодану.

— Ша,— неожиданно резко пробасил Васька.— Руки прочь от чемодана, Семен Семенович. не куплено— не взято. Деньги вперед и сполна.

— Сколько?

— Как условлено было, пятьсот.

Человек поежился, достал бумажник, вынул аккуратно связанную пачку червонцев и бросил их на стол.

— Здесь пятьсот, можешь не считать.

— Зачем же,— невозмутимо промолвил Васька,— деньги счет любят.

Навалившись на чемодан грудью, мусоля пальцы, он считал долго, с чувством.

— Да скорей ты,— не вытерпел человек в сером пальто.

— Но-но, со счету не сбивай,— огрызнулся Васька.

Кончил, отвалился от чемодана.

— Правильно. Бери.

Человек осторожно взял чемодан, открыл застёжки, но крышка не открывалась. Она была на замке.

— О черт,— выругался человек.

— Я его мигом открою,— успокоил Васька. Он достал гвоздь, ковырнул в замке, и тотчас же язычок замка шелкнул и прыгнул вверх. Человек в сером пальто отстранил Ваську и быстро откинул крышку. Крик похожий на стон вырвался из его груди. Чемодан был почти пуст. Кипа старых газет, брюки, пара полустоптанных ботинок, старый пиджак и сломанный надвое тяжелый бронзовый подсвечник. Вот и все, что лежало в нем. Васька Клещ в один момент нырнул во тьму и пошел по улице с твердой решимостью не возвращаться больше в подвал.

Человек в сером пальто сидел неподвижно, подняв воротник. Вдруг он резко встал.

— Ах, я дурак. Так оно и должно было

быть. Это был не Драницин. Надо действовать.

Он швырнул в угол чемодан и тщательно забросал его мусором, нахлобучил кепку и зашагал к телеграфу.

ГЛАВА VII

СТАНЦИЯ ГРАДОВСК

В эту ночь в вокзал станции Градовск вошли двое военных в черных кожаных пальто. Носильщик нес следом два желтых чемодана.

— Николай, ты подожди, а я пройду к начальству,— проговорил высокий военный в очках. Когда он распахнул пальто, все увидели орден Красного Знамени на груди.

— Иди,— ответил второй, крепкий коротыш, доставая из портсигара толстую папиросу,— только поскорей.

Около кассы вилась очередь. Женщины в шляпах, едущие на курорт, солидные хозяйственники с портфелями, набитыми контрольными цифрами. Желчный кооператор, шестой день безрезультатно отправляющий свою семью в Москву. Окошечко было закрыто, и публика с нетерпением поглядывала на часы. Первая заметила двух военных Зиночка Телянина, жена старшего помощника второго заместителя заведывающего Окргу.

— Видите, два внеочередных,— шепнула она соседке.— Шансы падают.

— Да уж будьте уверены,— раздраженно буркнул хозяйственник.— Эти иначе как в люксе — никуда.

Высокий подошел к двери с табличкой: «Начальник станции». Стукнул.

Из-за двери раздраженно прокричали.

— Нельзя.

Дернул дверь. Закрыто.

— Не пускают,— прошептала Зиночка. Но военный стукнул еще энергичней.

Звякнул замок. Дверь распахнулась.

— Я вам русс...— начал было полнокровный мужчина в путевой фуражке.

— Проходите,— устало оборвал он недоконченную фразу, увидев военного.— Не поверите — никакого покоя нет. На три свободных места тридцать три пассажира. И все грозят, ругают, жалуются. Да вы садитесь,— и начальник станции показал на стул.

— Вчера, знаете, до драки дошло. Жена заведующего Окргдравом с женой заместителя Окргвнторга из-за билетов дебош устроили. Стыд, срам. Кричат «мне», «мне». А в результате обе поезд пропустили.

— А я ведь тоже по этому же делу. Срочно нужно выехать в Москву.

— Броня есть?— вздохнул начальник.

— А вот удостоверение и телеграфный вызов.

— Сколько билетов?

— Два и, заметьте, вне всякой очереди. Вот вызов из Реввоенсовета.

— Тьфу,— вздохнул начальник станции.— У меня, понимаете, на этот «люкс восемьдесят два» все внеочередные. Ну да ладно, вас устрою.

— Мне бы желательно второй вагон.

— Этого не обещаю. Зайдите через полчаса. Поезд ожидается через сорок минут.

— Хорошо.

Пока шел этот разговор, в очереди царил невероятный оживление.

— Нет, я понимаю — на почтовый, на экспресс вне очереди, но почему на люкс, ведь это же невозможно,— кипятилась Зиночка.— Я всегда говорю своему Сергею, что транспорт работает ужасно.

— Пожалуй, не уедем,— испуганно вскинула глаза соседка и вторично уронила сумочку.

— А вы думаете — уедете,— желчно прокрипел кооператор.— Шиш на постном масле. Много захотели, с одного раза сесть. Я, знаете, шестые сутки дежурю. Спать разучился. Контрольные цифры с квартальными отчетами путаю. А вы — уе-е-дем.

Высокий военный вышел из кабинета.

— Ну как дела?— спросил коротыш.

— Прекрасно,— усмехнулся военный.

Коротыш оглянулся и приглушенно спросил:

— Никаких подозрений...

— Никаких. Обещал устроить.

— Сговариваются,— оживленно прошептала Зиночка, указывая пальцем на военных.

— Значит, выгорело.

Часы показывали пять минут пятого по московскому времени.

Высокий военный скрылся и через минуту вернулся, держа в руках билеты.

— Второй вагон, — торжествующе сказал он.

Коротыш довольно улыбнулся, но сразу же спрятал улыбку.

— А вдруг не соседнее купе.

— Там увидим,— бодро произнес высокий и громко крикнул:

— Носильщик!

У вокзала уже стоял состав, холодно поблескивая зеркальными стеклами международных вагонов.

Маленький японец в светлом костюме и мягких туфлях гулял по перрону. Иностранки

в пижаме выглянула и скрылась. Проводник проверил билеты:

— Пожалуйте.

Прошли, расположились в двухместном купе. Захлопнув дверь, посмотрели друг на друга и беззвучно рассмеялись.

— Вот его фотография,— промолвил коротыш,— взгляни.

— Это бесполезно,— отмахнулся высокий.— Он едет загримированный. Хорошо, что Семен описал его приметы. Не забудь, он слегка картавит. Этого не загримируешь.

И снова тихо засмеялись.

— Выйдем. Надо знакомиться.

Инженер Драницин ехал в соседнем купе. Эти дни он жил словно в тумане. Все было необычайно, начиная с незнакомой бритой физиономии, кончая тем, что он, Сергей Васильевич Драницин, должен тайно ехать в Москву, что за него борются. От всего этого было и горько и, временами, как-то радостно. Вместе с ним ехал агент. Это был милейший человек. Он был в курсе всех дел и под вечер, разговорившись, не удержался и упрекнул Драницина.

— Экий вы индивидуалист, не пожелали идти в лабораторию. Вот видите, каша какая заварилась.

Инженер смущенно молчал.

Когда поезд отошел от Градовска, инженер пошел в вагон-ресторан.

Сел за столик. Неподдалску расположились двое военных: один высокий и в очках, на груди виднелся орден Красного Знамени, другой крепкий коротыш, равнодушно сосавший мундштук толстой папироски.

Инженер взял карту, просмотрел ее и, окликнув официанта, сказал:

— Принесите, пожалуйста, пару котлет с горошком.

Он слегка картавил.

Высокий военный удовлетворенно усмехнулся и уронил еле слышно:

— Он.

Коротыш поднялся, ушел.

ГЛАВА VIII

ПРОИСШЕСТВИЕ НА ПЕРЕГОНЕ ГРАДОВСК—АНДРЕЕВО

В вагоне номер два спят.

Но вот из купе выходит высокий военный, он без фуражки, в подтяжках, на ногах мягкие туфли.

— Скажите, когда мы будем на станции Андреевка,— спрашивает он, заглянув к проводнику.

Проводник вскакивает с койки, достает справочник, ищет станцию. Военный садится на койку и задумчиво пускает клубы дыма.

— Курите,— предлагает он проводнику.

Проводник не отказывается. Он с наслаждением затягивается дорогой папиросой.

— В Андреевке будем через два часа пятьдесят минут,— говорит он.

— Так, так — повторяет военный.— Спасибо, пойду спать. Вы меня, пожалуйста, в Андреевке разбудите. — Он всгает и, шаркая туфлями, уходит.

Странно, почему у проводника кружится голова?

— Неужели заболел,— думает он, делая последнюю затяжку.

Однотонно стучат колеса. Проводник бессмысленно смотрит на фонарь, стоящий на столе. Фонарь качается и плывет, а вслед за ним плывет стена, раскачивается потолок. Он хочет встать и не может, руки и ноги не слушаются. В ушах звенит.

Однотонно стучат колеса.

Проводник тяжело валится на койку и засыпает глубоким нездоровым сном.

Приоткрывается дверь, высокий человек подкрадывается к койке, склоняется над спящим, окликает его. Проводник не слышит. Человек улыбается и шепчет: «Готов».

А в купе номер три коренастый коротыш, засучив рукава, с осторожностью, которую трудно предположить в этом человеке, занимается странным делом.

Небольшое сверло бесшумно сверлит стенку купе.

— Готово?— спрашивает высокий военный, закрывая за собой дверь.

Коротыш утвердительно кивает и достает из открытого чемодана небольшой баллон с резиновой трубкой. Трубка вставляется в отверстие. Открывается маленький эбонитовый кран. В купе слышен сладковатый запах хлороформа.

— Вставляй глубже,— шепчет высокий.

Через минуту баллон пуст.

Высокий небольшим сверлом дырявит стену. Один, два, десять отверстий. Каждое затыкается маленькой пробкой.

— Можно начинать,— шепчет коротыш.

— Через час десять минут — Андреевка,— отвечает высокий, глядя на часы.— Надо топиться.

Маленькая пилка беззвучно режет стенку купе, соединяя чуть заметные отверстия сплошной линией. Зажав носы платками оба

тяжело наваливаются на стенку, она скрипит и, качнувшись, с легким треском падает. Высокий военный пролезает в соседнее купе. На верхней койке, широко раскинув руки, лежит агент, а внизу, укрывшись с головой одеялом, тяжелым нездоровым сном спит Драницин. Коротыш открывает окно. Приторный запах хлороформа уплывает на улицу. Высокий военный достает из кармана две веревки. Быстро связывает агента. А коротыш тем временем обыскивает чемоданы.

— Есть,— шепчет он.— вот она.

Оба смотрят на небольшой стандартный чемодан. Под ручкой металлическая пластинка с надписью СВД, а внутри на темной обивке, тускло поблескивая медью и никелем деталей, лежит странной конструкции аппарат.

— Это она,— торжествующе роняет высокий.

А коротыш, скользнув взглядом по дивану, видит, что в углу лежат карманные часы. Осторожно оглядываясь на высокого, он быстро берет их.

В это время высокий оборачивается.

— Ты что,— приглушенно говорит он.— Опять за старое. Разве не помнишь условие— ничего не брать, кроме чемодана.

— Да я...— растерянно говорит коротыш.

Высокий резко ударяет по руке своего компаньона. Часы падают.

— Так-то лучше,— говорит высокий,— собирайся. Осталось двадцать минут.— Коротыш, виновато улыбаясь, закрывает чемодан, обвязывает его ремнем. Ни он, ни высокий не заметили, что часы упали внутрь чемодана.

Поезд шел медленно. Был подъем.

Высокий наклонился к окну и, не открывая занавески, в щелку вглядывался в ночную тьму. Казалось, он чего-то ждал, к чему-то прислушивался. Вдали неожиданно мелькнули две огненные точки и погасли.

— Здесь,— прошептал высокий.— Слушай. Оба прильнули к занавескам.

Где-то впереди раздался глухой взрыв.

— Петарды,— вздрогнул машинист и рука повернула рычаг тормоза. Состав качнулся. Паровоз еще тащился по инерции. С каждым оборотом все медленнее вертелись колеса.

— Вот чертовы дети,— выругался машинист, прыгивая на землю,— сигналы выставляют и путают. Видно, путь перебирали.

Ночь была темная.

— Ничего не пойму,— зябко поеживаясь ствечал помощник.— Пойду посмотрю. А это, верно, с вечера забыли. Работали и оставили. Тронемся полегоныку, а там увидим.

Поезд медленно пошел вперед. Дорога была исправна. За поворотом вдали зеленым глазком вздрагивал семафор и светились редкие огоньки далекой станции.

А через кустарник, в сторону от полотна пробирались двое. У человека ныла рука. Он неловко повернул ее, спуская в окно инженера. И теперь тупая боль ломила предплечье. За плечами неподвижно лежал инженер. Идти было тяжело. Рядом, размахивая чемоданом, бежал коротыш. В стороне приглушенно прогудела автомобильная сирена и совсем недалеко вспыхнули и погасли лучи фонарей.

— Здесь,— облегченно вздохнул высокий.

Вышли на проселочную дорогу. Коротыш пронзительно свистнул. Навстречу выскочил человек в кожаном пальто и шлеме.

— Жду.

Помог дотащить инженера. Хлопнула дверца, и автомобиль, подпрыгивая на ухабах, быстро понесся по дороге.

Машина шла хорошо.

Бессонная ночь и волнение сделали свое дело, коротыш незаметно задремал. В утомленном сознании тяжело возникали и вновь проходили путанные обрывки пережитого.

Начальник станции, размахивая сверлом, кричал что-то кассиру. Человек в противогазе сидел за столиком в вагоне и ему вместо котлеты официант подавал часы, точно такие же, как у инженера. Глухо рвались петарды и кто-то одностонно кричал: «держи его, держи его».

Машина шла хорошо. Сильный толчок заставил его проснуться. Он огляделся. Сбоку недвижно лежал инженер. Дверцы открылись и жалобно постанывали.

Начинало светать. Коротыш хотел нащупать чемодан. Рука его скользнула по шероховатой коже сиденья. Чемодана не было.

— Федор,— крикнул он, стуча в стенку,— Федор.

Шофер остановил машину.

— Федор, чемодан исчез.

Высокий зло сверкнул глазами.

— Вы круглый идиот,— крикнул он, выскакивая на подножку.

— Понимаешь, вздремнул, открылась дверца и, очевидно, выпал.

— Жаль, что не вы, а чемодан вылетел,— процедил высокий.

— Может быть, вернуться.— посоветовал коротыш.

Над лесом тяжело тащился рассвет.

— Чтобы нас поймали. Покорно благодарю. Мне голова дороже.— Он помолчал и резко добавил.— Едем. Только я сяду сюда,—

и высокий бесцеремонно вытолкнул на подножку толстяка.

Автомобиль понесся дальше.

— Человек важнее модели,— сентенциозно пробурчал высокий, усаживаясь поудобней.

В эту ночь путевой сторож Николай Сидорович Фукин возвращался с именин брата. В голове весело шумело. В небе качались звезды, и лес по бокам проселочной дороги гудел как-то по-особому — понимающе.

— Я и говорю ему: кака така колхозная жизнь,— философствовал Николай Сидорович, нетвердо шагая по луже.— Нет, ты мне мозги не верти, ты прямо рассказывай — в чем есть коллектив. Скажем, к примеру...

В это время мимо, оглушительно фыркая, пронесся автомобиль.

— Эки дела,— испуганно отшатнулся отрезвевший на миг сторож.— Машина в такую пору...

Постоял, подумал, пошел.

— Вот, к примеру, машину взять,— продолжал он успокаиваясь.— О ней тоже надо понятие иметь. Хитрая штука; скажем, винтик самый, что ни на есть махонький, а она без него — стоп. Вот я и говорю, ежели, говорю, заведется в колхозе какая ни на есть гнида, так коли се не вытравишь — стоп колхоз. Или человека взять. Что есть человек?

Сторожу стало грустно. Почему-то хотелось плакать. А лес понимающе шумел. У-у-у-у. Николай Сидорович всхлипнул, хотел что-то сказать, но запылся и полетел в грязь.

— Не везет,— говорил он, сидя в грязи,— я ж говорю, что не везет.— И вдруг руки его уперлись во что-то гладкое. Сторож обшарил предмет руками.

— Да, никак, чемодан.

Он снова отрезвел и, взяв чемодан за ручку, почти бодро направился к дому.

Над лесом тяжело тащился рассвет.

Шли дни и недели. Волновались люди, выстукивали аппараты Морзе, приглушенно звонил телефон. Люди читали телеграфные распоряжения, давали указания.

Неслись поезда, увозя пакеты с сургучными печатями и надписями «совершенно секретно».

Всхлипывала в своей квартире Женья, не зная куда пропал муж, и часто думала о фасоне нового траурного платья — гладкое или нет?

Пряча в карман телеграмму «Проводили Ваню. Ждем», человек с лицом, словно из фарфора, улыбался довольным.

Девушка с каштановыми волосами спрашивала, приходя поздно вечером домой: «Есть ли письма из Энка», — и неизменно получала в ответ: «Нет, не приносили». Тогда она недоумевающе по-детски морщила лоб и ей было грустно.

Сторож Николай Сидорович Фукин каждый день пропускал поезда, и ветер задорно играл зеленым флажком.

Люди волновались, терялись в догадках. Но инженера Драницина не было. Он стал именем, шифром, содержанием бумаг, телеграмм, разговоров.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОГОНЯ ЗА МОДЕЛЬЮ

ГЛАВА I

СЛУЧАЙ НА ТРАНСПОРТЕ

На станции Энка оживление. По перрону ошалело бегут пассажиры. Мелькают неуклюжие чемоданы, серые мешки, желтые деревянные баулы.

Дежурный, проходя по перрону, выкрикивает:

— Поезд номер семьдесят восемь, стоянка двадцать минут.

— Ах ты господи, только бы успеть,— бормочет женщина в сбившемся набок платке. В руках у нее по чемодану, а на спине висит туго набитый холщовый мешок.

Следом за ней, сгибаясь под тяжестью багажа, идут еще две женщины помоложе. В зубах у них билеты.

Проводник, ленивым взглядом окинув багаж, говорит:

— Не пущу. Вещей больно много. В багаж надо сдавать.

Женщина постарше обалдело смотрит на проводника.

— Да рази так можно, да много ли вещей-то у нас,— говорит она захлебываясь и обращаясь то к проводнику, то к спутницам.

— Подумаешь, каки таки вещи, так, видимость одна,— вторят ей товарки.

Проводник взглядывает искоса и, сплюнув, цедит сквозь зубы:

— Деревенщина.

— Да чего вы стоите-то?— остервенело кричит та, что постарше:

— Чего на него смотрите-то? Лезь.

Женщины хватают багаж и бестолково лезут в вагон, но проводник быстро захлопывает дверь.

— Но-но, не лезь, это вам не постоянный двор.

Все трое растерянно смотрят на вагон и на груду багажа.

А дежурный выкрикивает.

— Поезд номер семьдесят восемь, отправлен через пять минут.

Над фронтоном вокзала висит белый круг циферблата. Стрелки показывают без пяти восемь.

Женщина постарше подходит к проводнику и что-то шепчет ему на ухо.

Проводник слушает рассеянно. Наконец машет рукой и роняет:

— Ну ладно уж, лезьте.

Он отходит в сторону и, пряча в карман пятирублевку, бормочет, презрительно выпятив губу.

— Эх, бескультурность наша.

Пассажиры бестолково лезут в вагон. Через минуту ударяет колокол, раздастся пронзительный свисток и поезд медленно отходит. Женщины раскладывают багаж.

— Откуда вы, тетя, едете?— осведомляется пожилой мужчина, макая сахар в чай.

— А из Тулы.

— А зачем в Тулу ездили?

Тетя Паша, так зовут женщину постарше, тщательно рассовывает вещи по углам.

— Да вот детишкам кой-чего из одесjonки прикупить надо было. Ну и поехали.

— А много, должно быть, у вас детишек,— раздается сверху хриловатый голос.

Тетя Паша испуганно озирается. С верхней полки свешивается всклокоченная голова и искоса смотрит на открытый чемодан, в котором лежит нара новеньких с иголочки костюмов, а под ним рядами уложены груши.

Тетя Паша торопливо захлопывает крышку чемодана и толкает чемодан под полку. А он, как назло, не лезет.

Пассажир, не дождавшись ответа, вытягивается на полке.

Он лежит, не слезая, второй день. Вчера ночью у него украли чемодан и деньги и теперь он почти ничего не ест и целый день валяется, подложив под голову старую помятую кепку.

Тетя Паша, кое-как растолкав вещи, сооружает из остатков некое подобие постели и, закрыв лицо грязной тряпкой, ложится отдохнуть.

Вечером женщины достали из мешка черствый, очевидно, еще домашний, хлеб и сели пить чай.

— Послушайте,— свесился с верхней полки пассажир.— Это же черт знает что такое. У вас из корзины какая-то гадость течет и прямо мне на подушку,— и он возмущенно машет кепкой.

Тетя Паша поджимает губы и, аккуратно положив на блюдце огрызок сахара, лезет наверх.

— Сливы, видать, потекли,— шепчет она, доставая корзину, аккуратно обшитую синей холстиной.

— Детишкам возем,— виновато говорит она пассажиру.

Тот сердито хмыкает и, ворча что-то под нос, преворачивается на другой бок, и долго слышит он сквозь сон, как старуха соседка наставительно говорит тете Паше:

— Она слива ягода нежная. Она покой любит. Ты ее, дсвонька, перебори и которая помягче — на пирог отложь.

Поздно вечером в вагоне начались разговоры. Одуревшие от скуки пассажиры рассказывали неслучайные истории о кражах и убийствах, дслились сведениями о том, где, что и сколько стоит.

Не принимал участие в разговоре только хмурый пассажир. Ему хотелось есть, но наконец и он слез с полки и сел против тети Паши.

— У меня тоже, знаете, случай был,— неожиданно обратился он к пожилому мужчине, взглядывая искоса на тетю Пашу. Ехали мы в передний путь, села к нам в вагон женщина одна. Вещей у нее не пересчитаешь. Ну, вроде, как у вас,— вскользь обратился он к тете Паше.

— Ну, едем день, другой, все чинно-благородно. И вдруг, представьте себе, приходит старший, усатый такой, вид строгий и говорит так внушительно. Вы, говорит, гражданка, ничто иное как спекулянтка и я, говорит, должен вас оштрафовать.

— И оштрафовал?— раздается испуганный голос женщины помоложе.

Тетя Паша поджимает тонкие губы и сердито взглядывает на соседку.

— В лучшем случае,— сказал он таким тоном, точно сообщил новость какую приятную новость.

— Перевесили, знаете, у этой гражданки вещи, и оказалось у ней излишка шестьдесят килограмм и три четверти. Так за каждое кило с нее по пять рублей сорок копеек взяли.

Тетя Паша бледнеет.

— Это, значит, больше трех сотен потянуло,— задумчиво говорит пожилой пассажир.

— Бывает, вот, знаете...

Разговор идет по новому руслу. Рассказы о штрафах и задержаниях так и цепляются один за другим.

— А так им и надо,— сердито говорит хмурый пассажир.— Мне, знаете, их ничуть не жаль.

Пауза.

— Уф, пить что-то хочется,— говорит пассажир.— Позвольте у вас стаканчиком чаю попользоваться,— обращается он к тете Паше.

Та пододвигает к нему чайник и, перекинувшись взглядом с соседкой, нехотя предлагает пассажиру хлеб и помидор.

— Не откажусь,— весело похохатывает пассажир,— не откажусь. Помидоры я уважаю. Очень, знаете ли, полезный плод,— и он ловко берет самый крупный помидор, другой, третий. Хвалит помидоры и поругивает хлеб. Наевшись, пассажир лезет наверх и сладко засыпает.

Поздно вечером, когда все уснули, тетя Паша с двумя женщинами выходит на площадку, и они о чем-то долго шепчутся.

— Шпиен это, не иначе как шпиен.

Назавтра в двенадцать часов должна быть станция Луки. Замечательна она дешевым репчатым луком.

Тетя Паша рано утром, отобрав в мешок десятков пять яблок, опасливо поглядывая на подозрительного пассажира, на цыпочках идет из вагона.

— Ежели взять по гривеничку за яблоко,— шепчет она,— это десять целковых, вязок восемь, а то и десять куплю.

Поезд медленно подходит к Энску — это последняя крупная станция перед Луками.

Тетя Паша бежит к лоткам и становится в ряд с торговками.

— Вот яблок, кому яблок,— выкликают она.

— Продажей занялись,— раздается знакомый голос. Руки у тети Паши деревенеют. Перед ней знакомая щуплая фигура и кудлатая голова пассажира.

— А хорошие у вас яблоки,— говорит он и выбирает самое крупное.

— Что стоит?

— Двадцать копеек,— бормочет тетя Паша.

— А ведь недорого,— говорит пассажир и спокойно подносит яблоко ко рту.— Ну торгуйте, торгуйте, мешать не буду. Только осторожней, не попадитесь,— и он отходит прочь.

Тетя Паша бежит в вагон и опять трое стоят на площадке и шепчутся.

— Шпиен. Осторожней с ним быть надо. Улещивать надо, авось не стукнет.

В полдень тетя Паша, уловив время, когда пассажир куда-то вышел, собрала обедать. Но только что сели, как кудлатый заявился.

— С главным беседовал. Знакомым оказался. Ну, того-сего, чайку попили. Он, знаете, все интересуется кто и зачем едет. Очень любопытный мужчина, и вообще интересовался...

Пассажир сел около тети Паши.

— Ну как, яблочки продали? А я, знаете, вашим фруктом аппетит только себе раздразнил.

Тетя Паша, скрепя сердце, подносит пассажиру кусок сала.

— Кушайте.

— Не откажусь, не откажусь,— весело проговорил пассажир и, отрезав полкуса, с аппетитом зачавкал.

— Хорошее сало. И много везете?

— Какое там много.

— Так, для детишек?— подмигнул пассажир.

У тети Паши что-то оборвалось в животе, она побледнела, но, не подав вида, молча налила стакан чаю.

Вечером на площадке совещание.

— Донесет, вот те крест, донесет. Измает, обьет, а под конец стукнет.

— Они, говорят, проценты получают,— приглушенно шепчет женщина помоложе.— Ведь ежели вешать начнут, так у нас, поди, пудов двадцать с лишним. И что делать будем?

— А то и будем. Видели, сегодня старичок сел. Вещичек-то у него чемоданчик да подушка. Вот мы его и попросим, дескать, пусть часть вещей на себя примет, а для вероятности корзинки две-три ему на полку поставим,— поучала тетя Паша.

— А ты, Груша, со своим соседом потолкуй. Свет-то не без добрых людей. Ежели с контролем пойдут — все в порядке.

Вернулись в вагон.

Путевой сторож Никита Сидорович Фукин ехал в отпуск к дочери. Было до нее пути шесть суток да обратно шесть, отпуску же полагалось четырнадцать суток, но он все же поехал и повез гостинец. Когда тетя Паша с товарками зашли в вагон, все уже спали, только Никита Сидорович тщетно пытался размочить в воде сухарь.

— Эк его засушили,— бормотал он.

— Может, дедушка, кипятку возьмешь,— политично начала тетя Паша, подсев к старику.

— Если есть, не откажусь. С утра чаю не видал. А с воды-то какой толк. Так, прохлада одна.

Тетя Паша быстро соорудила чай. Выбрала из корзины пять помятых слив и пригласила старика.

Никита Сидорович размяк и поздно ночью они вдвоем с тетей Пашей кряхтя перетащили две корзины и баул под лавку старика, а его чемоданчик заложили на самую верхнюю полку.

Наутро подозрительный пассажир, как и следовало ожидать, присоединился к тете Паше и начал разговор насчет чая, но она сухо отодвинула чайник и, ни слова не ответив, продолжала дуть в блюдце и аккуратно откусывать сахар.

Пассажир покружился, помычал что-то себе под нос и, взяв шанку, произнес как-то в сторону:

— К старшему пойду, поговорить надо.

Но слова его желаемого впечатления не произвели. Тетя Паша молчала и слышно было только, как похрустывал сахар да цокало блюдце. Пассажир бегло оглядел лавку. Багажа было мало.

— Рассовала уж,— злобно подумал он и, швырнув на полку кепку, полез спать.

В Горохов прибыли ночью.

За час до прибытия на площадке, как обычно, держали совет.

— Вылезать надо осторожно,— говорила тетя Паша.— С проводником я сговорила, он нам эту дверь откроет. Выходим, значит, трое. Я у вещей стоять буду, а вы таскать. Поезд-то только три минуты стоит.

Пока шло это совещание, подозрительный пассажир подлез под лавку спавшего Никиты Сидоровича, вытащил оттуда объемистый чемодан тети Паши, положил его наверх, и вместо него подсунул под лавку затрепанный чемоданчик старика. Когда он вынимал чемодан, то из-под плохо закрытой крышки выпала маленькая записная книжка в коричневой обложке с золотым тиснением. Пассажир торопливо сунул ее в карман пиджака.

В вагоне спали.

Прибыли в Горохов. Тетя Паша стояла на перроне и распоряжалась:

— Одно, два, шесть, восемь, десять, двадцать,— считала она узлы и чемоданы.

— Кажись, все,— охнула женщина помоложе, опуская на асфальт узел и баул.

Поезд дал два звонка.

— Ах ты, батюшки, а у старика-то под лавкой,— заахала тетя Паша

— Сейчас,— откликнулась та, что помоложе и шукой нырнула в вагон

Через минуту она показала в дверях. Поезд уже тронулся и медленно шел, набирая ход.

За нее цеплялся Никита Сидорович.

— Машину украли,— кричал он,— машину.

— Отстань, старый хрыч,— кричала женщина, отталкивая старика.— Свое берем,— и она легко прыгнула на перрон.

— Взяла,— торжествующе проговорила она, ставя вещи около тети Паши.

— А чемодан где?

— Вот он.

— Дура ты полосатая,— завизжала тетя Паша,— смотрела-то ты чем. глаза-то у тебя где были. Вместо чемодана с костюмами да с отборными грушами чужое дерьмо притащила. Ах ты господи, господи, мать владычица, и попутала меня нелегкая связаться с этими дурами,— причитала она.— Тыща рублей из кармана вол.— Около лежал обтрепанный стандартный чемоданчик. Под ручкой тускло поблескивала металлическая пластинка с буквами СВД.

— Обокрали,— кричал Никита Сидорович,— дотла обокрали, до ниточки. Машину украли и часы.

— Какую машину?— спросил кудлатый пассажир.

— Таковую со стеклышками. Гостинец вез. Зять-то у меня механик.

— А ты, дед, не огорчайся. Конечно, часы жаль, а ведь только она печально. Видишь, вместо своего твой взяла. Вроде как бы обменялись.

Никита Сидорович бессмысленно пучил глаза и непонимающе глядел на пассажира.

В вагоне спали.

Пассажир ловко влез наверх, побрякивая снял тяжелый чемодан.

— Это, брат, лучше твоего гостинца будет,— бормотал он, умело открывая крышку.

Наверху лежала пара новых с иголки костюмов, а под ними плотно в ряд были уложены отборные груши.

— Так-то, дед, один тебе, другой мне, вроде как бы за услугу. А теперь полакоимся,— и он протянул старику грушу.

Никита Сидорович успокоился.

— Действительно,— пробормотал он, надкусывая грушу и поглаживая костюм,— это гостинец.

Поезд шел, напевая свою однотонную песню, мимо неслись телеграфные столбы. Гудели провода. Быть может, по ним опять проносилось имя Драницина.

Где-то люди ломали головы, отыскивая малейший след, а старик сторож, ставший на время обладателем ценнейшего изобретения, радовался, что случай дал ему взамен костюм и сотню груш.

Спекулянтка охала и с ненавистью смотрела на небольшую чемодан, за который любое правительство дало бы сотни тысяч рублей.

История с изобретением инженера Драницина вступила в новую фазу.

ГЛАВА II

О ГОРОДЕ ГОРОХОВЕ И ПОСЛЕДУЮЩИХ СОБЫТИЯХ

О таких городах обычно говорят:

— Патриархальный городок, знаете. Много еще в нем старого осталось.

И действительно. Если выйдете вы в летний день с вокзала и поглядите на широкие улицы с маленькими домиками, на тротуары досчатые, на скамейки у ворот — невольно скажете: «Эх, провинция, провинция-матушка». И захочется вам зевнуть сладко-сладко.

А домики в ставнях, заборчиках, калиточках, палисадничках и около куры пьют, и петух, встав на одну ногу, озирается, гребнем потряхивает, да как кукарекает — и виснет тихой крик в знойной тишине. Протарахтит изредка телега или ветерок налетит, про шумит черемухой, тронет белую занавеску да герань на окне колыхнет, и опять тишина.

Подальше базарная площадь. Сбоку собор кафедральный пасулся, словно старческий согнутый перст грозит кому-то обветшалым крестом колокольня. Торговые ряды, извозничья биржа да бывшие присутственные места, а теперь на них вывески: Горсовет, Гормилиция. Кое-где неожиданно вырастет перед вами огромное каменное здание. И до того оно смотрит странно, что не по себе становится.

— Это новой постройки дома, — говорят обыватели.

В энциклопедическом словаре на букву «Г» могли бы вы о Горохове прочесть несколько строк: «Горохов основан в пятнадцатом году легендарным разбойником Иваном Петле. В городе процветает огородничество и кустарное ремесло, как-то: щепной промысел, горшечный и сапожный. Кроме того, обыватели города славятся умением вить веревки. Единойжды в году бывает Макарьевская яр-

марка, на кою съезжаются окрестные селения. Стоит на судоходной реке Шарьге».

Теперь не то. С окраин напирают корпуса. Весело звенят лесопилки. Тяжело гудит огромная мельница. Вытягивает каменный хобот элеватор. А все-таки в быту старого много.

Гражданская война прошла. Над городом снаряды рвались. На соборе крест покарябал. В годы разрухи мрачнел город. Отсиживались обыватели по домам, опивались морковным чаем, прятали в печи и в подполье свечи да сарпинку.

А потом жизнь и в норму как будто вошла и все по-прежнему, все шиворот навыворот, все не так, как в старину было. Но быт ворочался тяжело. Правда, молодежь брыкалась, да не вся, и жили люди по старинке. В субботу баня, в воскресный день семечки на скамеечке у ворот. На них старики сидят, кости греют на солнышке, да бабы судачат промеж собой о своих женских делах. А в будние дни занятия разные, так чтобы без утомления: в обед щи постные или мясные, потом сон до вечера, а вечером самоварчик, грузочки с водочкой да преферанс по маленькой. Для тех, кто помоложе, кино да чахлый сад возле базарной площади.

В общем, жили-были...

А все-таки треснул где-то быт, и старики недаром охали да молодежь поругивали. Ну да ничего, на их стариковский век хватит.

Прощетали издавна в городе науки. Музей был. Пахло в нем нафталином и двигались промеж витрин старички хранители и разбирать было нельзя от кого пахнет: от старомодных ли сюртуков или от чучела хорька, бессмысленно глядевшего на обливавшуюся терку.

Особенно интересовались в Горохове археологией. Город был древний и повелось так, что каждый человек до науки охочий непременно в городской истории копался.

Парикмахер местный Ягуарий Сидорович Фечкин, он же Перманент (фамилию переменял в 1924 году по причине неблагозвучности) откопал в 1910 году каменную бабу. О ней спор шел и до сих пор не затих. Известный краевед Чубуков следы древнего побища неизвестных народов нашел: бронзовый нож, топорик и собачий череп. Правда, учителя кухарка Аграфена уверяла, что бронзовый нож сын учителя Колька у отца со стола стащил и где-то потерял, но мало ли людей невежественных и темных, для которых наука вроде бельма на глазу.

Молодежь в Горохове большое пристрастие к стихам имела. Как войдет юноша или

девица в возраст, так и начнут взапуски. Он ей, она ему и все в стихах, все в стихах. Очень складно получалось. Родители, когда гости соберутся, обязательно сына или дочь позовут и скажут:

— Дашенька или Боренька, прочтите нам последнее произведение своего творчества.

А те поломаются немного и прочтут, нежно так, с придыханием. Гости поахают, поудивляются—и им приятно и детям лестно. Печататься, правда, было негде. Газета выходила редко да и редактор от стихов местных талантов носом крутил.

Только однажды, в день серебряной свадьбы супругов Утюкиных удалось гражданину Утюкину уговорить знакомого наборщика и тот сто экземпляров пригласительных билетов напечатал, а на билете стихи племянницы налогового инспектора Машеньки Безропотных помещены были.

Так это же событие целое! На Машеньку на улице пальцем показывали. А стихи действительно были выразительные.

Вот двадцать пять тому уж лет
Давши верности обет
Шли мы длительное время
Неся сей дольней жизни бремя
Теперь судьбу благодаря
Наша скромная семья
С чувством истинной отрады
Среди вас мы вспомнить рады
И как желанных нам гостей
Вас просить на юбилей

Было это в 1923. Теперь в год 1926 многое по-иному, даже в стихах какая-то трещина появилась. Так же Машенька Безропотных, девица уж на возрасте, недавно на вечеринке у Хвалатовых всех поразила. Прочитала она стихотворение, которое начиналось так:

Индустриальная свирель
Поет в сердцах сталепрокатных
А на полях сельхозартель
Стирает гнет проклятых пятна.

На окраине этого города и проживала наша знакомая тетя Паша. Жили они с мужем в небольшом домике, но с прирубом. Прируб в наем сдавали, а сами с парой ребят занимали две комнаты с кухней.

Муж тети Паши служил на железнодорожном телеграфе. Человек он был смирный, жене никогда ни в чем не прекословил и всегда со всем соглашался.

Но была у него одна странность. Больше всего на свете боялся он облысеть и часто, особенно по выходным дням, когда жена уходила на барахолку, Федор Кузьмич по часу, а то и более сидел перед кривым зеркалом, ловил в другое зеркальце отражение макуш-

ки и уныло смотрел, щупал голову, расчесывал волосы, а потом, недовольно крикнув, шел к соседу в прируб и начинал обычный разговор:

— В прежнее-то время каких только средств не было. Перуин там Пето, кремы разные, душистые мази. Возьмешь, бывало, «Родину» и там нарисован мужчина, усы у него и борода, что конский хвост, и все от мази, а теперь...

— И-да,— сочувственно вздыхал сосед, подшивая катанок.— Наладить, значит, фабрики такие не могут. Это вам не трактор какой-нибудь сделать, здесь секрет знать надо. Волос надо понимать. Волос он капризный, ему чуть что не так, он и пойдет лезть. А вы бы, Федор Кузьмич, керосином мазали, говорят, помогает в отношении волос.

— Пробовал, Лука Иванович, все пробовал. И керосином мазал. Правда, как будто помогает, но опять же наволочки, и, извините за выражение, дух нехороший. Воняет. Жена мне прямо сказала. У меня, говорит, белье еще приданое и я, говорит, его керосинить не намерена. И ежели, говорит, будешь голову мазать, спи на сеновале, мне, говорит, керосин в кухне надоел. А спорить с ней, сами знаете,—я человек слабый.

— Ну это что и говорить. Павла Андреевна человек очень серьезный. Одно слово — кремь.

— Кремь, — уныло соглашался Федор Кузьмич.

В этот раз тетя Паша вернулась из очередной поездки озлобленной. Утрата чемодана расстроила ее, хотела она было заявить, да побоялась. Зайдя в дом, она сухо поцеловала мужа и ребят и тотчас же начала, как говорил муж, «придираться».

— Опять ухват сломан.

— Кешка, у тебя сапог порван. Второй месяц носишь, а уж дыра. Не напасешься на вас.

— А ты что глаза выпялил. Это тебе не почта, а дом. Жена ездит, жена мучается, а он, поди, тут со своими дамочками-почтамочками амуры разводит.

Федор Кузьмич бестолково суетился около самовара.

Тетя Па́ша, выбрав самые что ни на есть помятые сливы и почерневшие яблоки, поставила их на стол. Молча сели и начали пить чай.

— А у Федосьи Дормидоновны тетка нынче померла,— начал было Федор Кузьмич и робко взглянул на жену.

— Туда ей и дорога. А тебе какое дело, ведь не ты помер, а Фенькина тетка,— грубо оборвала тетя Паша.

Федор Кузьмич вздохнул и замолчал.

Напившись чаю, тетя Паша подобрела. Вскоре завязался разговор. Ребятам уложили, начали распаковывать вещи.

В первую очередь взялись за чемодан Никиты Сидоровича.

— Штаны там, поди, старые,— пробурчала тетя Паша, сообщив мужу о происшедшем.

Федор Кузьмич возился с замком. Наконец внутри что-то щелкнуло, и язычок замка прыгнул вверх.

Осторожно приподнял крышку.

На темной обивке, поблескивая медью и никелем деталей, лежал неведомый аппарат.

— Тыфу,— выругалась тетя Паша. В это время в спальне раздался визг, Кешка, укладываясь спать, разорвался с Маруськой и тетя Паша побежала разнимать ребят.

Федор Кузьмич как зачарованный смотрел на аппарат. Технику он обожал.

— Умственное дело,— пробормотал он.

Взор его упал на небольшой кармашек, сделанный сбоку. Он засунул туда руку и вытащил часы; на крышке вороненой стали отчетливо виднелись три буквы СВД.

Воровато оглянувшись, Федор Кузьмич быстро спрятал часы в карман брюк.

— Пока не видела. Авось пригодятся, в случае чего — скажу нашел.

Тетя Паша, надавав ребятам подзатыльников, вернулась в комнату, вытащила старую затрепанную тетрадку и погрузилась в её одной ведомые расчеты.

Федор Кузьмич вышел в сени, нашел укромное место за курятником и, спрятав часы «до поры до времени», осторожно на цыпочках прошел в спальню.

Прошло несколько дней. Тетя Паша примиралась с утратой костюмов и груш. Она успешно расторгнула привезенные фрукты и по вечерам довольная подсчитывала барыши, угощаясь спитым чаем и пирожками из подгнивших слив.

Чемоданчик с моделью она забросила на чердак, чтобы он не напоминал о неприятном происшествии.

В один из дней, когда тетя Паша отправилась на базар доторговывать, а Федор Кузьмич ушел на работу, десятилетний Кешка, отыскивая на чердаке свинец для наливки, наткнулся на чемодан. Его разобрало любопытство. Он поковырял ножом в замке.

Крышка открылась. Кешка ахнул. Перед ним, тускло поблескивая никелем и медью деталей, лежала непонятная машина.

Кешка осторожно потрогал рычаг, сбегал в сени и посмотрел, закрыта ли дверь. Потом он стащил чемодан в комнату. Особенное внимание его привлекла целая система зеркал и большое увеличительное стекло.

Совсем как в школе, подумал он, вспомнив уроки по естеству. Кешка долго возился около модели, что-то соображал, вертел какие-то рычаги и вдруг ахнул. В зеркале совершенно отчетливо виделась полка с посудой, висевшая на стенке в спальне. Кешка даже испугался: как это так — через стену!

Он долго вглядывался. Сомнений не было — вот даже и угол у полки отбит еще в прошлом году, его мать за это высекла. Кешка наклонился ближе к зеркальцу и повернул какой-то рычаг. Зеркало мгновенно помутнело и одновременно в соседней комнате раздался страшный треск и жалобный звон разбитой посуды. Кешка вздрогнул и побежал в спальню.

Глазам его представилось страшное зрелище. Нижняя часть полки лежала на полу, словно кто-то ее отрезал, и около валялись куски разбитой посуды.

— Ох и попадет же мне,— Кешка наморщил было лоб, собираясь разреветься, но раздумал и, тряхнув вихрами, пробормотал:

— Эх, была не была. Главное — ничего не говорить, что и почему.

Он смутно догадывался, что во всем виновата странная машина и, вернувшись в кухню, быстро захлопнул крышку чемодана и сел на пол.

В его маленькой голове сумбурно неслась мысль, он чувствовал, что стал участником какой-то большой, ему неизвестной тайны.

— Надо Кольке рассказать,— решил он.

Накинув шапочку, он запер дверь и, захватив чемодан, задами, чтобы не увидели соседи, побежал к Кольке.

— А ты чего по чужим огородам лазишь,— раздался голос. Кешка оглянулся. Перед ним стоял парнишка лет четырнадцати, босой с загорелыми руками.

— А тебе какое дело,— в тон ему ответил Кешка, предусмотрительно пятясь к невысокому заборчику.

— Но-но, ты не задавайся,— задорно пробасил парнишка, кривя рот и зажимая в руке камень.— А то как дам.

— А сдачи не хочешь?— вызывающе ответил Кешка.

Парнишка взмахнул рукой, и тяжелый камень грузно шлепнулся в доски забора.

— У, мазуля,— издевательски протянул Кешка.

— Я тебе покажу,— неожиданно рассвирепел парнишка и быстро двинулся к заборчику.

Кешка мигом оглядел поле сражения. Чемоданчик определенно мешал. Необходимо было куда-то его спрятать.

Он быстро перемахнул через забор.

— Хлюзда, трусил. Трус, трус,— донеслось до него и снова тяжелый камень грузно шлепнулся в забор.

— Я те покажу хлюзду,— злобно пробормотал Кешка.

Соседний двор был пуст.

Кешка нашел возле колодца укромное место, положил чемоданчик, нагреб на него сухих листьев и мигом перелез через забор обратно.

— А, так я хлюзда,— и издав дикий крик он бросился на парнишку. Через полчаса в разорванной рубахе, с фонарем под глазом, но вполне удовлетворенный, он смотрел, как парнишка, прихрамывая и хныча, шел восвояси.

— Я те по-о-о-кажу. Я на-а-а-шим ребятам скажу. Они те ребра переломают,— тянул парнишка.

Кешка стер рваным рукавом пот со лба. Сел верхом на заборчик и показал парнишке язык.

Он хотел было прыгнуть во двор за чемоданом. Но во дворе какая-то баба развешивала белье и мужчина в белой рубахе выставил на солнышко рамы.

Взять чемодан было невозможно.

— Ужо завтра возьму,— решил Кешка и отправился домой.

— И что же это за дети,— причитала тетя Паша,— на час дома оставить нельзя. Только и знают, что ломают да крушат.

Кешка нерешительно переступил порог.

Мать схватила его за вихры.

— Ой, ей, ей, маменька, больше не бу-у-у-ду.

ГЛАВА III

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПАССАЖИР

Комната.

Дверь.

Она закрыта.

За дверью — крик.

— Нет, это невыносимо. Когда вы нако-

ней отстанете от меня с вашими мешанскими разговорами.

— Но поймите же, гражданка Бобрикова,— раздается скрипучий голос,— пятый месяц вы не платите за квартиру.

— А хотя бы и шестой.

Дверь с шумом раскрывается и вошедший быстрым движением захлопывает ее перед носом ошалевшего управдома.

Подходит к столу.

Оборачивается.

Да ведь это же наш старый знакомый, тот подозрительный кудлатый пассажир, который в вагоне поезда номер семьдесят восемь напугал тетю Пашу.

Он стоит задумавшись у стола.

Господи, до чего сера и однообразна жизнь. Днем до четырех стеклянная коробка кассы. Ведомости, шуршанье кредиток и неизменные:

— Распишитесь.

— Получите.

А дома вечно ноющая старуха мать. Жакт, нехватки.

Бобриков был человек выбитый, колая жизни шла мимо, а он брел около. Позади маячило обеспеченное детство, дом с табличкой: «Первой гильдии купца, почетного гражданина Данила Игнатьевича Бобрикова». Серая гимназическая курточка...

Жизнь могла быть такой ровной и снокойной и вдруг...

Революция перенутала карты.

Вместо юридического факультета — счетные курсы, вместо адвокатского фрака — спецодежда кассира.

Жизнь не удалась.

У Бобрикова было пылкое воображение. Привычки, вкусы, наклонности, воспитанные с детства, оставшиеся в наследство от буйных кутил отцов и дедов, чьи лица степенно глядели с порыжевших фотографий, не находили выхода. Жизнь положила тесные рамки.

Кончив работу, он часами валялся в постели. Мозг отдыхал, мечта за мечтой плыла в сознании.

И все сводилось к одному. Это одно преследовало всюду, даже во сне. Оно звучало внушительно. Оно глядело солидно. Это слово было — миллион.

«Вот если бы,— так обычно начинал он разговор с самим собой,— допустим, я выиграл миллион».

Как только было произнесено слово «допустим», реальный мир рушился.

Бобриков становился обладателем неслыханных сумм. Он клал их в банк — они при-

носили проценты, он брал их домой и тратил, но миллион не уменьшался.

Мысли шли плавно.

Вот он, Бобриков, покидает Союз.

— Разве здесь жизнь, — презрительно морщится он, пуская клубы дыма. — Так, один обман.

Он едет за границу.

Деньги идут на еду, на костюмы и, конечно, на женщин.

Женщины, одна прекрасней другой, мелькали в воспаленном сознании.

Он покупал их прямо и грубо, как покупают вино или конфеты. И в этой прямоте и грубости было какое-то особое, почти звериное наслаждение. Он мысленно посещал самые роскошные публичные дома. В Африке он заводил себе черных жен. Они были необычны и покорны. Под конец все путалось. Обнаженные, бесстыдные тела качались в мозгу и учащенно билось сердце.

Дальше его фантазия не шла.

Бобриков тяжело вставал с постели, зажигал лампу и подходил к книжной полке. На ней стопочкой лежало шесть романов. Дюма, Марсель Прево, Арцыбашев и приложение к «Родине» «Тайны венценосцев».

Других книг он не признавал.

Так проходила жизнь.

На службе Бобриков был аккуратен и усерден. Он втайне боялся, что его сократят. Ему постоянно казалось, что против него плетутся интриги.

Стоило увидеть, что двое говорили шепотом — в мозгу мелькало: «Это обо мне».

Но служба шла ровно.

Знакомых не было, а друзей тем более. Женщины и влекли и пугали.

— Семья, нужда — бр-р.

Временами охватывала тупая злоба. Мелькало из далекого детства запомнившееся «Дом первой гильдии и почетного...» Тогда хотелось кого-то ударить, и он ненавидел всех: и начальство, сидящее в кабинете и уезжающее с работы в машине, и собрания, на которых люди что-то решали, о чем-то волновались, и всю действительность с ее беспокойной напористостью, и ее вечным напряжением и грубоватой прямоотой.

Тогда он жмурил глаза и почему-то в сознании вставала улица. По ней шли люди, шли они, а он стрелял в них из нагана. Вот падает один, другой, пятый, десятый. И никто не может подойти. Он сильнее всех.

Управдом ушел. Оставшись один, Бобриков опустил в кресло.

— Допустим, — говорил он. И вот уже рушится реальный мир и все возможно. — Допустим, я становлюсь великим тенором. Овации, цветы, деньги. Я еду за границу в Париж.

И снова мысли скользят легко и знакомые образы ласкают сознание. Он воображает, как выйдет на сцену, как будет кланяться. Вот так. Встает, подходит к зеркалу. Шупленькая фигура, в новеньком топорщащемся костюме качается в мутном, засиженном мухами стекле. Фигура кланяется, прижимая руки к сердцу, и улыбается. Точь в точь как второй Карузо — знаменитый тенор Гремешский, дававший концерт в прошлом году.

— Ты, Мишенька, что же это все в новом-то костюме ходишь, — раздается голос.

Он оборачивается, у двери стоит мать.

— Этак и износить можно, — продолжает старуха ноющим голосом. — Старенький надо донашивать.

Мечты обрываются.

— Уйдите, мамаша. Не мешайте, я занят.

— И чем только занят, стоишь перед зеркалом и качаешься. Сходил бы куда-нибудь...

Старуха жует беззубым ртом и снова гнет.

— Я тебе старенький-то пиджачок выутюжила. Совсем глядит как новый.

— О господи, и вы меня не понимаете, — устало машет рукой Бобриков.

Да, Мишенька, намерен в пиджачке я книжечку нашла. Нужна она тебе или нет?

Старуха долго роется в карманах широкой юбки и достает маленькую записную книжку в коричневой обложке с золотым тиснением СВД.

— А-а-а, давай, — вспоминает Бобриков. — и уходи, я займусь. — Старуха вздыхает глубоко и бесшумно исчезает.

Бобриков садится в кресло.

— Совсем забыл о ней, — бормочет он. — Интересно, что за книжечка.

Он открывает ее.

Ломанные мелкие буквы пестрят в глазах. Читает сначала лениво, но вот глаза его загораются, он придвигается к столу. Он весь внимание. Записи коротки. Видно, что их вел деловой занятый человек.

«Август 18. Кончаю делать модель. Что-то получается. Завтра испытаю. Любопытно.

Август 19. Женя сердится опять. Не понимаю. Пробовал модель. Действие изумительное. Береза в саду пополам. Увлечен, переломал в лаборатории почти все стулья. Наконец-то икс лучи открыты.

Август 22. Женя сердится. Опять. Письмо от Тани из Москвы. Тяжело.

Август 27. Странная встреча. Предлагают

продать за границу. Обещают миллион. Отказался. Подлецы. Угрожают.

Август 28. Странная попытка ограбления. Не случайность. Они охотятся за моделью. Что делать? Решил идти к секретарю. Расскажу все.

На этом записки кончились.

Бобриков все еще, как зачарованный, сидит перед столом и гладит книжечку рукой.

Перед ним прошел кусок чьей-то большой жизни. В нем была тайна и где-то маячили миллионы.

Прошло пять, десять минут.

— Ах я болван,— ударил он себя по голове. В памяти мелькнула металлическая пластинка на чемодане с буквами СВД. Они были те же, что и на записной книжке. Вспомнился крик старика: «Машину украли!»

— Ах, дурак я дурак. Ведь там же была она, модель. Что же делать, что делать.

Голова отказывалась соображать. Мозг, привыкший мечтать, строил целую цепь сложнейших ситуаций и все они кончались одним:

— Миллион... Европа, Париж... женщины.

Только к полуночи, утомленный бесцельными мечтами Бобриков мог рассуждать трезво.

То, что в чемодане, подкинута спекулянтке, была модель, в этом он не сомневался. И он отдал ее собственными руками. О-о-о-о... Бобриков даже застонал.

Но что же теперь делать? В руках у него был ключ к дорогостоящей тайне. Несомненно, одно — такого случая упускать нельзя. Миллионы сами плыли в руки. Надо ехать на эту станцию. Как ее? Да, Горохов. Разыскать спекулянтку и во что бы то ни стало достать модель. А потом?

О, потом можно делать все, что я захочу. Я поеду в Москву, я обращусь к любому иностранному послу. Я предложу ему купить модель... — и снова мозг начинал свою привычную работу.

Бобриков видит себя в огромном сумрачном кабинете. Во рту дорогая сигара, по комнате плавают синеватый дым. Он, Бобриков, утонул в мягком, удобном кресле.

— Итак, вы согласны, — рокошет выхоленный седой мужчина в темном костюме. — Все будет устроено, как вы хотите. Выпьем же за успех.

Нет надо ехать, ехать, ехать. Миллионы сами плывут в руки.

— Но как? Нужны деньги, а их нет.

Ежедневно он раздával тысячи, а то и десятки тысяч рублей. Вот завтра предстоит получить двадцать девять тысяч. А что, если... Похолодели виски и ослабели ноги. А вдруг

поймают? Ерунда, не поймают. Надо решиться, иного выхода нет. Миллионы сами плывут в руки.

Бобриков решается.

А в это время старуха мать, стоя на коленях перед образами, молится:

— Дай ему, господи, всяческого счастья, исполнения его желаний, устрой ему жизнь богатую и счастливую. Услышь мя, господи.

Лампада льет ровный тихий свет, а потускневший лик спасителя смотрит понимающе.

ГЛАВА IV

НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ МОДЕЛИ

Фотограф Тихон Петрович Кусачкин-Скворода был хилый слабонервный мужчина лет пятидесяти. Основной чертой его характера была непомерная боязливость. Боялся он буквально всего и пребывал в непрерывном страхе. Все новое возбуждало в нем смутную тревогу. Строили огромный дом, Тихон Петрович шел мимо и неодобрительно думал.

— Нехорошо это... Ни к чему... И без этого бы прожили.

Узнает он о пуске нового завода — ему становится не по себе.

— Без этого жили, а теперь... Ох, не к добру это, не к добру.

А каждый день случалось что-нибудь необычное. То приносили на дом бумагу за казенной печатью, в ней приглашали Тихона Петровича на собрание кустарей-одиночек фотографов на предмет обсуждения вопроса о создании артели «Социалистический фотограф». И хотя Тихон Петрович знал, что объединять его не с кем (он был единственный в городе фотограф), но он мрачнел и, расписываясь дрожащей рукой в получении бумажки, шептал:

— Добираются. Ох, что будет, что будет...

То приходило известие, что усадьба Никоподолова, в которой проживал Тихон Петрович, отходит к какому-то там жакту. В квартиру являлись люди, что-то такое меряли, находили какие-то излишки, бесцеремонно заявляли, что вот эту комнату надо будет сдать новому жильцу, выдавали квитанции. А потом на собрании членов жакта кричали до хрипоты, выбирали правление, тянули Тихона Петровича на должность заведующего культбытотделом.

От всего этого рябило в глазах и мутно билось сердце.

— Не пойму я, ничего не пойму,— говорил Тихон Петрович.— Одно только знаю — добиваются.

Новое, что входило в жизнь городка упорно, изо дня в день, размывало островок понятий и привычек, на котором так мерно, так тихо текла жизнь. И иногда казалось, что все это направлено против него, и что наступит такой день, когда «новое» перестанет действовать обходным путем и возьмется прямо за него, за Тихона Петровича Кусачкина-Сковорода. Вот откроется дверь, придет кто-то и скажет: «А, так это вот и есть Тихон Петрович Кусачкин-Сковорода. А кто он, а что он, а нужен ли он?»

И все это заставляло быть настороже, все это держало его в вечном страхе.

Снимал ли Тихон Петрович красноармейца — руки у него трепетали, голос дребезжал и все казалось, что на карточке выйдет не красноармеец, а черт знает что такое. Вывешивали в городе список лишенцев. Тихон Петрович бледнел, стоя у витрины. Ему казалось, что в числе лишенных прав обязательно должен быть и он. Но когда он убеждался, что в списке его фамилия отсутствует, ему становилось еще тяжелее.

— Значит, ошиблись. Выпустят дополнительно, отдельным листком.— И в глазах вставал огромный лист, на котором было жирно выведено «Тихон Петрович Кусачкин-Сковорода лишенец». Он жмурился и измученный шел домой.

Когда по вечерам Тихон Петрович читал газету и натывался на хронику уголовных преступлений, ужас подступал комок к горлу и ему казалось, что и он тоже соучастник злодеяния.

Супруга Тихона Петровича — Агафья Ефимовна — была рыхлая, белотелая женщина, совершенно равнодушно относящаяся ко всему в мире, кроме еды.

На мужа своего она смотрела с сожалением и в тайне его презирала.

— С придурью он у меня,— жаловалась она соседкам,— с придурью. Никак его маленького маком опонил.

Однажды вечером Тихон Петрович читал центральную газету. Первым делом он отыскал отдел происшествий и зарубежную хронику. Замирая от любопытства и холодея от ужаса, прочел он краткую заметку о том, что в одной из стран в советском полпредстве был обнаружен адский снаряд. Следы вели к крупной белогвардейской организации «Союзу великого дела», решившей стать на путь террористических актов.

Прочитав заметку, Тихон Петрович по своему обыкновению попытался установить: нет ли какой-либо связи между таинственными преступниками из Праги и им, гороховским фотографом. Но даже его мозг, изощренный в подобного рода упражнениях, не мог найти связующих звеньев. Он строил невероятные догадки, но ничего не выходило. И это мучило. В голове досадно ныло.

Промаявшись около получаса Тихон Петрович решил выйти на двор подышать свежим воздухом. На дворе было пусто. Мутными пятнами маячило белье, от тусклого лунного света оно казалось не то зеленым, не то желтым. Где-то надсадно выла собака.

— Не к добру это,— решил Тихон Петрович и побледнел от страха.— Не к добру.

Гуляя по двору Тихон Петрович остановился, ему показалось, что у колодца что-то блесело. Он отошел в сторону. Действительно, в мутном лунном свете блеснул какой-то предмет. Испугавшись до дрожи в коленках, Тихон Петрович на цыпочках подошел к колодцу.

Он обшарил темноту руками и наткнулся на что-то гладкое. Это был небольшой, потертый чемоданчик. Под ручкой тускло поблескивала металлическая пластинка с буквами СВД.

Дико вскрикнув, фотограф прижал чемодан к себе, по-лошадиному выбрасывая ноги, помчался домой.

— Ты что, угорел что-ли,— встретила его жена, спокойно перемывавшая посуду. Но, взглянув на Тихона Петровича, она поняла, что случилось что-то из рук вон выходящее.

— СВД,— бормотал фотограф,— СВД.

— Тыфу,— сплюнула Агафья Ефимовна,— заладила сорока Якова. Что у тебя за чемоданчик?

Тихон Петрович положил чемоданчик и стуча зубами ответил.

— Во дворе на-а-а-шел.

— Во дворе,— недоверчиво протянула супруга,— а ну-ка открою.— Вооружившись ножом она наклонилась к чемодану. Язычок щелкнул и прыгнул вверх.

Внутри на темной обивке, тускло поблескивая никелем и медью деталей, лежал странной формы аппарат.

— А-а,— простонал Тихон Петрович,— адский снаряд.

— Ахти, господи,— ахнула Агафья Ефимовна, чуть ли не в первый раз в жизни теряя равновесие.— Адский.

Тихону Петровичу все стало ясно. Мозг удивительно услужливо связывал факты в одно страшное целое.

— Нет, ты пойми,— вскрикивал он,— ты только пойми.— Тряслась реденькая мочальная борода, вздрагивала нездоровой синевой склеротическая жилка на виске, и костлявый палец прыгал по газетной заметке.

— Ты прочти только — «Союз великого дела». А как сокращенно будет по-советски? — СВД. А здесь что написано? — ткнул он пальцем в металлическую пластинку.

— СВД,— обалдело прошептала Агафья Ефимовна.

— Вот, вот,— почти торжествуя выкрикнул Тихон Петрович,— СВД. Значит, это и есть адский снаряд.

Глаза его блеснули. Нескладная фигура выпрямилась. То, что его вечные страхи наконец оправдались, доставляло какое-то неизъяснимое, странное наслаждение.

Агафья Ефимовна, как подкошенная, опустилась на стул. В первый раз за всю жизнь она испытала подлинный страх.

— Так вот,— все больше и больше входя в роль, ораторствовал Тихон Петрович.— Вот явится к нам ГПУ и спросит: «Вы Тихон Петрович Кусачкин-Сковорода?» — «Я». — «А чем вы занимались до семнадцатого года?» — «Кустарь-одиночка». — «А что вы можете сказать касательно этого аппарата, откуда вы получили его и не есть ли вы член «Союза великого дела?» И пойдут, и пойдут...

— А потом-то что? — одними губами прошептала Агафья Ефимовна.

— А потом известно что — тюрьма, а то и расстрел.

Произнеся последнюю фразу, Тихон Петрович весь как-то осел, словно из него вынули кости и осталась одна мякоть. Все оживление и минутный пыл исчезли. Он отчетливо представил себя сидящим в тюрьме.

Всю ночь проговорили супруги, тяжело ворочаясь в постели.

— Тиша, а Тиша, а ежели его в колодез бросить,— шептала Агафья Ефимовна.

— Найдут,— угрюмо отвечал Тихон Петрович,— первым делом будут в колодезе искать.

— А, может быть, в печь заделать.

— Как же можно, а ежели он там разорвется.

И только когда в щелях ставень закачался мутный рассвет, супруги решили закопать аппарат подальше за городом.

— Завтра ночью,— пробормотал Тихон Петрович.

— Завтра,— сонно ответила Агафья Ефимовна.

До позднего утра снились ей три огромные буквы СВД. Они кривлялись, строили рожи,

высовывали языки, а она бегала за ними с лопатой. Тихон же Петрович сидел верхом на адской машине и почему-то не своим голосом пел «купи ты мне, матушка, красный са-рафан». А рядом толстый военный беспрерывно стрелял из пушки вверх.

Целый день Тихон Петрович ходил, словно опущенный в воду. Работа не ладилась. Он с утра неправильно установил аппарат, смотрел невидящими глазами в фокус и деревянно повторял знакомые слова:

— Смотрите сюда.

— Голову налево.

— Улыбнитесь.

— Спокойно, снимаю.

А вечером, проверяя негативы, он с ужасом заметил, что аппарат был неправильно установлен и потому на фотографии вышли одни туловища без ног и без головы.

Агафья Ефимовна тоже ходила как потерянная, даже есть и то не хотелось. К вечеру небо заволокло тучами.

— Погода благоприятствует,— решил Тихон Петрович и ему стало легче.

За городом, где кончались редкие домики, бесконечными рядами тянулись огороды угорских индивидуалов. Сюда-то поздней ночью и направились супруги Кусачкины.

У Тихона Петровича под пальто был спрятан заступ, Агафья Ефимовна под накидкой несла чемодан.

Город опустел и слепо смотрел бельмами ставень.

В поле на пригорке стояла одинокая береза.

— Здесь,— прошептала Тихон Петрович, опуская заступ.

Вырыв яму аршина в полтора, Тихон Петрович взял модель, увернутую в старую холстину. Бережно положил ее на дно ямы, аккуратно засыпал землю, заложил дерном и облегченно вздохнул.

— Следы скрыты,— пробормотал он.

— Скрыты,— успокоенно проговорила Агафья Ефимовна и, помедля, добавила.

— Пойдем, Тиша, поужинаем, страсть как есть захотелось.

Плыли редкие, рябые облака. Ветер пулся в изгороди, сыростью и свежестью дышала трава, а в земле на глубине полтора аршин, плотно увернутая в старую холстину, лежала модель инженера Драницина.

БОБРИКОВ ДЕЙСТВУЕТ

Учрежденческий день начался обычно.

Бобриков, как всегда за пять минут до десяти, уселся в стеклянную будку. Голова у него болела. Ночью он плохо спал. Все было решено. Дома в небольшом чемоданчике лежало белье, документы на имя Пимена Степановича Дужечкина, члена союза рабпроса. Документы эти Бобриков как-то случайно нашел на улице и сохранил их на случай. А теперь онигодились.

Он готовится начать новую жизнь. Желанный миллион становился явью, он сам плыл в руки.

В час дня, после завтрака он сходил в банк и принес двадцать шесть тысяч.

План был прост.

Бобриков думал затянуть выдачу зарплаты и перенести уплату на день после выходного. А потом, уложив деньги в портфель, запечатать кассу и уйти, чтобы больше не возвращаться в учреждение никогда.

— Что это у вас вид такой странный,— спросил его главный бухгалтер, когда Бобриков проходил с деньгами в кассу.— Заболели вы что-ли?

Бобриков вздрогнул.

«Неужели подозревают»,— подумал он и, что-то промямлив, прошел к себе.

— А я вас, товарищ Бобриков, сегодня не узнала, видно вам богатым быть,— прострекотала живая черноглазая девчонка— курьер внутренней связи, передавая Бобрикову пачку документов.

У Бобрикова похолодело в животе.

«И эта тоже»— подумал он. Очевидно, подозревают. Решимость его падала.

В три часа он начал платить зарплату. Сотрудники выстроились в очередь. Шуршали ведомости, хрустели кредитки и слышалось однотонное: «распишитесь», «получите», «копейка за мной».

Часа в четыре, раздав тысяч восемнадцать, он захлопнул окно и вывесил бланк: «Касса закрыта».

Сотрудники заволновались:

— Почему? Как?

Бобриков молча показал на часы. Занятия кончились. Все знали, что кассир формалист и, поволновавшись, побрели к выходу. Только тощая, высокая машинистка кричала густым контролем:

— Это подвох, определенный подвох!

Бобриков ежился и кричал. Временами он решал бросить всю эту затею. Но вот пе-

ред глазами плыл миллион и колебания кончались. Стрелка показывала половину пятого. Наступала решительная минута. У Бобрикова выступил пот на лбу. Пачки денег лежали на столе. Их можно было положить в несгораемый шкаф, и тогда послезавтра опять на работу, опять с девяти до четырех стеклянная будка и вечером обшарпанная комната, вечно ноющая старуха мать и нехватки. Деньги можно было спрятать в портфель и впереди свободная жизнь, охота за таинственной моделью и миллион, или...

— Ну, заключенный,— раздалось над ухом.

Бобриков вздрогнул.

... «Или тюрьма»,— мелькнуло в сознании.

— Ну, заключенный,— повторил веселый голос,— когда вы из вашей тюрьмы вылезете?

Веселый счетовод Галстучкин стоял у окошечка и улыбаясь смотрел на Бобрикова.

— А, это вы,— растерянно ответил Бобриков.— Не скоро еще. Кассу надо свести.

Он взял портфель и сделал вид, что ищет какие-то документы. На стол выпала маленькая записная книжечка в коричневом переплете с золотым тиснением.

Бобриков испуганно поднял глаза, но Галстучкина уже не было.

— Еду,— вдруг решительно и почти громко сказал Бобриков. Ему стало легко и ясно. Он аккуратно уложил в портфель восемь пачек по тысяче рублей каждая. Запечатал кассу и вышел в вестибюль.

— Эх вы его набили,— мигнул в сторону портфеля усатый сторож.

— Да, дела все,— бодро ответил Бобриков, принимая пальто. На улице стоял ясный, теплый день.

Поздно вечером старуха мать бесшумно вошла в комнату сына.

— Миша, а Миша, иди чай пить.

Сын обернулся и свет лампы упал на него. Старуха охнула и, дико вскрикнув, заковыляла к двери. У стола стоял незнакомый человек с гладко выбритой головой, рыжеватыми усиками и в дымчатых очках.

— Тише вы,— пробормотал человек, подбегая к старухе и схватив ее за руку. Голос был знакомым. Это говорил сын.

— Мишенька, да ты ли это, да что с тобой,— охала старуха.

— Молчите, мамаша. Уезжаю я. Вот вам две тысячи. Живите и никому ни слова. Пропал, мол, и неизвестно куда, видом не видела и слухом не слыхала. Поняли?

4

— Ну и рассчитывайте,— также спокойно ответила Нютка.

Нина Петровна оскорбленно вздохнула, привычным движением руки взбила кудряшки и вышла из кухни.

Готовился семейный вечер.

Ягуарий Сидорович в новом полосатом костюме, напояженный и надушенный, ходил по столовой. Новые ботинки немилосердно жали, но он пытался сделать радостную физиономию и довольно взглядывал на стол, уставленный закусками и выпивкой.

— Скоро собираться начнут,— промолвила Нина Петровна, охорашиваясь перед зеркалом.— Только предупреждаю, Ягуар, чтобы все было прилично. Особенно смотри за этим Кусачкиным-Сковородой и Федором Кузьмичем. Они вечно напьются и начинают с женами ругаться. И еще не разводи ты, пожалуйста, споров с Чубукеевым. Для споров есть заседания.

Гости собирались с опозданием. В передней долго ахали. Мужчины жали друг другу руки, женщины целовались, поправляли прически и, накинув шелковые шали, чинно шли в парикмахерский зал, срочно переоборудованный в гостиную.

В зале пахло вежеталем и бриолином.

Собрались все свои. Петя Укротиллов — счетовод комхоза — принес с собой патефон. Федор Андреевич притащил пластинки. Пришли два старичка англomана, оба с англо-русскими словарями под мышкой. Прошипев неизменное «хаудунду», они уселись в угол и листали словари. Один задавал вопрос, а другой отыскивал нужные слова и отвечал.

Пришла тетя Паша с супругом.

Затаив в лице страх, явился Тихон Петрович с Агафьей Ефимовной.

К ужину пришел известный краевед археолог Чубукеев, вечно пемый в неопрятном костюме, с огромной, грубо сделанной трубкой во рту. Был он заклятый враг Ягуария Сидоровича, и поносил его на всех перекрестках как невежду и авантюриста, ни черта не понимающего в археологии. Пришел же он, чтобы мимоходом выведать, какие открытия сделал за последнее время парикмахер.

Были кроме того девицы разных возрастов в файдешинновых и крепдешинновых платьях. Молодые люди с проборами и в ботинках джимми. Ждали, что придет единственный в городе признанный и печатавшийся поэт — Павел Трепещущий (псевдоним), живший у парикмахера, но он отказался наотрез, заявив, что ему надо творить, и весь вечер, снедаемый поздним сожалением, провалялся на жесткой постели.

Дамы ютились на диванчике и кушали карамель. Федор Кузьмич молчаливо сидел в углу и листал семейный альбом. Тетя Паша время от времени делала ему замечания.

— Феодор, (в обществе она именovala его Феодор с ударением на последнем слове) у вас (в обществе она называла его на вы), у вас грязный платок. Спрячьте.

Федор Кузьмич покорно прятал платок.

— Феодор, у вас резинка у носка растянулась.

Федор Кузьмич также покорно пристегивал резинку.

Было в меру скучно. Молодежь, правда, развлекалась, играли в шарaды, танцевали. Простуженно шипел патефон.

Наконец хозяин пригласил к столу. Гости разом повеселели и, шумно разговаривая, двинулись в столовую.

— Люблю-с,— восклицал толстый бухгалтер из химтреста,— люблю-с, когда это, знаете, в центре бутылочки, по бокам закусок, по краям гарелочки и вокруг прекрасный пол и вообще выпивон. По первой.

Застучали ножи, зазвенели рюмки.

— Пирожка попробуйте.

— Мне колбасу подвиньте.

— Как это только вы грибы маринуете, Нина Петровна, какой-то секрет у вас есть.

А шепотом на ухо:

— А пирог-то подгорел.

— Колбасу-то как нарезали, ровно бумага просвечивает.

И снова:

— Пейте, кушайте.

— Да что же вы ничего не берете.

После пятой рюмки старички со словарями поминутно выкрикивали:

— Иес.

— Ол райт.

Дамы жеманничали, отодвигали рюмки, взвизгивали и под сурдинку отвечали на познать ножек под столом.

Известный краевед Чубукеев пил мрачно. За весь вечер он ничего не узнал.

После ужина мужчины, забрав рюмки и блюдо с селедкой, пошли в спальню хозяина.

Нина Петровна прошипела вслед:

— Следи за Федором Кузьмичем и Кусачкиным.

— Слежу, душечка, в о-оба,— не совсем внятно ответил Ягуар. В спальне выпили по первой, по второй, по пятой.

Федор Кузьмич начал плакать.

— Лысею я, несчастный я человек. А все от того, от нее, аспиды-василиски. Падают мои волосы, падают,— и он слезливо сморщился.

— Ты, Ягуар Сидорович, должен мне средство дать.

Ягуар хитро усмехнулся и, взяв с окна флакон, помахал им перед носом Федора Кузьмича.

— Вот видишь, патентованное.

Федор Кузьмич оживился:

— Па-па-патентованное, говоришь ты? Дай.

— Денег стоит,— сухо ответил Ягуар, ставя флакон на место.— Строго секретно и собственного изобретения.

— Ягуар Сидорович, богом молю, дай,— пристал Федор Кузьмич.— Ведь облысею я. Что хочешь бери, только отдай.

— Пять червонцев,— бухнул Ягуар Сидорович и даже побледнел от неожиданности.

— Десять бы не пожалел, кабы были. Нет.

— А нет, так нет.

Внезапно Федора Кузьмича осенила мысль. Он сунул руку в карман и вынул оттуда часы с инициалами Драницина.

— Вот возьми в обмен, только дай.

Ягуар Сидорович недоверчиво улыбнулся и взял часы.

Гости принялись осматривать их.

— Хороши,— изрек бухгалтер.

— Хороши,— соглашался Ягуар.

— Бери,— бормотал Федор Кузьмич,— только дай средство и жене ни гу-гу. Она человек нервный.

— Ну ладно, бери, только для тебя уступаю,— снисходительно проговорил Ягуар Сидорович, передавая флакон Федору Кузьмичу.

Тот немедленно подошел к зеркалу и, откупорив флакон, густо намазал макушку жидкостью.

Часы переходили из рук в руки.

— Разрешите посмотреть,— заплетаясь языком пробормотал фотограф. Ягуар передал ему часы.

— А-а-а,— вдруг закричал Тихон Петрович,— СВД.

Гости переглянулись.

— Ягуар, откажись,— кричал побледневший фотограф,— тебе говорю, откажись... Союз великого дела. Я, брат, все знаю,— подмигнул он.— Ты, брат, только раскопай, не то увидишь.

Мрачный краевед Чубукеев, услышав слово «раскопай», сразу же насторожился как гончая. Оживился и Ягуар.

— Что раскопать,— враз вскрикнули они.

— Ты не хитри, на Угорье-то, брат, под березой. Там, брат, ценность, ты только не смей и часы не бери... Слышишь,— и фото-

граф, бессильно покачнувшись, свалился на пол.

— Наклюкался,— сочувственно проговорил толстый бухгалтер, наливая десятую рюмку.— Слаб человек.

— Мне пора,— мрачно произнес краевед Чубукеев и про себя повторил: «На Угорье под березой».

— Пошли уже,— поднялся Ягуар и беззвучно прошептал: «Под березой на Угорье».

Гости стали расходиться. Бесчувственного Тихона Петровича Агафья Ефимовна вместе с толстым бухгалтером уволокли домой.

— Не правда ли, как удался вечер,— бормотал Ягуар Сидорович, натягивая пестрое ватное одеяло.

— А ты заметил, как много ест этот толстый бухгалтер. Конечно, мне не жаль, но это просто невежливо,— проговорила Нина Петровна, поправляя подушку.

— М-да.

Дом заснул.

Только поэт Павел Трепещущий (псевдоним) лежал одиноко на жесткой постели и терзался поздним раскаянием.

Где-то заунывно выла собака.

ГЛАВА VII

КОМСОМОЛЕЦ ПЕТЯ

— Я несчастна, я глубоко несчастна,— говорила Женя.— Он бросил меня, он уехал неизвестно куда. Вы не можете себе представить, что это за человек. Это изверг.

Комсомолец Петя слушал, слегка наклонив набок вихрастую голову.

С Женей он познакомился в клубной библиотеке. Она поступила работать и дежурила в абонементе. Петя как-то разговорился и обнаружив, что она заражена мелкобуржуазными принципами, взялся за ее перевоспитание. Он таскал ей целые кипы книг по политграмоте, читал газетные передовые, пробовал проработать решение второго пленума окружкома комсомола. Женя любила экзотику; знакомство с вихрастым комсомольцем забавляло ее. Правда, проработка шла плохо, разговор неизбежно сползал «на бытовые темы», как выражался Петя.

— У него были такие жестокие глаза,— продолжала Женя.— Знаете, Петя, временами я боялась его. Да вот, посмотрите фотографию.— И Женя, взяв со стола групповую

карточку, висевшую в лаборатории инженера, передала ее Пете.

— Вот он.

Ничего зверского в облике инженера Петя не нашел, но она показалась ему знакомой.

«Где-то я его видел»,— мелькнуло в уме.

Он хотел было отложить карточку на стол, но вдруг увидел на фотографии девушку, почти подростка. Она глядела немного вбок и на груди у нее комично топорщилась пионерская косынка.

— Таня,— прошептал он.— А скажите, товарищ Женя,— спросил Петя,— эта девушка вам знакома?

— О да,— сморщила носик Женя,— еще бы. Представьте, он влюбился в нее еще когда мы жили на Ванновском заводе. Он таскался за ней везде и всюду. Я недавно нашла целый ворох записок этой безнравственной девчонки.

Петя издал какой-то неопределенный звук, не то охнул, не то простонал, взъерошил волосы и попрощавшись вышел.

Да, теперь все ясно. Вот почему Таня не обратила на него внимания. Это было еще в прошлом году. Они вместе работали в пионеротряде, и в один изумительный мартовский вечер Петя почувствовал себя безусловно влюбленным. Он долго боролся с этим мелкобуржуазным предрассудком, усиленно обливаясь холодной водой, делал гимнастику, играл в хоккей и волейбол и читал вслух «Анти-Дюринга», но все безрезультатно. В мозгу то и дело мелькал нежный девичий профиль, обрамленный каштановыми волосами.

Петя мрачнел. С Таней он был нарочито груб. Та, казалось, ничего не понимала, только удивленно вскидывала глаза и потом смеялась и спрашивала:

— Что с тобой, Петя?

Петя краснел, бормотал что-то нечленораздельное. Собираясь в пионеротряд, он подолгу стоял перед овальным зеркалом, разглаживал непокорные вихры, тщательнее чем обычно завязывал галстук.

В один из вечеров они возвращались вместе домой.

Воздух был влажен, пахло талым снегом и сыростью, тяжелые капли то и дело падали с крыш. В небе плыли легкие перистые облака и мелькали редкие звезды. На скамейках бульвара сидели парочки и откровенно целовались.

Разговор не клеился.

Вдруг Петя схватил Таню за руку и приглушенно сказал:

— Сядем.

Таня вздрогнула, непонимающе взглянула на Петю, но покорно села на скамью.

— Я больше не могу,— сказал Петя каким-то странным, глухим голосом и сжал Танину руку.— Слышишь, не могу.

— Да,— полуспросила Таня.

— Да, я не в силах бороться с этим мелкобуржуазным чувством. Ты можешь не уважать меня как комсомольца. Но я тебя люблю.

Пете стало легче и весь мир стал простым и ясным, и почему-то хотелось бежать и кричать полным голосом что-то хорошее и большое.

Таня неожиданно помрачнела, тихонько высвободила руку и задумчиво наклонилась.

Петя похолодел.

— Не надо, Петя, брось,— сказала Таня.— Ты хороший парень, я тебя очень люблю, но понимаешь...

— Не так,— упавшим голосом произнес Петя.

— Ну да, понимаешь, не так...

Петя тряхнул головой, неожиданно поднялся и, не протрившись, быстро, почти бегом помчался по темной аллее.

С этой минуты Петя почувствовал себя глубоко несчастным. Он купил томик стихов Есенина и один раз попробовал даже выпить, но ни то, ни другое ему не понравилось. Он как-то возмужал, с Таней вел себя сдержанно и старался не оставаться наедине.

— Теперь все понятно,— говорил он сам себе, возвращаясь от Жени.— Все ясно.— В памяти встала встреча в театре. В антракте он увидел в фойе Таню. Она что-то оживленно рассказывала высокому нескладному мужчине. У него был немного усталый взгляд. Лицо было сухое, с глубоко сидящими глазами и резко очерченным подбородком, обрамленным небольшой бородкой.

— Гнилой интеллигент,— злобно прошептал Петя.

Таня заметила его и ласково кивнула головой. Людской поток унес их дальше.

На другой день Петя не выдержал. Оставшись с Таней наедине, он ехидно сказал:

— Разлагаешься, связываешься с чуждым элементом. Порываешься с родной средой.

Ему было стыдно, он чувствовал, что слова были глупы и неуместны, но язык не слушался и он говорил грубо и ненужно.

Таня как-то сжалась. Посмотрела осуждающе строго и, ничего не сказав, вышла из комнаты.

— Ах я ду-у-у-у-рак,— прохрипел Петя.

Ну, конечно, Женя была права, он не мог не быть извергом, это ясно. И подумать только: Таня и он.

Петя злобно сжимал кулаки, трепал вихры и раздраженно шагал по комнате.

Где Драницин? Неужели в Москве? Ведь Таня уехала туда же и в редких открытках сообщала, что учится на втором курсе химфака, что Москва замечательная, звала приехать.

Неужели они вместе, но зачем же она звала в Москву? Голова шла кругом. Мозг отказывался что-либо понимать. В этот вечер Петя не мог заниматься. Свежая книжка «Молодой гвардии» и номер «Комсомольской правды» остались непрочитанными.

Петя строил планы. Таню надо было спасти от изверга. Это было ясно. Но как?

— Дело надо выяснить, — вслух сказал Петя и лег спать. Со следующего же вечера Петя приступил к выполнению своих планов.

Он зачастил к Жене, сводил разговор на мужа. Женя была болтлива. Она охотно рассказала Пете, что Драницин что-то такое изобрел, она показала ему лабораторию, она вспомнила события, предшествовавшие исчезновению инженера. Сообщила, что, по слухам, на него, когда он шел по улице в день исчезновения, кто-то нападал и что чуть не украли чемодан.

Вся эта история очень заинтриговала Петю. Он почувствовал, что здесь дело не так уж просто.

Петя написал письмо приятелю в Москву с просьбой сообщить, как живет Таня, не вышла ли она замуж, не бывает ли у ней высокий мужчина по фамилии Драницин.

Ответ не заставил себя ждать.

П приятель писал, что Таня девочка боевая, что живет она, безусловно, одна, что никаких Дранициных у нее не встречал, что у нее большая общественная нагрузка. Дальше на полутора страницах шел перечень Таниных обязанностей. Кончалось письмо советом бросить мешанские интересы, не отрываться от масс и вообще не разлагаться.

Петя попал в тупик. Надо было все выяснить. Но как? Надо было доказать, что Драницин изверг.

Разгоряченный мозг подсказал новый вариант. Драницин сделал ценное изобретение и скрылся за границу. Это понравилось, и Петя не задумываясь написал письмо Тане, где подробно изложил свою точку зрения, клеймил Драницина, как предателя и изменника. Получилось дико, но увлекательно.

Почта и телеграф несли письма и депеши.

Люди пытались найти нить и терялись в догадках.

— Он уехал, он бросил меня, ну что ж... — говорила Женя, целуя рослого мужчину в сером заграничном костюме.

«Он предатель рабочего класса», — писал комсомолец Петя.

«Новых сведений об инженере Драницине не поступало», — читал в сводках человек в ромбах.

«Почему же ничего он не напишет, что с ним», — думала по вечерам девушка с каштановыми волосами, утомленная сто одной нагрузкой.

Модель инженера Драницина мирно покоилась в городе Горохове в земле на Угорье под березой. Часы его весело тикали в боковом кармане полосатого костюма, облегающего гороховского парикмахера. Записная книжка в коричневой обложке и с золотым тиснением СВД стала собственностью растратчика. Но самого инженера Драницина не было. Он исчез. Он стал именем, шифром, воспоминанием, содержанием бумаг, циркуляров, писем, но его не было, он перестал существовать и никто не подозревал, что...

Недалеко от станции Ключанской по линии железной дороги есть глухая дачная местность: несколько дач стоят в глуши соснового леса. Около лепится деревушка. На дачах живут инженеры в отставке, седенькие профессора.

Месяца два тому назад одну из дач снял высокий плотный человек. У него было бледное, словно из фарфора лицо и глаза с полуопущенными веками. Он заплатил за полгода вперед и сказал, что здесь будет жить его брат, душевнобольной, вместе с санитаром.

Одну комнату отделали мягкими матрацами, на окнах поставили решетки, и под вечер приехали трое. Одного из них ввели под руки в дом и больше его никто, никогда не видел.

Это был инженер Драницин. События постарили его немного. Глубоко ушли глаза, еще резче стал подбородок. С ним обращались вежливо. От него требовали слов, но он молчал. Он знал, что его каждую минуту могут убить. Об этом ему намекали в неизменно вежливой форме. Он молчал. Он приучил себя ко всему. Сидя в комнате, обитой матрацами, он строил планы, проекты, думал о побеге, но его сторожили зорко. Он бросил эту мысль и ушел в занятия. Книг и бумаги ему не давали. Он приучил себя решать сложнейшие уравнения в уме. Он уточнял и проверял изобретение. Он внес в него усовершенствования.

Но все это было гимнастикой ума. Он знал, что у него было только два выхода — предательство или смерть. Первый зависел от него, второй от них. Но он скорее согласился бы умереть, нежели отдать этим людям свое изобретение.

Он молчал.

Часто перед ним выплывала его прошлая жизнь. Многое казалось отвратительным и смешным. И тогда глаза его становились уже и смотрели строго и осуждающе.

Но вот в памяти всплывал образ девушки с каштановыми волосами. Тогда становилось теплее на сердце и хотелось жить. Хотелось работать, ходить в театр, бегать на лыжах, играть с детьми.

ГЛАВА VIII

РАСКОПКИ

Ягуарию Сидоровичу всю ночь снилась береза, она угрожающе шумела и в шуме этом явно слышалось:

— Не подходи.

К березе крался известный краевед Чубукеев, на спине и на груди у него висели заступы, кирки и четыре рюкзака. Ягуарий Сидорович обливался холодным потом и стонал. Под утро, когда стало светать, он проснулся. Голову ломило и тяжело билось сердце.

Он пытался отыскать причину беспокойства. Но мысли бились путанно и смутно. С трудом припомнил он вчерашний вечер, часы, и вдруг выплыла фраза: «под березой на Угорье».

Ягуарий Сидорович задрожал, спустил босые ноги на пол, выпил стакан холодной воды.

«Не опоздать бы,— подумал Ягуар,— только бы не опоздать».

Тихонько оделся. На четвертушке бумаги написал крупными буквами: «Парикмахерская закрыта по причине выбытия в научную командировку. Перманент (быв. Фечкин)».

Повесил объявление в окне. Отыскал в кладовой заступ и кирку, напялил на плечи рюкзак и вышел на улицу.

Чуть светало, над старыми домишками полз туман, было свежо и сыро.

Ягуарий Сидорович быстро зашагал по направлению к Угорью. Когда он подошел к горе и взобрался на нее, почти рассвело. Одинокое стояла береза. Ягуар Сидорович осмотрел местность и удовлетворенно усмехнулся. Никого не было.

— Начнем,— прошептал он, ускоряя шаг,

но, подходя к березе, обомлел. Вся местность вокруг березы в радиусе пяти метров была густо утыкана столбиками, на которых нагло топорились дощечки с ненавистой надписью:

«Застолблено. Археолог Чубукеев».

— Тьфу,— выругался Ягуар,— уже успел.

Он постоял в нерешительности. Потом неожиданно быстро снял заступ и смаху ударил по ближайшему столбику.

— Ну его к черту,— начал.— Перманент выбросил столбики, сложил из них костер и начал копать.

Прошел час, другой. Работа шла хорошо. Было уже совсем светло. Пот градом струился по лицу Ягуара Сидоровича, но кроме земли он ничего не находил.

«Обман,— решил было он, утирая рукавом лицо.— Пожалуй, бросить надо». Но в этот момент заступ нырнул в яму и зазвенел, жалобно стукнувшись обо что-то. Ягуар Сидорович, потеряв равновесие, взмахнул руками и упал в яму следом за заступом. Чем-то больно ударило щеку, но он ничего не замечал. Руки его нащупали какой-то странный предмет. Он вытащил его наверх и наклонился, чтобы осмотреть место находки.

— Что вы тут делаете?!— раздался голос.

Ягуар Сидорович выглянул. К яме, махая заступом, бежал известный краевед Чубукеев. Лицо его было искажено, рюкзак сбился и отчаянно бил краеведа по боку. Фуражку он, видимо, потерял и волосы перьями торчали на маленькой голове.

— Что вы делаете, мерзавец,— кричал он на бегу.

— Я вас не понимаю, Элиозавр Дормидонтович,— с достоинством произнес Ягуар, вылезая из ямы.

— Как не понимаете? Притворщик. Это мое место. Я застолбил его.

— Ничего не видел,— недоуменно пожал плечами Ягуар Сидорович,— и прошу вас не мешать мне заниматься изысканиями.

— Я вам покажу изыскания!— взвизгнул Чубукеев и бросил в Ягуара Сидоровича заступом.

Заступ пролетел мимо и звеня ударился в березу.

— А вот вы как,— рассвирепел Ягуарий Сидорович.— Так знайте, что вы подлый человек, что я, я, я...

Ягуарий Сидорович задохнулся и с трудом кончил:

— Я нашел...

Чубукеев побледнел, поднял сжатые кулаки и врукопашную бросился на Ягуара Сидоровича.

Тот мужественно принял первый удар.
— Она моя, моя, — хрипел Чубукеев. — Отдайте ее мне.

— Ни за что, — шипел Ягуар, бестолково нанося удары в живот и грудь противника.

— Ох, — неожиданно простонал Чубукеев. Нога его поскользнулась, и он нырнул в неглубокую яму.

— Убивают, на помощь! — кричал он.

Ягуарий Сидорович осмотрел поле сражения. Здоровенный огородник, размахивая лейкой, бежал к береze.

Надо было отступать.

Схватив находку и оставив на поле рюкзак и заступ, Ягуар Сидорович рысью побегал под гору.

— Держите его, держите! — кричал Чубукеев, вылезая из ямы. — Это вор и плагиатор!

Огородник непонимающе моргал, слушая бестолковые объяснения, но соблазненный обещаниями, что в случае поимки его вознаградят, бросился в погоню, нелепо размахивая на ходу лейкой.

В это утро обыватели города, отправляясь на базар, были встревожены небывалым зрелищем.

По главной улице, судорожно зажав под мышкой какой-то предмет, неся Ягуар Сидорович Фечкин, он же Перманент. Со щеки его текла кровь. За ним, размахивая огромной лейкой, бежал здоровенный детина. Подальше, прихрамывая, ковылял вприпрыжку известный археолог Чубукеев. Он кричал не своим голосом.

— Плагиатор, жаловаться буду!

Ягуар Сидорович пулей пронесся по улице, забежал во двор, замкнул калитку и бесильно опустился на землю.

Огородник, видя, что беглец скользя за ворота, остановился как вкопанный, постоял, махнул лейкой и побрел обратно. Известный краевед Чубукеев поднял тяжелый камень и злобно бросил его в ворота, и тотчас же над забором возникла физиономия Ягуара Сидоровича.

Он торжествующе засмеялся, показал Чубукееву язык и скрылся.

Чубукеев сморщился, заплакал и свернул в переулок. Модель инженера Драницина стала яблоком раздора между двумя крупнейшими археологами города Горохова.

Она лежала на столе парикмахера, тускло поблескивая медью и никелем деталей, и Ягуар Сидорович любовно гладил и похлопывал ее и, радостно потирая руки, шептал:

— Палеолит, подлинный палеолит.

ГЛАВА IX

ПЕТЯ ЕДЕТ В МОСКВУ

Петя не дождался ответа от Тани. Сегодня утром ему сообщили, что он назначается руководителем экскурсии пионеров в Москву. Петя сделал серьезное лицо, сказал, что перед трудностями он не спасует. Придя домой, он достал небольшой чемоданчик и, заглянув в кухню, сказал как будто бы мимоходом двум домашним хозяйкам:

— Еду в Москву с малышами. Очень, знаете, ответственное поручение.

Поезд отходил в два часа.

На вокзале бестолково суетились люди, на груде узлов и чемоданов сидели пионеры, окруженные провожающими.

Ударил колокол. началась посадка. Вот и второй звонок, третий. Поезд дрогнул, качнулся перрон, поплыли ларьки, хибара с надписью «кипяток бесплатно», красные крыши домишек, беспорядочно рассыпанных по полому откосу горы. Ветер отнес к вокзалу веселые голоса:

Пионер не подведет,
До свиданья, до свиданья!
Дает поезд полный ход.

В вагоне было собрано летучее собрание, «проработали» внутренний распорядок, наметили дежурства. Ехали весело. Пели, играли и даже выпустили стенгазету.

В вагоне-ресторане в ожидании обеда устраивали веселый тарарам. По команде выкрикивали:

Едем пятый километр,
А обеда нет как нет.

Или

А на кухне дело худо —
Начинают бить посуду.

Петя хорохорился, держал себя сугубо серьезно. По всякому поводу и без повода конфликтовал с железнодорожным персоналом. Было у него обыкновение на остановках выходить после второго звонка. В этом чувствовалось какое-то особое удовольствие. Все пассажиры бегут сломя головы к вагонам, и тут человек медленно так идет по перрону. И все наверное втайне удивляются:

— Экая выдержка.

— Какое спокойствие.

Вот уже и свисток раздался и поезд тронулся и ребята, высунувшись в окна, кричат:

— Дядя Петя, не остаешься! — А он, спокойно улыбаясь, идет по перрону. И вот уже почти остался, а нет — на ходу небрежно

вскакивает в соседний вагон и вскоре появляется.

— Что малыши, думали останусь? Ну, ну, спокойно.

Вечерело. Поезд медленно лез в гору. Петя прилег. Ребята разбрелись по вагону.

Двое пионеров Гриня и Рафка стояли у окна и по столбам высчитывали, сколько километров осталось до ближайшей станции. На их языке этот способ вычисления назывался «тайна столба». В одном из купе клеили стенгазету. Вход в редакцию был воспрещен. И вдруг в купе ворвалась Софочка, она прыгала, смеялась и вообще вела себя так, как будто это было простое купе. Секретарь редакционной коллегии попросил Софочку удалиться. Но та только передернула худенькими плечиками. Начался спор, собрались ребята.

Крик разбудил Петю.

Узнав в чем дело, он быстро навел порядок. Спать не хотелось.

Вдали мелькали огни какой-то станции. Петя пошел на платформу.

«Выйти что ли», — подумал Петя.

— Сколько он здесь стоит?

— Семь минут, — ответил проводник.

Верный своей привычке Петя вышел на станцию через пять минут после остановки. Темнело. Не торопясь он прошел по перрону. Спустился по каменистому откосу вниз. Спросил у какой-то бабы почему курица и, не дождав ответа, бросил небрежно.

— Дорого просишь.

Но вот колокол ударил два раза. Петя также медленно, с выдержкой побрел к перрону. Робко прозвенел свисток. Поезд ушел.

«Надо бежать», — подумал Петя и прибавил шаг. Неожиданно он поскользнулся и кубарем полетел под откос прямо под ноги бабе с курицей, та вскрикнула, выронила латку и, схватив курицу за ногу, бросилась бежать прочь.

Петя встал, потирая ушибленную ногу. Вдали замирал гул уходящего поезда. Петя бросился было бежать. Но поезд ушел.

Было темно, ветер шумел в тополях, мигали огни на линии. Надо было что-то делать. Петя полез было в карман, но вспомнил, что билет и деньги остались в пиджаке в боковом кармане. Он совсем по-детски сморщился и заплакал.

Шумели тополя. С фронтона белого станционного домика смотрела вывеска:

«Станция Горохов. От Москвы 6892 км»

ГЛАВА X

ПАВЕЛ ТРЕПЕЩУЩИЙ (ПСЕВДОНИМ) НАХОДИТ КОМПАЬОНА

Для писателя Павла Трепещущего (псевдоним) наступили явно плохие времена. Литература не кормила.

Года два тому назад он поместил стихотворение в районной газете. Посвящено оно было актуальнейшей проблеме сохранения телячьего поголовья и каждое четверостишие кончалось звучным рефреном:

В ком память прошлого свежа
Телят спасайте от ножа.

С тех пор ему удалось поместить еще три вещицы. Но горе Павла Трепещущего заключалось в том, что он был лирик и лирик старомодный. В стихах его неизменно присутствовали девы, ланиты, грудь пышная и белая как пена, любимая женщина называлась по очереди то кумиром, то змеей коварною и криводушною. Редактор райгазеты, прочитав одно такое стихотворение, явно испугался и стал как-то сторониться поэта. Чем жил Павел Трепещущий — неизвестно. Службу он отрицал принципиально и однажды, когда ему знакомый бухгалтер предложил поступить счетоводом, он гордо ответил, что в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань, и еще ехидно добавил, что рожденный летать ползать не может.

Бухгалтер смертельно обиделся и перестал кланяться. Удручаемый материальными невзгодами, Павел Трепещущий решил извлечь доход из своей комнаты. Для этой цели он и вывесил бланк с надписью:

«Писатель Павел Трепещущий (псевдоним) (поэт-лирик) ищет интеллигентного гражданина (пол мужской), желающего разделить с ним одиночество и квартплату (последняя пополам и обязательно)».

День склонялся к вечеру. Писатель ходил по комнате. Была она невелика и выглядела неопрятно. На узкой койке лежал продавленный матрац и тощая подушка в несвежей наволочке. Обшарпанный стол завален рукописями и залит чернилами. Тут же стояло блюдо с надкусанным заплесневелым огурцом и стакан с водкой. На окне вместо занавески висела рогожа, а под столом стоял таз, наполовину наполненный льдом.

Павлу Трепещущему было лет за тридцать. Одет он был в вытертую плисовую блузу (в манере Бодлера). На небрежно подстри-

женных волосах нелепо торчала красная феска.

— Да, я велик,—бормотал поэт. И, взяв стакан, отпил из него глоток.

— Я велик. Это бесспорно. Последняя моя поэма «Крокодил и Нил» — гениальная вещь.. Но редактор, редактор... Он же не пропустит ее. Нет, надо найти иные пути.

Отыскание путей к славе давно заботило поэта. Он решил написать роман из производственной жизни. В том, что роман напечатают, Павел Трепещущий не сомневался. А дальше, когда имя его прогремит по всей стране, издатели с руками оторвут стихи,— тогда и гениальную поэму «Крокодил и Нил» можно будет издать отдельной книжкой.

— О искусство! На какие жертвы я иду ради тебя,—прошептал писатель и подойдя к столу, отодвинул гору стихов. Потом вытащил новенькую тетрадь, на заглавном листе которой было выведено — «Решающие гайки» (производственный роман). Тяжело вздохнув, он взялся за перо. Никак не давалось начало. На листе бумаги было написано шесть вариантов. Павел Трепещущий прочитал их, недовольно поморщился и перечеркнул. Подумал. И написал.

«Старый Никифор был стопроцентным пролетарием». Прочитал. Нет, не годится. Голое описательство. Штамп. Он снова перечеркнул строчку и написал заново.

«Мужественное, честное лицо стопроцентного пролетария Никифора мягко светилось». Положил ручку, отпил водки.

— Пожалуй, неплохо, есть показ, есть лирика. Но все-таки слабо. Надо будет начать с описания завода.

Через минуту на листе красовалось.

«Гудели вагранки; шайбы и подшипники пели свою веселую песню, гроыхал фрезер. Как любил честный пролетарий Никифор эту производственную музыку, эту бодрую и мощную симфонию социализма. Лицо его мягко светилось».

.. — Прекрасно. Дана среда и человек. Типические характеры в типических обстоятельствах. Как раз то, что нужно.— В это время в дверь постучали.

— Войдите.

В комнату вошел комсомолец Петя.

Петя шел из горкома комсомола. Там его встретили хорошо. Дали пятнадцать рублей. Обещали запросить, выяснить, согласовать и увязать. А пока что он получил путевку на работу в газету. Ему нужна была квартира и он очень обрадовался, увидев объявление Павла Трепещущего. Условия явно подходи-

ли, а главное — живой поэт. Это особенно импонировало Пете. Он сразу представил себе, как впоследствии будет говорить приятелям:

— В то время я жил вместе со знаменитым поэтом Павлом Трепещущим. Ничего парень.

Писатель оглядел Петю с ног до головы и спросил:

— Что вам угодно и кто вы такой?

Петя немного растерялся:

— Я... я работник местной газеты.

— Газеты?— переспросил Павел Трепещущий.— Садитесь, прошу вас.— И он пододвинул стул.

— Я насчет квартиры.

— О проза жизни,— вздохнул писатель и, горько улыбнувшись, промолвил.— А я думал, что вы принесли мне авансы и славу... Ну что же, поговорим.

Писатель пододвинул стул, сам сел на кровать и стал говорить, изредка впадая в приподнятый тон. Осведомившись, кто такой Петя, он заявил, что рад жить под одной кровлей с лучшим представителем молодого поколения.

— А сколько вы платите?— спросил в свою очередь Петя.

Павел Трепещущий помялся. Говоря откровенно он парикмахеру платил натурой (редактировал и переписывал его научные изыскания), но Пете он заявил:

— Двадцать рублей,— и, придвинувшись, прошептал,— хозяин — эксплуататор, почти классовый враг, будем бороться вместе.

Петя крепко пожал протянутую руку.

Условия подходили. Соглашение состоялось. Писатель попросил три рубля в задаток и, получив их, оживился.

Оставшись один, Павел Трепещущий постоял немного, словно в раздумьи, привычным движением тронул волосы, достал стоявшую в углу початую бутылку, налил большой стакан, выпил залпом и закусил огурцом. Потом он подошел к столу, презрительно бросил тетрадь с производственным романом в сторону, приспустил рогожную занавеску, поправил на голове феску, поставил ноги на лед и, морщась от холода, на большом листе бумаги начертил «Конец одиночества» (поэма).

Но он написал только одну строку:

«Удав одиночества череп гложет».

Дальше не получалось. Ныли ноги, шумело в голове. Через минуту он сладко храпел на продавленной койке.

ИЗЫСКАНИЯ ЯГУАРА СИДОРОВИЧА И ОТКРЫТИЕ ПЕТИ

Инцидент между археологами глубоко взволновал гороховскую общественность. Известный краевед Чубукеев подал жалобы во все организации. Каждое учреждение старалось взвалить щекотливое дело на плечи другого.

Чубукеев ходил из дома в дом и всюду жаловался на Ягуара Сидоровича.

Ягуар Сидорович усиленно отсиживался дома. Парикмахерская не работала и на двери висел бланк:

«Закррито в виду срочной научной работы. С почтением парикмахер, он же археолог Перманент (быв. Фечкин)».

Слова «научный» и «археолог» были подчеркнуты жирной линией.

Обыватели Горохова ходили небритые и нестриженные.

Общество любителей археологии по требованию Чубукеева собрало экстренное собрание для разрешения инцидента.

Ягуар Сидорович не явился и послал пространное объяснение, в котором говорил, что встречаться с Чубукеевым он не может, так как опасается за свою жизнь.

«Ибо,— писал он,— уже был прецедент, дающий основания подозревать лжеархеолога Чубукеева в покушении на мою жизнь, так, например, он уже бросал в меня кирпичом. Между тем, научные работы мои над последним открытием, сделанным на Угорье, требуют особо бережного отношения к своему здоровью, дабы я мог своевременно закончить свое исследование, могущее иметь не только европейское, но и мировое значение».

В конце Ягуар Сидорович сообщал, что по окончании работ он смело выйдет навстречу опасности, ибо будет знать, что дело его жизни выполнено.

На заседании общества собравшиеся раскололись на две партии, все переругались и, ничего не решив, разошлись по домам.

События назревали.

Ягуар Сидорович действительно работал не покладая рук. Он сидел запершись в парикмахерском зале, превращенном в кабинет. Посреди стола стояла модель, рядом с ней лежал энциклопедический словарь Павленкова издания 1890 года и стопа исписанной бумаги.

За эти дни Ягуар Сидорович подробно ознакомился с находкой. Легкая ржавчина тронула металлические части. Толстая дубо-

вая доска, служившая основой, рычаги и зеркала восхищали парикмахера.

Сомнений, что находка относится к палеолитической эре, не было. Но что это могло быть? Ягуар Сидорович тщетно ломал голову. Одно время он склонялся к мысли, что это никому неведомый бритвенный аппарат сложнейшей конструкции. Но более тщательное исследование не подтвердило гипотезу Ягуара.

Было несомненно одно: находка ставила дыбом всю науку. Она свидетельствовала о том, что в доисторические времена люди создавали машины, что они знали обработку металла, что они научились делать никель.

Но что это была за машина, каково было ее назначение?

В качестве консультанта Ягуар Сидорович пригласил местного слесаря, чинившего жителям города примусы.

Он был допущен к модели только после того, как торжественно поклялся, что никому не расскажет о том, что видел. Осмотрев модель, консультант долго мычал, крутил угреватый носом и, наконец, заявил, что это ничто иное как старинный паяльник.

По его мнению, лучи солнца, собираясь в зеркало, пропускаются через увеличительное стекло и дают огромную температуру, но что ряд частей, видимо, утрачен.

Обрадованный Ягуар Сидорович напоил слесаря водкой, бесплатно побрил его и даже обильно смочил голову одеколоном «Филалка».

Итак, вопрос был решен. Сомнений не было. Это был чудовищный паяльник.

Отпустив слесаря, Ягуар сел за стол и немедленно же стал писать «исследование» о состоянии паяльного дела в палеолитическую эпоху, в связи с находкой на Угорском стойбище паяльного аппарата чудовищной конструкции.

Три дня и три ночи он не выходил из комнаты. Даже пищу ему подавали через окошечко, служившее в обычное время кассой. Скрипело перо, шелестела бумага, с легкостью Геркулеса Ягуар сокрушал авторитеты, он громил археолога Чубукеева, он разделялся со своими старыми врагами.

Наконец работа была закончена.

Ягуар Сидорович послал в общество археологов записку с требованием немедленно созвать пленарное заседание, так как он намерен сообщить нечто совершенно исключительное.

Председатель общества письменно извещал, что пленарное заседание может быть созвано только через две недели, по возвра-

щении из краевого центра известного археолога Чубукеева, поехавшего жаловаться на незаконное действие местных властей.

Ягуар Сидорович криво усмехнулся, но делать было нечего. Приходилось ждать.

На другой день он открыл парикмахерскую. С утра еще у дверей толпилась очередь.

Пришли не только нуждающиеся в услугах парикмахера. Пришли люди без всяких признаков растительности. Все желали узнать новости. Стеклопанная дверь парикмахерской то и дело открывалась, и тяжелая двадцатипятифунтовая гиря, висевшая на блоке, грузно ухала. Каждый клиент смотрел вопросительно.

Но Ягуар Сидорович был торжественен и молчалив. Держался он предупредительно, но с той великолепной холодностью, чуть-чуть переходящей в надменность, которая свойственна некоторым великим людям, сознающим дистанцию, отделяющую их от простых смертных.

На все расспросы он отвечал вежливым молчанием или предупредительным вопросом:

— Прикажете освежить?

— Бобрик или полька?

— С какой стороны носите пробор?

Клиенты уходили разочарованные.

По городу поползли самые противоречивые слухи.

Одни говорили, что парикмахер нашел египетскую мумию. Другие уверяли, что это ерунда, что найден клад, закопанный на Угорье доисторическим разбойником Иваном Петлей. Третьи сообщали черт его знает что такое.

Вечером, уже после закрытия парикмахерской Петя сидел в своей комнате и слушал трагедию Павла Трещущего в пяти актах с прологом, носившую звучное заглавие «Кровь и перечница».

Чтение продолжалось уже второй час. Петю мутило. Ему надо было идти на собрание, но он не решался прервать поэта и слушал, делая восхищенное лицо.

В конце третьего акта, когда кровожадная Анна, мстя за убийство своего мужа (кровь) пригласила к себе в гости убийц и отравила их цианистым калием, поданным к обеду вместо перца (перечница), Петя не выдержал и, прервав поэта, сказал, что он очень взволнован и слушать не может. Что лучше чтение отложить на завтра. Павел Трещущий смертельно обиделся, но согласился. Петя миглом выскользнул за дверь.

— Нюта, сколько времени?— спросил он босоножую девчонку.

— А часы-то не ходят,— ответила та, громяхая посудой.— Вы у хозяина спросите.

Петя прошел в парикмахерскую.

— Ягуар Сидорович, сколько времени?

— А вот взгляните,— отвечал Ягуар, натягивая полосатые брюки (он собирался с женой на прогулку).

Петя взял часы, висевшие на гвоздике. Было без двадцати пяти семь. Глаза его скользнули по крышке, и он замер. На внутренней стороне было выгравировано «Ванновский завод». Петя машинально щелкнул крышкой. На черной вороненой поверхности матово белели три буквы — СВД.

«СВД... Ванновский завод»,— пробормотал Петя. Сомнений не было, это были часы инженера Драницина.

Находка путала. Изобретение. Нападение. Таинственное исчезновение инженера и вдруг эти часы, оказавшиеся у гороховского парикмахера Фечкина. Смутные подозрения овладели Петей.

Надо было начать розыски.

— Хорошие у вас часы, Ягуар Сидорович,— промолвил он, еле сдерживая волнение.— Где это вы такие достали?

— Часы? Да, часы хорошие. Я их у Федора Кузьмича выменял. Хорошие часы.

Петя еще что-то сказал и вышел из комнаты. По дороге на собрание он забежал на почту и узнал адрес Федора Кузьмича.

Утром в выходной день Петя пошел на квартиру к тете Паше.

— Можно?— постучал он.

— Войдите.

— Здесь живет Федор Кузьмич?

— Здесь. А вам что нужно,— суховато спросила тетя Паша, вытаскивая из печи горшок.

— Здесь,— нерешительно, словно сомневаясь в правильности своих слов, подтвердил мужчина, стоявший около небольшого зеркала и усердно мазавший макушку жидкостью из объемистого флакона.

— Мне бы с вами нужно поговорить,— промолвил Петя.

— Пожалуйста,— также нерешительно промямлил мужчина, робко поглядывая на жену.

— Говорите,— ответила тетя Паша.

Петя присел на табурет и, обращаясь к Федору Кузьмичу, спросил:

— Скажите, пожалуйста, я слышал, что вы нынче променяли парикмахеру Ягуару Сидоровичу часы. Так вот я и хотел...

Петя не кончил.

Федор Кузьмич смертельно побледнел. Флакон выскользнул из его рук и, жалобно прозвев, разбился.

— Часы... — прошипела тетя Паша. — Часы меняете. А интересно бы знать, лысый вы идиот, откуда у вас эти часы? — И она угрожающе занесла ухват над головой мужа.

Петя не дождался окончания семейной сцены и выбежал на двор.

Узел затягивался.

ГЛАВА XII

ИСПЫТАНИЯ БОБРИКОВА-ДУЖЕЧКИНА

Утром чай.

Двадцать минут ходьбы до колонии.

Восемь часов суетливой, беспокойной жизни с пестрой компанией бывших беспризорников и правонарушителей. Обед в столовке, опять двадцать минут ходьбы до дома, и долгие пустые вечера. Такова была новая жизнь Бобрикова-Дужечкина.

Когда прошел первый период волнений и хлопот и жизнь кое-как закрипела по новой колее, обрастая вещами, людьми, привычками, Бобриков стал нервничать. Страх все чаще и чаще овладевал им. Ему каждый день казалось, что вот уж сегодня-то его обязательно разоблачат. Долгими вечерами он оцепенело сидел в кресле, прислушиваясь к каждому шороху, настороженно ловил скрип калитки, шаги под окном, стук извозничьих дрожек.

— Это за мной, — шептал он, и холодный пот капельками выступал на висках.

А тут еще Тихон Петрович со своими страхами и подозрениями.

Новый жилец понравился ему и часов в девять вечера он входил в его комнату в нижней рубашке и подтяжках, с газетой в руках — весь серый от еле сдерживаемого ужаса.

— Читали, — спрашивал он, шурша газетой. И, не дождавшись ответа, начинал сообщать последние новости из отдела происшествий: убийства, растраты, дерзкие нападения, кошмарные успехи техники — сыпались как из рога изобилия. Оба бледнели и каждый боялся сказать свое затаенное.

Бобриков похудел, он плохо спал по ночам. Часто просыпался и кричал не своим голосом.

Сердобольная Агафья Ефимовна только ахала да вздыхала, глядя на нового жильца.

— Жениться бы вам надо, — говорил она. — Цель в жизни приобрести.

Бобриков через силу отшучивался.

— Или замужней женщине счастье составить, — недвусмысленно продолжала Агафья Ефимовна, — скучно ведь нам бабам за одним человеком век коротать, — и она глядела на него обещающе, но Бобрикову было не до этого.

За поиски модели он еще не принимался. Надо было разыскать тетю Пашу, но сделать это следовало со всей осторожностью.

В один из выходных дней Бобриков отправился на базар. У лотков стояли молочницы, а поодаль, над горами ранних огурцов и еще не совсем зрелых помидор монументально возвышались торговки.

Бобриков задумчиво шел по рядам. Остановился около одной из торговых, взял в руки помидор и спросил, что стоит. Поднял глаза и обомлел. Перед ним стояла тетя Паша.

Несмотря на измененную наружность тетя Паша мигом узнала кудлатого пассажира.

Вытянув руки, словно защищая гору овощей, она не своим голосом завизжала:

— Ой, ратуйте добрые люди, грабят!

Мостки загудели, публика бросилась к месту происшествия. Где-то тревожно заливался свисток.

Бобриков побледнел и, быстро надвинув кепку, нырнул в толпу.

Пока тетя Паша бестолково объясняла собравшимся, что ее хотели вторично обокрасть, но ничего не взяли, пока милиционер гнался за двумя ни в чем неповинными мальчуганами, он уже был далеко от базара.

Итак, было ясно, что тетя Паша была здесь, а следовательно, и здесь был чемодан. Но от этого легче не было. Показываться ей на глаза после сегодняшнего происшествия было бы безумием. Нужно было найти какой-то новый подход, поговорить с ней наедине, соблазнить ее сотней другой и взять модель.

Вечером с Бобриковым было нехорошо и Агафья Ефимовна поила его ромашковым настоем.

А Тихон Петрович развлекал сообщениями о последних уголовных деяниях.

С записной книжкой инженера Бобриков никогда не расставался. Даже на работу он носил ее в портфеле. И как раз это явилось причиной второго испытания несчастного кассира.

Ребята заметили, что Бобриков не расстается с портфелем, что он носит его даже

в уборную. И они решили во что бы то ни стало похитить портфель.

Шел урок. Бобриков по своему обыкновению ходил по классу и диктовал, изредка взглядывая на портфель, лежащий на кафедре.

Когда он находился против двери, в коридоре раздался дикий вопль.

— Го-о-орим! По-о-жар!

Ребята повскакали с парт и бросились к двери. Бобриков метнулся было к кафедре, но ребячий поток легко вынес его в открытую дверь и понес по коридору.

Выскочили учащиеся из других классов. Заведующий бестолково кидался от группы к группе. Сторож Авдеч с ведром воды и шваброй стоял на площадке.

Тревога оказалась напрасной. Нехотя разошлись по классам. Когда Бобриков вошел в свой класс, то первым делом бросился к кафедре. Портфеля не было. А вместе с ним исчезла и записная книжка инженера. Бобриков побледнел, покачнулся и упал без сознания.

Весть о краже дошла до зава. Весь персонал был поднят на ноги. Бобриков лежал в учительской с компрессом на голове.

Помощник зава Иона Никитич, вспотевший и запыхавшийся, обыскивал здание. Поиски привели его на чердак. В углу маячили какие-то фигуры и скупо светил глазок карманного электрического фонаря. Иона Никитич подкрался неслышно. Он явственно различил трех ребят. Около них валялся портфель, они разочарованно рылись в нем и только один из них с напряженным вниманием читал небольшую записную книжечку в коричневой обложке.

— Встать! — неестественно тонким голосом крикнул Иона Никитич. — Грабители, за мной.

Мальчуган бросил книжку на пол, спокойно поднялся и шепнул компаньонам:

— Засыпались, не бузить.

Книги и тетради были водворены в портфель, и похитители отправились вниз.

— Вот ваше имущество, — сказал Иона Никитич, передавая Бобрикову портфель.

Бобриков судорожно схватил его, открыл, убедившись, что книжечка лежит на месте, облегченно вздохнул.

— Спасибо вам, — сказал он, крепко пожав руку Ионы Никитича.

— Не за что. А хулиганов я в карцер отправил.

Таково было второе испытание Бобрикова-Дужечкина.

В этот же вечер сторож Авдеч сообщил

заведующему, что главный виновник похищения беспризорник Васька по прозвищу Клещ скрылся из карцера неизвестно куда.

Ночь. На углу стоит вертушка для объявлений. И вдруг... что это?! Что это такое? Она медленно поворачивается, явственно шуршит ключьями афиш, объединенными гороховскими козлами.

Испуганная обывательница взвизгнула и пустилась бежать прочь. А из вертушки вылез Васька Клещ и, оглядевшись, побежал на телеграф.

Через минуту изумленная телеграфистка принимала от беспризорника телеграмму до востребования в Москву.

На бланк было выведено: «Папа рад. Наконец отыскал тебя. Жду. Приезжай. Выручай. Васька Клещ».

— Меня, значит, — важно объяснил он телеграфистке. — Надоело беспризорничать.

Телеграфистка улыбнулась и передала телеграмму на аппарат.

ГЛАВА XIII

ОПЯТЬ ЧЕЛОВЕК В СЕРОМ ПАЛЬТО

На календаре начальника станции значилось семнадцатое июля. В пять вечера приходил скорый из Москвы.

Вот он, уже около. Остановился. На станцию вышел хорошо одетый мужчина, плотный, выше среднего роста. В толстом дорогом пальто, в мягкой шляпе, из-под которой смотрело бледное, точно из фарфора лицо, обрамленное темной бородкой и усами, и глаза под полуопущенными веками.

Он взял извозчика и велел везти себя в гостиницу. Гостиница в городе была одна и носила название «Радость пролетария».

Извозчик, крикая и подстегивая клячу, кое-как довез своего седока. В небольшой прихожей спал швейцар в грязной рубахе. Приезжий пробовал разбудить его, но безрезультатно. Посетитель махнул рукой и прошел в комнату с надписью «Контора».

Около стола сидела худая, выцветшая особа, видимо, женского пола. Перед ней стояла пара молодых людей — муж и жена. У обоих был растерянный и жалкий вид.

— Я не могу вас пустить в один номер, — скрипела особа. — Не могу. У нас советская гостиница, а не буржуазно-капиталистические номера. Разврата мы не поощряем.

— Но мы муж и жена

— Мне это неизвестно. В паспорте у вас не отмечено. В загсе по вашему собственному, чистосердечному признанию вы не были. Фамилии у вас разные.

— Ну дайте нам два номера.

— И желательно смежные,— нерешительно добавил мужчина.

— У нас только один номер,— проговорила особа, уничтожающе посмотрев на мужчину.

— Но что же нам делать,— пробормотал муж.

— Сходите в загс,— проскрипела дежурная,— и двери «Радости пролетария» для вас открыты.

Молодые люди понуро вышли из комнаты.

— Я вас слушаю,— обратилась дежурная к вновь вошедшему.

— Мне нужен номер,— проговорил вновь приехавший.

— Предоставьте справку из бани, что вы прошли санобработку, и я вас пушу.

— Но у меня ее нет.

— Ничего не могу поделать. Мы советская гостиница, а не буржуазные номера. Тифа мы не поощряем.

— Но что же мне делать?

Особа подумала и сказала:

— Разбудите коридорного, дайте ему рубль и он достанет вам справку. Он моется у нас за всех приезжающих.

Приезжий так и сделал.

Коридорный весь какой-то выцветший, с мертвенно-белыми, как у прачки, руками от постоянного мытья в дезобане, дал ему справку, и через час приехавший уже расположился в небольшом номере, оклеенном грязными обоями. Закрыв дверь, он вытащил из бумажника смятую телеграмму и прочел:

«Папа рад. Наконец отыскал тебя. Жду. Приезжай. Выручай. Васька Клещ».

«Странно»,— думал он. Но шифр был понятен. Читая телеграмму он отбрасывал первую букву и соединял два первых слова. Получалось «аппарат наконец отыскал».

Наутро приезжий зашел на почту, получил письмо до востребования, прочел его и пошел осматривать город.

Одной из городских достопримечательностей было кладбище. На нем было три могилы известных революционеров, сосланных некогда в Горохов. Черные чугунные памятники стояли криво. По цоколю полз лишайник, и ветер задумчиво шумел ветвями плакучих берез. Памятники и кресты вокруг были испещрены надписями. «О Павел, Павел, зачем ты меня оставил. Твоя до гроба неутешная вдова».

Человек задумчиво бродил по дорожке. Подойдя к огромному черному памятнику он наклонился и прочел: «Твоя унылая жена тебе верна, верна, верна». Кто-то карандашом подписал: «Ну и дура». А рядом, другим почерком было выведено: «В верность до гроба не верю».

Человек прочел надпись, вынул письмо, мельком взглянул на него и свистнул.

Немедленно из-за памятника выскочил мальчуган лет четырнадцати, это был Васька Клещ.

— Семен Семенович,— проговорил он, широко улыбаясь.— Приехали.

— Как видишь. Рассказывай.

Через час человек в пальто медленно шел по городу.

Придя в номер он сел к столу и задумался. Наконец в голове его сложился план. «Начну»,— пробормотал он, выключая свет. Через минуту он вышел. Был вечер.

С календаря смотрело семнадцатое июля.

ГЛАВА XIV

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ БОБРИКОВА-ДУЖЕЧКИНА

Случай с кражей портфеля окончательно выбил из колеи Бобрикова. Везде и всюду он подозревал ловушку. Страх нарастал. Он почти переходил в манию преследования. Бобриков осунулся. Движения его стали нервные и порывистые. Он страстно жалел о прошлом и ему хотелось опять сидеть в стеклянной будке кассы, шуршать крыльями ведомостей и говорить: «Распишитесь, копейка за мной».

Но прошлое ушло. Возврата к нему не было.

Бобриков разучился мечтать и только иногда, в редкие минуты успокоенности в сознании билось: «миллион... Париж... женщины...»

Как увидиться с тетей Пашей, увидиться так, чтобы никто не знал, чтобы не было никаких подозрений. На этот вопрос Бобриков не умел ответить.

Если описать ее приметы и спросить где она живет...

Но ведь это рискованно. А вдруг заинтересуются — зачем да почему, сообщат ей и пойдут писать губерния. Если проследить за ней и зайти на дом... Но кто поручится, что дома его не задержат и не отправят в угрозыск...

При слове «угрозыск» Бобриков буквально обливался холодным потом.

Нет, решительно он попал в тупик.

Вечером семнадцатого июля Бобриков сидел дома. На завтра был выходной день.

Он прикрыл дверь и достал из портфеля записную книжечку Драницина.

Который раз он читал короткие записи и всегда глухая тоска о иной жизни, могучее дыхание какой-то огромной чужой тайны обжигало мозг. Так было и сегодня.

— Можно к вам,— раздалось за дверью, и на пороге, не дождавшись ответа, показался Тихон Петрович.

Бобриков поспешно закрыл книжечку и положил сверху газету.

— Как живете?— спросил Тихон Петрович, усаживаясь возле стола.— А слышали новость? В Москве, говорят, открыли убийство, и представьте себе, что преступник фотограф. Не думаете ли вы, что после такого факта всех фотографов возьмут, так сказать, под особое подозрение? А еще слышал я,— продолжал он,— что едет к нам комитет из трех инженеров, на предмет уничтожения нашего города и построения нового.

И Тихон Петрович начал нести несусветную околесицу. Все в ней сводилось к одному, что теперь-то уж обязательно доберутся, а город сокрушат.

Бобрикову было как-то не по себе. Он прошелся по комнате раз, другой и остановился около постели.

— А, у вас газетка свеженькая,— промолвил Тихон Петрович. И прежде чем Бобриков успел что-либо сообразить, фотограф взял газету.

Лампа льет ровный свет. На черной клеенке стола лежит записная книжечка в коричневой обложке, на корочке отчетливо видны три золотые буквы СВД.

— А-а-а-а,— раздался вопль,— СВД,— и Тихон Петрович почти без чувств повалился набок.

Нервы Бобрикова не выдержали. Итак, все открыто, значит, фотографу все известно.

— Виноват, виноват. Не погубите, Тихон Петрович, во всем покаюсь.

— Итак это вы... адский снаряд... машину эту вы... — лепетал Кусачкин-Сковорода.

— Я-я-я... — в каком-то иступлении твердил Бобриков. — Вяжите меня, судите, я преступник, я-я-я...

Тихон Петрович неожиданно дико взвизнул и опрометью бросился из комнаты...

Бобриков посмотрел ему вслед и вдруг захохотал.

— Ха-ха-ха-ха!

Все перепуталось в его голове, не было ни записной книжки, ни таинственной машины,

ни прошлого; не было его Бобрикова-Дужечкина. Остался богатый человек, миллионер. Его ждали в Париже. Он слышал гул мирового города. На углу танцевала огненная реклама, как в картине «Мулен Руж». Бесшумно неслись авто. Портые отелей услужливо открывали двери. Прекрасные обнаженные женщины протягивали руки.

«Надо же торопиться», — подумал Бобриков. «Надо то-ро-питься», — повторил он. Быстро надел пальто, надвинул кепку и вышел из дома. Зашел на телеграф, спросил бланк и уверенно написал текст:

«Всем, всем, всем. Еду в Париж. Встречайте. Бобриков».

Телеграфистка посмотрела недоумевающе и спросила адрес. Бобриков подумал, величественно бросил на тарелочку два червонца и сказал:

— Адреса не надо.

А Тихон Петрович, сам не свой, бежал в уголовный розыск. Теперь все открыто. Преступник жил в его квартире. Сам он, Тихон Петрович Кусачкин-Сковорода, скрывал следы, закапывая машину, теперь все было ясно, спасения не было. Оставалось только одно — чистосердечным раскаянием добиться списхождения. В полубеспамятстве Тихон Петрович добежал до угрозыска и, подняв руки вверх, попросил милиционера немедленно арестовать его. Милиционер ахнул и провел его к дежурному.

На вопрос дежурного, что случилось, Тихон Петрович понес такую чепуху, что дежурный махнул рукой и, позвав милиционера, велел ему отвести фотографа в камеру — пусть де он до послезавтрашнего дня (следующий день был выходной) отсидится и протрезвеет.

А через час на станции железной дороги приключился невероятный случай. К окошечку кассы подошел небольшого роста щуплый человек. Положив на стойку толстую пачку денег, он сказал:

— Дайте билет до Парижа в пудмановском вагоне.

Кассир выпучил глаза и трижды переспросил.

Приезжий, явно нервничая, подтвердил свои требования.

Кассир объяснил, что до такого места билеты не продаются и даже неизвестно в каком направлении нужно садиться.

Незнакомец начал кричать, топал ногами, требовал начальника станции. Собралась толпа, подошел милиционер, наконец догадались, что перед ними душевнобольной. Случайно оказавшийся врач мягко взял Бобрикова (это

был он) за руку и сказал:— Едемте в Париж вместе, я давно собираюсь туда.

— Едемте,— обрадовался Бобриков,— но как? Билетов же не дают.

— Да на извозчике,— промолвил врач.

— Верно ведь,— радостно хлопнул себя Бобриков по лбу.— И как это я не догадался.

Подъехал извозчик, больного усадили. Бобриков ехал, раскачиваясь из стороны в сторону, и пел во весь голос:

Живу теперь в Париже —
Красивый и бесстыжий,
Ласкаю женщин рыжих...

Его везли в сумасшедший дом.

Так закончились испытания Бобрикова.

В этот же вечер человек в пальто постучался в двери квартиры фотографа.

— Кто здесь,— послышался расстроенный голос Агафьи Ефимовны.

— Скажите, товарищ Дужечкин здесь живет?

— Жил,— убито произнесла Агафья Ефимовна.— Жил и нет его.

— Умер он что-ли?— спросил человек.

— Хуже, скрылся в неизвестном направлении.

Агафья Ефимовна всхлипнула и закрыла дверь.

— А муж ваш, он, может быть, что-нибудь знает?— спросил незнакомец.

— И он скрылся,— проохала Агафья Ефимовна.— Совсем я одинокая женщина.

Звякнул крючок. Человек пожал плечами и пошел восвояси.

След был потерян.

А в это время инженер Драницин ходил взад и вперед в своей комнатухе, обитой матрацами.

«Что же дальше?»— думал он. Ясно, что без конца так продолжаться не может. Когда эти люди убедятся окончательно, что он не изменит своего решения, его убьют. Инженер догадывался, что модель утеряна. И мысль, что враги просчитались, несказанно радовала.

А как хотелось жить... Все чаще он думал о Тане, и в памяти неизменно возникал тонкий девичий профиль, каштановые пряди волос и веселый задорный смех.

— Да, да... Она в Москве,— бормотал инженер и мелькала мысль,— хорошо бы известить ее, но как.

И вот однажды в подкладке старого изношенного пиджака он нашел завалившуюся

открытку. Она показалась ему бесценным сокровищем. Драницин вспомнил, что перед отъездом из Энска собирался отправить открытку, написал только адрес, но письма не отправил. Он еще чуть не забыл ее в кармане пиджака, отданного агенту.

И вот теперь он радостно ощущал в руке как помятый кусочек плотной бумаги.

Поздней лунной ночью он, осторожно приутившись в углу, наскреб немного сажки из печной отдушины, смешал ее со слюной и бережно, словно делал тончайшую работу, выводит корявые буквы. «Таня,— писал он,— где я — не знаю, сообщки куда надо. Могут убить. Жду. Сергей».

Но как отправить открытку? Инженер придумывал один способ за другим.

Как-то ночью над поселком пронеслась буря. Инженер проснулся от звона разбитого стекла. Ветер свободно гулял по комнате. Неожиданная мысль мелькнула в сознании. Инженер взял открытку и подошел к окну. Он с трудом просунул руки в отверстие между железными полосами и разжал пальцы.

Над лесом неслись редкие облака и меж них ныряла бледная, словно напуганная кем-то луна.

Драницин видел, как ветер высоко поднял кусочек бумаги и, медленно покачивая, понес его в сторону от дома.

«Авось»,— улыбнулся инженер. Надежда была слабой.

На другое утро старуха нянька гуляла с внучкой старого профессора Игрового, жившего на даче в Ключанске. Девочка бежала вперед и собирала в маленький кулачок пеструю гальку.

— Тише ты, егоза, тише,— ворчала старуха.

Девочка взбежала на пригорок, раскинувшийся недалеко от угрюмого дома, в верхнем окне которого ясно виднелась решетка.

Она увидела муравейник. Внимание ее привлекла помятая открытка, густо облепленная муравьями.

— В почту играют,— решила девочка.— Я тоже хочу в почту играть.

Разогнав палочкой муравьев, она забрала открытку и кубарем скатилась вниз.

— Няня, няня, давай играть в почту.

Задремавшая было старуха взглянула на солнце. Оно стояло высоко.

— Будет играть-то, кушать надо, пойдем.

Девочка нехотя пошла по тропинке, сжимая в ручонке открытку с надписью: «Москва, Варварка»...

Около сельсовета висел почтовый ящик.

— Няня,— закричала девочка,— я хочу письмо спустить.

— Фу ты, непоседа, подберет старую бумажонку и возится.

— А я хочу, хочу, хочу,— капризничала девочка.

— Ну, ступай, коли хочешь,— и нянька приподняла девочку.

Открытка инженера Драницина скользнула в темную щелку почтового ящика.

ГЛАВА XV

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Наступило долгожданное 18 июля. Накануне из краевого центра приехал известный археолог Чубукеев. Был он мрачен. Злые языки утверждали, что задержался Чубукеев в крае потому, что после визита в одно из учреждений его направили в психиатрическую лечебницу на испытание и он шесть дней просидел в отделении для тихо помешанных. С утра по городу шли разговоры. Местная газета поместила объявление. Председатель общества любителей археологии договорился с администрацией кино «Угар» о предоставлении зала. Сеанс был отменен.

Утром в гостинице «Радость пролетария» в номер человека в пальто половой принес самовар. Жилец был явно не в духе. Он хмурился, нервничал.

До него дошли слухи о добровольном самоаресте фотографа и сумасшествии Бобрикова. Это было подозрительно.

«Надо ехать,— думал он,— жить здесь дальше опасно».

— Скажите,— спросил он полового,— когда идет поезд на Москву?

— Сегодня-с, в семь двадцать пять.

— Возьмите мне билет,— проговорил человек, доставая бумажник.

— Хорошо-с. А только зря вы сегодня уезжаете. Такой, можно сказать, день.

— А что?

— Да ведь сегодня же лекция у нас, Ягуара Сидоровича. Парикмахера, значит, местного.

— О чем?

Половой прикрыл дверь и произнес приглушенно:

— Говорят, раскопал и нашел огромную машину неизвестного назначения.

Человек судорожно сжал бумажник.

На его расспросы половой бестолково рассказал историю скандала между археолога-

ми и, краснея и не решаясь, поведал, что кум его слесарь, под страшной клятвой сообщил ему, что он видел эту машину. Что вся она из какого-то странного металла и вставлено в нее маленькое зеркальце. По мнению кума, это паяльник чудовищной конструкции.

Жилец вдруг как-то просветлел. Картина становилась ясной.

Дав половому рубль, он позабыл о чае, вышел на улицу и зашагал по направлению к парикмахеру.

В голове его созрел план. Он решил купить модель. Вряд ли этот дурак устоит против тысячи рублей.

Но подходя к двери, он увидел, что она закрыта и на ней висит записка:

«Заперто. По случаю экстренной подготовки к научной лекции. С почтением Я. С. Перманент (б. Фечкин)».

Слово «научной» было подчеркнуто жирной линией.

— О дьявол,— выругался человек. И подошел к воротам. Но они были закрыты. Тогда он стал настойчиво стучать. Внутри было тихо, словно все вымерло. Наконец послышались шаги.

— Кто там?

— Мне бы товарища Перманент по важному делу.

— Ягуар Сидорович занят и никого не принимает. Зайдите завтра.

— Да позовите вы его самого,— закричал незнакомец.

Калитка полуоткрылась, и перед пришедшим выросла фигура Петьки. Он осмотрел незнакомца и снова захлопнул калитку.

Через минуту послышались шаги и голос Ягуара спросил:

— Что вам угодно?

— Да откройте вы,— дернул калитку посетитель.

— Не могу-с, опасаясь покушения. Говорите так.

— Тьфу, черт,— выругался посетитель.— Послушайте,— начал он. Я хотел бы купить у вас вашу находку. Сколько вы за нее хотите. Тысячу?

— Что!..— раздался в ответ разгневанный голос Ягуара.— Убирайтесь отсюда, чубукеевский агент, знайте, что я не торгую своей научной репутацией. Вон, вон!

— Пять тысяч,— крикнул человек.

— Хоть сто пять, уйдите, иначе я спущу на вас собаку.

За калиткой звякнула цепь и послышалось сердитое рычание. Человек крепко выругался, плюнул и пошел обратно.

«Что же делать»,— думал он, останавливаясь около мальчишки, торговавшего газетами.

В мальчишке не трудно было узнать Ваську. Он приоделся и выглядел прилично.

У незнакомца быстро созрел план.

— Сегодня к семи приходи в кино. Узнай, где проводка. Услышишь тревожный свисток, режь провод,— проговорил он, покупая газету,— а потом на вокзал, едем в десять часов почтовым.

Взяв билет на городской станции, человек пошел домой и лег спать. Надо было основательно отдохнуть. Предстоял тяжелый вечер.

Стрелка часов двигалась к шести.

— Ягуар, тебе пора собираться. А я за Федором Кузьмичем сбегая,— крикнула Нина Петровна. Ягуар Сидорович отложил перо, пробежал последний раз записки, погладил любовно модель, стоящую на табурете, и пошел в спальню переодеваться.

Сидя на постели и напяливая полосатые брюки, он по рассеянности сунул в одну штанину обе ноги. Крак,— и штанина лопнула по шву четверти на две.

— Нина,— крикнул Ягуар. Но Нина Петровна уже ушла.

Отыскав иглу и нитки, Ягуар принялся за починку. Часы показывали четверть седьмого. А модель и бумаги еще не были уложены.

— Павел Январьевич,— крикнул Ягуар Павла Трепещущего, но на крик в дверях показалась вихрастая голова Пети.

— Он спит,— проговорил Петя,— а вам что-нибудь нужно, Ягуар Сидорович?

— Выручите меня, Петя. Пойдите в кабинет и уложите, пожалуйста, аппарат, только поосторожней; у меня брюки лопнули. И бумаги подберите.

— Есть,— крикнул Петя и бросился в парикмахерский зал.

Заглянув туда, Петя разинул рот.

На табурете, тускло поблескивая медью и никелем деталей, стоял странной конструкции аппарат. Сложная система зеркал замыкалась небольшим увеличительным стеклом. Петя вспомнил рассказы Жени.

«Неужели»,— мелькнуло в его голове. Он подбежал к аппарату. Заглянул в небольшое зеркальце, в стекле отражалась знакомая комната, уставленная зеркалами, стеклянная дверь с колокольчиком и тяжелой двадцатипятифунтовой гирей. Петя повернул стекло и тотчас же в зеркале отчетливо отразилась керосинка. На ней Ягуар Сидорович раскалял щипцы. Петя смотрел как зачарованный.

Вот он тронул какой-то рычаг. Раздался еле слышный треск, зеркальце помутнело и изображение керосинки исчезло.

Взглянув на столик, Петя даже побледнел от неожиданности. Керосинка стояла накренившись набок, резервуар ее был расколот, словно кто-то аккуратно разрезал ее.

Мысли бежали быстро, быстро и сердце глухо екало.

— Торопитесь,— раздался голос Ягуара Сидоровича,— сейчас выходить надо.

Петя испуганно оглянулся, лихорадочно захлопнул чемодан, затянул его ремнями потуже, сложил бумаги в портфель и подтащил чемодан к двери.

— Готово,— проговорил он слегка дрожащим от волнения голосом.

— Спасибо вам, Петя,— ответил Ягуар.— Я ухожу и очень прошу вас подомовничать. А то Павел Январьевич спит, а Нина Петровна идет со мной.

Ягуар Сидорович взял чемодан и портфель и вышел на двор.

«Что же теперь делать?»— думал Петя.— Как быть? Упустить модель? Нет, это было бы невозможно. Надо что-то предпринять». Петя быстро собрался.

— Куда это вы?— спросил его проснувшийся Павел Трепещущий.

— Да в кино хочу сходить, лекцию послушать.

— Ну идите,— и поэт, повернувшись к Пете спиной, снова захрапел.

За воротами на скамейке Ягуара Сидоровича ожидали Федор Кузьмич, Нина Петровна, слесарь и милиционер, носивший странную фамилию Гусь.

Опасаясь нападения со стороны известного археолога Чубукеева, Ягуар Сидорович попросил приятелей сопроводить его. Федор Кузьмич и слесарь согласились охотно. Милиционер Гусь немного поломался, но Ягуар Сидорович пообещал брить его бесплатно в течение трех лет и он сидел довольный, похрустывая в кармане письменным обязательством, выданным Перманентом (Фечкиным).

— Идемте,— торжественно произнес Ягуар Сидорович.

Нина Петровна взяла портфель и пошла впереди. По бокам шли Федор Кузьмич и слесарь. Позади, держась за кобуру, следовал Гусь.

Посередине же, судорожно сжимая ручку чемоданчика и испуганно озираясь по сторонам, не шел, а двигался Ягуарий Сидорович.

На одной из пустынных улиц коротке встретился с известным краеведом Чубукеевым. Он стоял вооруженный толстой дубин-

кой. Увидев охрану, Чубукеев побледнел и, скрежеща зубами, швырнул дубинку в палисадник.

Ягуар Сидорович торжествующе усмехнулся и показал Чубукееву язык. Процессия продолжалась дальше.

Около здания кино творилось нечто невероятное. Публика валила валом и администратор, сидя в кинобудке, чуть не плакал от страха. Ему казалось, что общественность разнесет вдребезги утлое здание «Угара».

Ягуар Сидорович прошел задним ходом и тотчас же был проведен в особую комнату, около которой, все еще держась за кобуру, встал Гусь.

Наконец звонок председателя возвестил о начале заседания.

На возвышении, где стоял большой стол, покрытый красным сукном, сидели действительные члены общества и члены соревнователи. Справа стоял небольшой столик для докладчика, а за ним, обхватив обеими руками чемодан, восседал Ягуарий Сидорович. Позади него с выражением непреклонной решимости стоял Гусь. Слева был второй стол, за ним расположились оппоненты Ягуария Сидоровича во главе с известным археологом Чубукеевым.

Они громко усмехались, пожимали плечами, делали безразличные физиономии, но чувствовалось, что их гнетет тревога.

Когда водворилась тишина, председатель — древний старичок — поднялся и, поправив очки, дрожащим от волнения голосом сказал:

— Трудящиеся, двести девяносто шестое собрание Гороховского общества археологии и ископаемых древностей считаю открытым.

Сегодня наш уважаемый сочлен Ягуарий Сидорович Перманент, бывший Фечкин, доложит нам результаты своих ценнейших изысканий в связи со сделанной им находкой на Угорских огородах. Предоставим ему слово.

— Просим, просим, — закричали с галерки.

Ягуар Сидорович привстал и прочувствованно приложил одну руку к сердцу, другая же по-прежнему судорожно сжимала ручку чемодана. Шум утих. И Перманент начал.

— Уважаемые сочлены, сограждане и сограждане!

Сделав небольшую паузу и отпив глоток воды, Ягуар Сидорович галантно поправил галстук и продолжал.

Он говорил о наших предках, о первобытных временах, полемизировал с теми якобы учеными, которые думают представить первобытное общество как общество, стоящее на низкой ступени развития.

— Эти невежественные теории, — гремел он, — поддерживаются некоторыми лжеучеными, имеющими дерзость состоять членами нашего прославленного общества. — При этом он сделал жест в сторону Чубукеева.

— Прошу не намекать, — завопил тот.

Но Ягуар Сидорович не смущаясь продолжал.

— Как ничтожны доводы Чубукеева и ему подобных, как никчемны их взгляды в свете о подлинной науке, об этом говорит моя находка.

— Чубукеев, — кричал Ягуар, — смеет утверждать, что в первобытном обществе не знали искусства обработки металлов, он имел дерзость утверждать, что даже брились там каменной мотыгой. И вот, сочлены, я нашел... — Ягуар Сидорович, как опытный артист, сделал паузу. Зал замер. — Я нашел, — неестественно высоким голосом продолжал он, — аппарат. Высококвалифицированный консультант наш Аким Федулович, — он сделал жест в сторону слесаря, — установил, что это паяльная машина такой чудовищной конструкции, которой не знает современная цивилизация.

— Не может быть, — прохрипел Чубукеев. — Он лжет.

— Фальшивка, — кричала его жена, сухопарая женщина с лошадиной физиономией. — Определенная фальшивка.

О как ожидал Ягуар этой минуты! Широким жестом положил он руки на крышку чемодана.

— Вам нужны факты? — вскричал он...

Человек в сером пальто, сидевший в ложе, поднес к губам маленький свисток.

— Вот факты, — патетически закончил Ягуар.

Крышка чемодана крякнула и на стол, жалобно гремя, вывалилась старая керосинка с разбитым резервуаром, и следом за ней грузно ухнула тяжелая двадцатипятифунтовая гирия.

— Ха-ха-ха-ха, — содрогался зал.

— Ха-х-ах-ах, — гремел Чубукеев и его сторонники.

Ягуар Сидорович беспомощно озирался по сторонам. Ему казалось, что пол колеблется под его ногами. Внезапная мысль осенила его мозг.

— Это подвох, — закричал он. — Это проiski врага моего Чубукеева, он, он, вместе с Петькой украли мою находку. — И он бро-

сил на Чубукеева. Следом за ним кинулись на противников Федор Кузьмич и слесарь и решительным шагом, все еще держась за кобуру, проследовал Гусь. Нина Петровна рыдая была известного краеведа Чубукеева портфелем.

Началась форменная потасовка. Тщетно звонил председатель. В зале стоял невообразимый шум. Дежурный милиционер дал тревожный свисток...

Вася Клещ быстро взмахнул ножом...

...И в ту же минуту всюду погас свет.

Публика, крича и толкаясь, бросилась к выходу.

Человек в пальто опрометью выскочил за дверь, все было ясно — квартирант парикмахера похитил модель.

Было десять минут десятого. Взяв извозчика, человек в пальто помчался на вокзал. — Скажите, — спросил он начальника станции, — не уехал ли со скорым один юноша лет так семнадцати?

— А это парикмахерский квартирант? Как же, как же — уехал. Я ему и билет брал.

Незнакомец позеленел, поднял воротник и нервно зашагал по перрону. Почтовый отходил через сорок минут.

Скорый поезд уносил Петю в Москву. Город остался далеко позади.

Обыватели в домах, обросших палисадничками, скамеечками, ставнями, обсуждали скандальное собрание, кое-где играли по маленькой в преферанс. Известный краевед Чубукеев, потирая ушибленное колено и пряча порванный локоть, весело пировал в кругу друзей. Ягуар Сидорович лежал и слегка постанывал, голова его была обвязана мокрым полотенцем. Подсчитывала дневной барыш тетя Паша. Тихон Петрович Кусачкин-Скородо, сидя в камере угрозыска, терзался, съедаемый смертельным ужасом. Бредил миллионами, Парижем и женщинами сумасшедший Бобриков.

Плыла ночь. Обыватели широко зевали, и вот уже гаснут огни за прикрытыми ставнями. Сон ползет над городом.

И только поэт Павел Трепещущий (псевдоним), выпив шестую рюмку, бормочет, уставясь глазами в сырую неопрятную стену:

— Скучно на этом свете. Скучно.

На болоте квакают лягушки. Но с окраин наступают бодро гудящие лесопилки и вытягивает каменный хобот элеватор. Додремывает свой век глухая провинция, идет год 1927-й.

Скорый поезд уносит Петю в Москву. Петя лежит на верхней полке. Он не может уснуть. Руки его обнимают драгоценный чемодан, а в нем, тускло поблескивая никелем и медью деталей, лежит модель инженера Драницина.

ГЛАВА XVI (последняя)

АВТОР ПЕРЕСТАЕТ ОБМАНЫВАТЬ ЧИТАТЕЛЯ

— Таня, вам открытка, — проговорила соседка, подавая только что пришедшей девушке помятый кусочек картона. Таня небрежно взяла его и прошла в комнату. Прочитав, она беспомощно опустила на кровать. Руки и ноги отказывались служить. В голове у нее шумело.

Но где он, как узнать?

«Штемпель», — вспомнила она и, быстро подбежав к столику, взяла открытку. Над маркой отчетливо виднелось «станция Ключанская».

«Что же делать?» — думала Таня. Темнело. В окнах то и дело вспыхивали голубые зарницы трамвайных искр. Город шумел разноголосым вечерним гулом.

«Пойду в ГПУ», — решила Таня и стала надевать берет.

— Татьяна Андреевна, там вас спрашивают.

Таня недовольно поморщилась и зажгла свет.

— Войдите.

Дверь распахнулась, на пороге стоял Петя.

Тане была неприятна встреча с Петей. После его письма о Драницине остался нехороший осадок.

Петя поставил чемодан, подошел к Тане и сказал:

— Прости, я дурак, и большой дурак.

Таня усмехнулась:

— Что это, самокритика?

— Не шути, не надо, — с какой-то болью произнес Петя. — Слушай! — И он рассказал все, что произошло в последние месяцы.

Таня слушала внимательно, чуть наклонив голову набок, и когда он кончил, без слов протянула ему открытку.

— Ого, — сказал Петя, прочитав письмо. — Надо действовать.

— Я собралась в ГПУ.

— Идем.

Они вышли на улицу.

Человек в мягкой шляпе и с бледным, словно из фарфора лицом ехал с вокзала в гостиницу. Такси пересекало Лубянскую площадь. Человек сидел нахмурившись и пожевывал мундштук потухшей папиросы. Вдруг в ярком свете прожекторов он отчетливо увидел знакомую фигуру Пети.

Он шел с какой-то девушкой, смешно размахивая одной рукой и крепко сжимая в другой ручку небольшого чемодана.

— Это он,— крикнул человек.— Остановитесь!

Шофер оглянулся и остановил машину.

Человек выскочил из машины и, рискуя быть задавленным, бежал наискось, ловко лавируя между несущимися автомобилями. Уже заливался трескучий свисток милиционера и рука в белой перчатке доставала квитанционную книжку. Человек не слышал свистка. Юноша и девушка подходили к зданию ГПУ.

«Не успеть»,— пробормотал человек, и в ту же минуту тяжелые двери ГПУ закрылись за вошедшими.

— С вас штраф, гражданин,— промолвил милиционер, протягивая квитанцию.

— Получите,— человек машинально протянул рублевку.

— Обрато на вокзал,— сказал он шоферу, влезая в машину.

«Сумасшедший должно быть»,— подумал шофер, берясь за руль.

В Ключанск человек прибыл поздно ночью.

— Ну как дела,— спросил он крепкого коротыша.

— Благополучно,— ответил тот, вынимая изо рта толстую папиросу.

— Телеграммы были?

— Нет.

— Странно.

Не раздеваясь он прошел к инженеру. Драницин лежал.

— Послушайте, Сергей Васильевич,— начал человек,— я обращаюсь к вам в последний раз. Буду откровенен. Модель мы потеряли. Теперь вся надежда на вас. Соглашайтесь.

Инженер молчал.

— Я вам искренне советую не упорствовать. В случае отказа я вынужден буду прибегнуть к крайним мерам.

— Что вы под этим разумеете?— спросил инженер, привстав на койке.

Человек закурил и присел на край постели.

— Поймите, вести вас за границу мы не можем. Оставлять вас здесь нельзя.

Он замолк и задумчиво пустил струю дыма.

— Значит?— полуспросил инженер.

— Значит,— спокойно продолжал человек,— придется вас устранить.

— Ну что ж, устраняйте,— как-то безразлично промолвил Драницин, опускаясь на койку.

— Зря вы, серьезно, зря. Подумайте. Завтра утром я уезжаю совсем, ликвидирую квартиру и...

— Понимаю,— также безразлично протянул инженер,— можете не продолжать.

— Дайте формулы и чертеж, ведь вы же их помните. И соглашайтесь ехать за границу.

Инженер круто повернулся и натянул одеяло на голову.

— Подумайте до завтра,— промолвил человек, прикрывая дверь. Щелкнул ключ.

«Последняя ночь»,— мелькнуло в сознании инженера. И он стиснул зубы.

Коротыш не спал. Он укладывал вещи и жег какие-то бумаги. В это время раздался звонок.

— Кто там?— спросил он.

— Телеграмма.

— Сейчас,— коротыш стал открывать запор.

«То-то Семен Семенович обрадуется,— думал он,— заждался телеграммы».

Приоткрыл дверь, оставив ее на цепочке. Взял телеграмму, пошел расписываться.

В это время что-то сухо щелкнуло, он оглянулся. На двери, перекушенная надвое, болталась цепочка. И пятеро военных с наганами в руках стояли около.

— Руки вверх.

Коротыш покорно выполнил приказание.

— Ведите нас туда, где инженер Драницин.

Коротыш пошел вперед.

— Здесь,— сказал он.

— Дайте ключ.

Двое зашли к Драницину. Остальные пошли обыскивать помещение. Снаружи дом был уже оцеплен.

Человек, приехавший ночью, спал не раздеваясь.

— Вставайте,— тронул его военный.

— Что вам угодно?— вскочил он, но, увидев военного, осекся.

— Я арестован?— спросил он дрожащим голосом.

— Да,— ответил военный,— пойдете.

Вошли в большую комнату, здесь уже собрались все. Инженер Драницин, радостный и взволнованный, говорил о чем-то с Таней.

Дорога уходила вкось. Чуть брезжил рассвет. На востоке дрожала в зеленоватой прохладе крупная звезда. Впереди расстиралось ровное шоссе, обсаженное огромными тополями.

Инженер Драницин жадно вдыхал свежий утренний воздух. Около сидела Таня и было радостно видеть, как ветер треплет ее каштановые волосы. Петя примостился сзади.

Инженер посмотрел на Таню и громко, наперекор ветру, сказал:

— Хорошо.

— Хорошо,— в тон ему ответил Петя.

Голос у Пети звучал бодро и уверенно.

И вдруг сбоку наперерез быстро выехала машина.

— Стоп,— крикнул человек в гетрах и, блеснув огромными очками, прыгнул на землю.

— Стоп,— кричал он, пересекая путь автомобиля.

Шофер дернул тормоз, машина остановилась.

— Ну вот, кончились ваши страдания,— сказал он, подходя к Драницину.

— Кончились,— удовлетворенно улынулся тот.

В это время из-за поворота вынырнула вторая машина и из нее быстро выскочил человек в пальто, с лицом словно из фарфора и полуопущенными веками.

— Сережа,— обратился он к Драницину,— у тебя папиросы есть? Понимаешь, два часа не курил.

— Бери,— протянул портсигар Драницин.— Ну и вид же у тебя, Николай, прямо подлинный злодей. Сними ты хоть усы-то. Ведь съемка кончилась.

— А ведь верно,— сказал тот, кого звали Николаем, и, отцепив усы и бородку, сунул их в карман пальто.

— Наконец-то, ох уж и надоело мне.

Режиссер в гетрах блеснул огромными очками и усмехнулся.

— Ну уж и надоело. Увлекательный фильм получится. Не знаю только, как его назвать.

— А знаете что,— предложил Николай.— Назовите-ка вы его «Модель инженера Драницина».

— А ведь это идея,— подхватил режиссер.— А теперь едем. Спать хочется.

Актеры расселись. Машины рывкнули и взапуски понеслись к городу.

ЛЕТЧИК ФЕДОРОВ

(ВОСПОМИНАНИЯ ПАРТИЗАНА)

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится несколько произведений Ивана Михайловича Новокшенова, которые не включались им в сборники его рассказов и повестей. Среди них особый интерес представляет рассказ «Летчик Федоров» (воспоминания партизана), построенный на документальной основе (ЦГАЛИ, ф. 1116, оп. 1, ед. хр. 28, машинописный текст, лл. 1—13).

Не представляется возможным установить, когда было создано это произведение. Можно лишь предполагать, судя по манере письма, что Новокшенов работал над ним в начале тридцатых годов.

П. М. Морозов,
доцент кафедры литературы
Иркутского пединститута

«Дорогие Шура и Вова!»

Целую вас, мои родные, и прошу прощения за долгое молчание. Это письмо шестое или седьмое по счету. Не знаю, удастся ли отправить его с какой-нибудь оказией, или же, как устаревшее, оно также будет уничтожено.

Хотелось бы, хоть краем глаза увидеть вас обоих, рассказать о том значительном, что изменило всю мою жизнь...

На этом письмо обрывалось.

Залитое кровью, вложенное в помятый конверт, оно не представляло бы интереса, если бы за этими строками не скрывалось человеческой трагедии.

История этого письма такова.

1920 год.

Белогвардейский корпус генерала Каппеля приближался к городу Иркутску, только месяц тому назад занятому красными партизанскими отрядами.

На станции Иркутск стояли еще чехословацкие эшелоны, со стороны Байкала ежедневно подходили к городу японские бронепоезда, и в случае поражения, или даже частичной неудачи в борьбе с каппелевцами, как самый город, так и сидевший в одиночной камере Иркутской тюрьмы пленный Колчак могли оказаться в руках интервентов.

Командование Восточно-Сибирскими партизанскими отрядами решило выдвинуть против каппелевцев сильный заслон.

Местом средоточья партизанских сил выбрана была станция Зима в 240 километрах от Иркутска, куда прибыли 5-й Зиминский кавалерийский отряд, 2-й Ангарский пехотный полк, боевая дружина черемных рабочих, эскадрон перешедших на сторону красных юнкеров и был прислан маленький двухместный разведочный самолет.

Самолет был стар. Отслужив все положенные и неположенные сроки, он употреблялся лишь в самом крайнем случае и поэтому путь от Иркутска до Зимы проделал не по воздуху, а на железнодорожной платформе.

Маленький городок Зима ожил.

Население с тревогой следило за всеми приготовлениями партизанских частей к предстоящей встрече с врагом.

Каппелевцы приближались к Зиме

Необходимо было более точно выяснить обстановку, и после того как посланная к станции Шерагул кавалерийская разведка вернулась ни с чем, летчику Федорову, недавно перешедшему от белых, было приказано приготовить аэроплан к полету.

Лететь в разведку на самолете предложено было мне.

Весть о предстоящем полете аэроплана привлекла на площадь огромное количество жителей Зимы.

С самолетом что-то не ладилось. Летчик нервничал, и когда из толпы стали раздвигаться по его адресу насмешливые голоса, он, подбежав ко мне и еле сдерживая гнев, попросил:

— Товарищ командир! Прикажи-те убрать эту ораву, я не могу так работать.

Вызвав эскадрон кавалерии, я приказал удалить публику, и только после того как площадь опустела, Федоров вновь принялся за работу.

Несколько раз мотор останавливался, и у меня как-то невольно возникла мысль:

«А что, если он остановится там, в воздухе».

Этот полет был первым в моей жизни, и, думая так, естественно, я испытывал некоторое чувство страха.

Захватив с собой восемь ручных гранат, я приказал принести еще пулемет «Шош».

После трехчасовых мучений мотор наконец заработал без перебоев, и Федоров предложил мне занять мое место.

Привязав себя ремнем к очень неудобному сиденью, я на вопросительный взгляд Федорова о моей готовности кивнул, и самолет под крики толпы, сделав разбег, оторвался от земли.

Внизу подо мной, уменьшаясь в размерах, пронеслась площадь и улицы городка, с отчетливо выделявшимися на белом фоне черными кучами людей.

Партизаны смотрят,— подумал я и, взглянув на летчика, только теперь вспомнил его прошлое.— Что мне делать, если он вновь захочет перекинуться к белым?— мелькнула беспокойная мысль.

Белая снежная равнина, перемежавшаяся черными квадратами леса, и маленькие, игрушечные села одно за другим оставались позади.

Самолет летел вдоль линии железной дороги, отчетливо видневшейся на снежном поле.

Я не придавал особого значения замеченным мною около линии железной дороги правильным черным квадратам, считая их за лес, и только после того как Федоров, сделав крутой вираж, стал снижаться, я понял, что четыреугольники — колонны каппелевцев.

Внизу вспыхнули белые облачка. Каппелевцы начали обстрел самолета. Стараясь определить численность каппелевских колонн, я совершенно забыл о гранатах и пулемете и вспомнил о них лишь после того, как самолет, сделав несколько кру-

гов над колоннами противника, набрав высоту, повернул обратно.

Не успели еще скрыться из виду каппелевские чащи, как вдруг мотор сделал несколько перебоев и затих. Шум резко оборвался. Подстреленной птицей самолет полетел вниз.

Трудно сказать, что переживал и думал я в это время,— настолько неожиданно было происшедшее. Страх смерти я не испытывал, но помню, что мне не хватало воздуха. Какой-то комок застрял в горле.

Федоров что-то кричал мне, но я ничего не понимал и только сильный толчок о землю вывел меня из оцепенения.

— Сволочи, попали все-таки,— отвызывая меня от сиденья, ругался Федоров.

— Что случилось?— приходя в себя, спросил я.

— В мотор попали,— объяснил Федоров и, посмотрев печально на самолет, добавил:— Ну, старина, отлетались мы с тобой. Теперь скоро без твоей помощи будем на небе.

Наше положение было не из завидных. Каппелевцы, очевидно, заметили падение самолета и, конечно, попытаются захватить его.

Самолет упал на небольшую поляну в лесу, откуда нельзя было подняться даже при исправном моторе, тем более нечего было думать об этом сейчас, когда он завяз глубоко в снегу.

Оставалось как можно скорее убраться отсюда самим, чтобы не попасть в лапы противника, о чем я и сказал Федорову.

— А с машиной как?— посмотрел он на меня.

— Придется бросить,— не зная, что можно предложить другое, ответил я.

— Ну нет. Я так ее этим сволочам не оставлю!— и не дожидаясь моего согласия, забравшись в кабину, с ожесточением стал ломать приборы.

Меня занимала одна мысль: как поступит Нестеров, когда увидит, что самолет не вернулся? Вышлет он разведку на поиски или нет?¹

У себя в отряде я не оставил на этот счет никаких указаний, и теперь все зависело от сообразительности моего помощника.

Время, между тем, шло.

— Скоро ты?— обратился я к Федорову.

— Сейчас,— откликнулся он и, бросив какую-то часть механизма в кусты, подошел ко мне.

— Я готов, пойдём.

Увязая по пояс в снег, мы с трудом пробирались по лесу и почти

через каждые пять минут садились отдыхать, проклиная тяжелые шубы.

Особенно тяжело было мне. Ручные гранаты и пулемет «Шош» с каждым шагом увеличивали свой вес.

— Да брось ты его!— несколько раз советовал Федоров, указывая на пулемет, но я решил не расставаться с оружием до последней минуты, хотя идти становилось все труднее.

Обливаясь потом и изнемогая от усталости, я на одной из остановок сбросил с себя шубу, а вскоре моему примеру последовал и Федоров.

В кожаных куртках было значительно легче, но как только мы останавливались на отдых, холод сразу же пронизывал все тело.

— С шубами было горе, а без шуб вдвое,— заметил Федоров.— Угробит нас этот собачий холод.

Мороз крепчал, и наши остановки на отдых становились все короче.

Прошло не меньше двух часов, как мы оставили место падения самолета, однако ни дорог, ни тропинок, кроме звериных, не попадалось.

— Неужели заблудились?— проговорил Федоров.

— Черт его знает,— пожал я плечами,— посмотрим что будет дальше.

Федоров нервничал и, с трудом перебиваясь через занесенный снегом валежник, то и дело останавливался, прислушиваясь к каждому звуку.

Чутко вслушивался в каждый шорох и я, но тайга была безмолвна.

— Иван Михайлович,— вдруг обратился ко мне Федоров,— скажи откровенно: у тебя не возникло опасения, что я увезу тебя к белым, когда мы вылетали из Зимы?

— В Зиме нет, а вот когда пролетали над каппелевцами, я подумал об этом,— откровенно сознался я.

— Вот видишь,— как бы обрадовавшись, сказал Федоров,— я знал, что ты так подумаешь и, когда испортился мотор, был уверен, что ты меня застрелишь.

— Но ведь ты же не виноват в порче мотора,— возразил я.

— Конечно, не виноват, но разве я знал, что у тебя в голове, и так мне обидно стало, что я готов был разреваться как ребенок.

— Я ведь старый летчик,— продолжал Федоров.— Летал на германском фронте, был летчиком у Юденича при наступлении на Петроград, и с тех пор все время находился у белых.

— Почему же ты перешел на нашу сторону?— поинтересовался я.

— Случай,— остановился Федоров,— вот видишь эту царапину?— указал он на ярко-красный рубец поперек лица.

Я молча кивнул головой.

— Это след хлыста чешского генерала Гайды.

— Гайды?!— удивился я,— откуда ты его знаешь?

— А я все время находился при штабе чешского командования, и вот после одной удачной разведки был вызван в штаб, где находился и генерал Гайда.

Посмотрев на небо, на выющие среди деревьев следы пройденного нами по снегу пути, Федоров тяжело вздохнул.

— Нужно тебе сказать,— как бы стараясь не упустить мысль, торопливо проговорил он,— я сам из Петрограда. Там родился, вырос... и сейчас там моя жена и сын. Вот уже полтора года, как я не имею о них никаких известий. Живы они или нет — ничего не знаю.

Федоров замолчал и по его влажным глазам было видно, что воспоминание о семье переживается им очень тяжело.

— Да, так вот,— после минутной паузы возвратился он к прерванному рассказу,— после служебных разговоров в штабе меня пригласили на обед, где генерал Гайда стал хвастаться там, что если бы не чехи, то вообще правительства Колчака не существовало, и что чехи помогают России бескорыстно.

Не помню, как это произошло, но, очевидно, под влиянием выпитого вина я склонился к сидевшему рядом иронически улыбавшемуся полковнику и сказал довольно громко, что если бы чехи помогали нам по-настоящему, тогда действительно была бы другая картина, а то они только сидят на станциях и командуют, а что касается бескорыстия, то я, мол, также в этом сомневаюсь. А как раз незадолго до этого я на самолете отвозил золото в штаб чешского командования и, вспомнив это, бухнул все сразу. Получилось по пословице: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

Того, что произошло после моих слов, я никак не ожидал. Полковник встал и с каким-то холуйским подлостью заявил Гайде, что сидящий с ним рядом летчик Федоров не верит его словам, и повторил все, что я сказал.

Ну, для тебя, я думаю, понятно дальнейшее. Гайда побагровел от злости, вскочил и закричал на меня: — Как ты смеешь так говорить, русская сволочь!

Весь хмель с меня как рукой сняло, но я решил защищаться.

— Я не сволочь,— ответил я ему,— а офицер русской службы. Потрудитесь, генерал, быть повеличивее,— и хотел было уйти, но в этот момент Гайда схватил лежавший на столе хлыст и, подбежав, ударил меня по лицу.

Я выхватил револьвер, но меня тотчас же обезоружили, а через час я уже сидел на гауптвахте.

¹ А. Г. Нестеров командовал особым отрядом в боях с каппелевцами 29 января 1920 года. (Прим. П. М. Морозова).

Но не это важно. Важно другое. Это то, что все наше командование в угоду чехам было готово растерзать меня на части.

Вот это холуйство, низкопоклонничество, готовность лизать пятки всей этой иностранной сволочи заставили меня серьезно задуматься над прошлым.

После того, как меня освободили с гауптвахты, я почувствовал, как бы тебе сказать... какую-то неудовлетворенность, раздвоенность. Возможно, что это явилось следствием несправедливого ко мне отношения, и, может быть, эта горечь обиды прошла бы со временем, если бы не бригадный генерал, вызвавший меня перед отправкой на фронт, куда меня посылали в виде наказания.

— Вы, капитан, совершили тягчайший проступок, — сказал он мне, — вы оскорбили в лице Гайды наших союзников, и только честной работой на фронте можете искупить свою вину.

Я выехал на фронт, озлобленный против своего начальства, и после того, как и на фронте, куда обо мне сообщили, как о беспокойном человеке, меня попробовали третировать, я решил покончить с прошлым...

Звук одинокого выстрела, звонким эхом пробежавший по закуржавевшему лесу, оборвал рассказ Федорова. Мы насторожились.

Выстрел повторился, и вскоре послышалась частая ружейная перестрелка.

— Должно быть, разведки столкнулись, — послушав с минуту, высказал я свое мнение.

— Да, пожалуй, — согласился Федоров.

Было ясно, что мы находились недалеко от дороги и что перестрелка идет между разведками, посланными к самолету, как каппелевцами, так и из Зимы.

Наша задача состояла теперь в том, чтобы соединиться со своей разведкой, и, мы, без слов оценив создавшееся положение, побежали по направлению все усиливающейся перестрелки.

Вот уже и опушка леса. С небольшого пригорка, где находился я с Федоровым, были отчетливо видны обе стороны.

Каппелевцы залегли в небольшом кустарнике недалеко от линии железной дороги и находились в лучшем положении, так как партизаны наступали перебежками по открытой равнине.

Простой подсчет сил, как той, так и другой стороны, показал, что партизанам долго не удержаться. Понял это и Федоров и, повернувшись ко мне, сказал:

— Помочь бы надо, а то отступят, и мы тогда опять одни останемся, — указал он рукой на цепь партизан.

— Далеко очень, — определяя расстояние до противника, ответил я. Но другого выхода не было и, прицелившись пулемет к стволу дерева, я нажал спусковой курочек.

Каппелевская разведка не ожидала нападения с этой стороны. Прекратив стрельбу, она отступила бли-

же к линии железной дороги, и, предполагая очевидно, что ее обходят с фланга, открыла ожесточенный огонь по мне и Федорову.

Этой неожиданной поддержкой и воспользовалась наша разведка, и в тот момент, когда расстояние, отделявшее ее от нас, сократилось не больше чем до двухсот метров, Федоров вскочил на ноги.

— Товарищи, сюда! Товарищи! — закричал он что было силы, махая руками, и упал.

Ружейный залп каппелевцев свалил его с ног.

Я оставил пулемет, бросился к Федорову.

— В грудь... меня... ранили, — захлебываясь кровью, с трудом выговаривал он.

Каппелевцы, увидев, как упал Федоров, и, решив, что убит пулеметчик, повели наступление.

Я вынужден был вернуться к пулемету и, выпустив весь запас имевшихся в диске патронов, вновь наклонился над Федоровым.

— Умираю, — чуть слышно прохрипел он, — тут у меня, — попытался он показать на грудь, но рука его бессильно повисла... он захлебнулся кровью.

Перевернув его на бок, я долго прислушивался, надеясь услышать недоговоренное, но из горла Федорова вырывались хрип и клекотание, а руки в предсмертной агонии жадно ловили воздух...

Федорова не стало.

Н. А. КОЗЛОВ,
кандидат биологических наук

МИКРОБЫ НА СЛУЖБЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

«Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше»¹. «Мир богаче, живее, разнообразнее, чем он кажется, ибо каждый шаг развития науки открывает в нем все новые стороны»².

Почти каждый знает о существовании мельчайших живых существ—микробов, однако, далеко не все представляют себе ту огромную роль, которую они играют в жизни нашей планеты и, в частности, в жизни человека. Наука, изучающая эту группу живых существ, и называется микробиологией. Название «микроб» происходит от греческих слов «микрос», что означает малый, и «биос» — жизнь. И действительно, отличительным признаком микробов являются чрезвычайно малые размеры, делающие их невидимыми. Человеческий глаз не в состоянии четко различать предметы размером меньше одной десятой доли миллиметра. Величина же микробов, как правило, измеряется тысячными долями миллиметра, и, следовательно, они не могут быть видны невооруженным глазом.

Вот почему люди и не подозревали о существовании микробов до

тех пор, пока не научились создавать приборы, дающие изображения предметов, увеличенные в десятки и сотни раз.

Но хотя о микробах узнали сравнительно недавно, деятельность их известна с древнейших времен. Ведь заразные болезни, различные брожения были известны еще на заре человечества. Так, в Библии есть указание на какую-то болезнь, по всей вероятности чуму, и указание на меры предосторожности против заражения ею, такие как сжигание трупов, омовение и т. п. Чумные эпидемии описаны в замечательном памятнике древнегреческого народного эпоса — «Илиаде» Гомера и в книгах историков древнего мира Геродота, Фукидита, Гиппократов.

Не зная о микробах, человек страдал от огромных бедствий, вызываемых ими и, с другой стороны, использовал некоторых полезных микробов в своей повседневной жизни.

Немало было выпито простокваш, кислого молока, кваса, пива, вина, съедено хлеба, сыра, пока стало известно, что в их изготовлении участвуют микробы.

Человек, не зная о существовании микробов вредителей, пытался бороться с ними. Примером могут служить такие приемы борьбы с вредными микробами, как охлаждение, соленье, сушка продуктов питания. Эти приемы были известны человеку с глубокой древности.

Незнание мира микроорганизмов

не позволило управлять процессами, вызываемыми ими, и человек часто находился во власти стихийных сил природы.

Исследование микроорганизмов стало возможным только с изобретением оптических приборов (луп и микроскопов).

Современная микробиология располагает совершенной техникой и точными методами исследования микроорганизмов. Это неизмеримо расширяет ее возможности, а следовательно, и задачи.

Одна из наиболее важных задач современной микробиологии — это рациональное использование микроорганизмов для поднятия плодородия полей и продуктивности животноводства. Эта задача записана в Программе партии. Вот почему проблема синтеза белка микроорганизмами в настоящее время выдвигается на одно из самых первых мест в области практического использования микроорганизмов.

Прекрасным источником белка и ряда витаминов являются кормовые дрожжи. Они с успехом применяются в животноводческих и звероводческих совхозах в качестве корма. Неограниченные запасы древесины, а также камыша в нашей стране открывают широкие перспективы для получения кормовых дрожжей в большом количестве.

Для обработки растительных материалов требуется много кислот и

¹ В. И. Ленин. Задачи союзов молодежи. Речь на III Всероссийском съезде комсомола. Собр. соч., т. 31, стр. 263.

² В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Собр. соч., т. 14, стр. 116.

кислотоупорная аппаратура. Это скажется на стоимости дрожжей.

Современная химическая промышленность имеет ряд отходов, которые могут служить питательной средой для дрожжей. Академик А. А. Имшенецкий считает, что получаемый сейчас синтетически этиловый спирт будет более дешевым источником углерода, чем отходы лесной промышленности.

Наиболее дешевым источником углерода являются природные газы и газы, сопутствующие нефти.

Еще в тридцатых годах у нас в стране было впервые установлено, что микроорганизмы усваивают вещества, содержащиеся в нефти. Французский научно-популярный журнал «Сьянс э ви» («Наука и жизнь») в начале 1963 года сообщил, что во Франции обнаружены бактерии, в буквальном смысле слова «съедающие» современные дороги, так как они используют углерод асфальта. Следовательно, эти микробы способны синтезировать белок своих клеток за счет различных углеводородов.

На всемирном нефтяном конгрессе, который состоялся летом 1963 года во Франкфурте-на-Майне французский химик профессор А. Шампанья рассказывал, что близ Марселя (в г. Лавер) «Общество французской нефти» построило первую установку для производства «нефтяного белка».

В аппаратах, где кроме микробов и нефти содержатся также минеральные соли, на каждую тонну переработанных углеводородов нефти — вещества несдобного — можно при помощи микробов получить тонну высококачественных белковых кормов для животных.

Причем, профессор А. Шампанья подчеркнул, что микроорганизмы не только перерабатывают часть нефти в белки, но и улучшают ее качество. Для того, чтобы избавиться от парафинов, на современных нефтеперерабатывающих заводах используют дорогое и довольно сложное оборудование, а микроорганизмы совершают ту же самую работу быстро, незаметно и как бы «по ходу своей основной деятельности».

В Кракове Е. Карасевич использовал некоторые микроорганизмы для улучшения структуры нефти. Эти организмы в процессе роста выделяют газы, превращающие тяжелые углеводороды нефти в легкие. Такая «переработка» значительно облегчает и увеличивает добычу нефти.

Если взять, как пишет английский журнал «Нью сайентист» («Научные повести»), десять тонн твердой нефтяной фракции, очень низкой по своим техническим качествам, и вырастить на ней микроорганизмы, то спустя некоторое время мы по-

лучим одну тонну концентрата белка и десять тонн высококачественного топлива.

Белковая масса, легко преобразованная в концентрат, может использоваться для питания животных и даже людей. Полученные белки не полностью заменяют животные, но если взять, например, 900 граммов кукурузы и 100 граммов концентрата, то эта смесь ничем не уступит мясу. В ней также содержатся витамины, способствующие росту и укреплению детского организма. Особенно полезен этот белково-витаминный концентрат женщинам, которые готовятся стать матерями.

Профессор А. Шампанья поставил опыты на крысах и цыплятах. Они чувствовали себя так же хорошо, как и те, что получали нормальный рацион.

Подсчитано, что для получения заменителей животных белков, необходимых населению земного шара (20 миллионов тонн белка, что соответствует 100 миллионам тонн мяса) достаточно было бы переработать 207 миллионов тонн нефти. Добывается же ежегодно на земном шаре более 1 миллиарда тонн «черного золота».

Авторы нового метода получения белка из нефти считают, что он органически входит в обычное сельское хозяйство. На полях мы высеем пшеницу и спустя некоторое время собираем урожай. Для высева микроорганизмов мы вместо почвы используем нефть. Конечно, такое «сельскохозяйственное поле» несколько необычно, но оно приносит быстрый урожай.

Дрожжевые грибки и некоторые бактерии могут использовать углерод из нефти углеводородов, полученных синтетическим путем из природного газа.

Трудно переоценить перспективы, открывающиеся в связи с этим направлением. Если будет реализовано предположение о возможности получения кормового белка за счет углеводородов, природных газов и некоторых минеральных солей, то мы получим дешевый кормовой белок в неограниченном количестве и, в первую очередь, там, где он крайне необходим (например, на Украине, в Средней Азии и в Сибири).

Нефть не является единственным источником получения кормового белка. Для этой цели могут использоваться и другие вещества, содержащие углерод. Так, например, с успехом выращаются дрожжи на сточных водах сланцевой промышленности, богатых фенолом. В Силезии («Польское обозрение») выделены бактерии, которые освобождают сточные воды от фенольных соединений. Некоторые из этих бактерий за 15—20 часов способны раз-

ложить до 98 процентов содержащегося в воде фенола при его концентрации до 700 килограммов в литре. Этот способ очистки вод от фенола испытывается на коксохимических заводах Польши.

Бактерии могут синтезировать жир из газовой смеси.

Интересно указать, что микроорганизмы, использующие в процессе жизни углеводороды нефти, могут быть использованы для разведки на нефть.

Получение кормового, а в дальнейшем и пищевого белка с помощью микроорганизмов, развивающихся на непищевом дешевом сырье, будет иметь большое народнохозяйственное значение. Поэтому надо всемерно развивать промышленность, основанную на микробиологическом синтезе.

Всем известно, что для жизни любого организма очень большое значение имеют содержащиеся в пище витамины. Например, витамин В₁₂ стимулирует кроветворную функцию организма. Витамины группы В играют большую роль в белковом обмене, повышая синтез белка, влияют на углеводный обмен, способствуют росту молодых животных.

В настоящее время кормовыми источниками витамина В₁₂ являются лишь рыбная и мясокостная мука, а также молочные отходы. Вот почему большой интерес представляют результаты работы по биосинтезу витамина В₁₂ бактериями, известными своей неприхотливостью к питательным средам и условиям культивирования.

Как показали исследования, наилучшей средой для развития бактерий являются отходы спиртовых заводов. Эти заводы ежегодно сбрасывают в водоемы миллионы тонн барды, которая отравляет воду и губит в ней все живое. Но эта же барда является неограниченным источником для биопроизводства ценного витамина. Ее пропускают через ферментор — большой герметически закрытый чан, где продувается воздух и размножаются бактерии, которых затем отделяют на фильтрах и сушат. Сухая биомасса бактерий по содержанию витамина В₁₂ более чем в тысячу раз богаче рыбной муки. В каждом килограмме такого порошка содержится более 100 килограммов витамина. Этого количества достаточно для обработки 10 тонн кормов!

Белки — основа жизни — построены из большого количества «кирпичиков», называемых аминокислотами. Многие высшие растения и животные, а также человек, нуждаются в ряде готовых, так называемых «обязательных» или «незаменимых» аминокислот, необходимых им для синтеза ферментов, витаминов и многих других биологически активных

веществ. При недостатке тех или других «незаменимых» аминокислот, в организме наступает ряд функциональных нарушений, ведущих к патологическим изменениям.

Аминокислоты широко применяются в медицине как лечебное и профилактическое средство при ряде нервных, психических, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Большое значение имеют аминокислоты в животноводстве, как питательный компонент в рационе кормления животных, особенно молодняка. Использование аминокислот в рационе сокращает расходы белка и вообще корма. При этом можно снизить содержание белка в рационе на 2—3 процента, что составляет 20—30 килограммов из расчета на одну тонну корма. Это даст огромную экономию белка, эффективность же корма при наличии аминокислот возрастает на 10—25 процентов!

Недостаток аминокислот ведет к ухудшению общего состояния животных, потере веса.

Наиболее широко из аминокислот используется глутаминовая кислота. Она нашла применение как в медицине, так и в пищевой промышленности. Небольшие дозы ее (0,1—0,3 процента) способствуют улучшению вкуса пищи, делают ее более тонким и приятным. Она прибавляется к различным блюдам — мясным, овощным, крупяным, к различным соленьям, к свежим, замороженным, консервированным, маринованным и многим другим кушаньям.

В США глутаминовая кислота используется для консервирования

мясных продуктов в количестве 500 тонн и при консервировании супов — около 1000 тонн в год. В 1957 году одни рестораны в Америке потребили ее свыше 500 тонн. Главным же потребителем глутаминовой кислоты в США является армия. В Японии, Австралии и некоторых других странах также широко потребляется глутаминовая кислота.

В сотнях и тысячах тонн в США, Японии и других странах выпускаются аминокислоты — метионин, орнитин, лизин и некоторые другие.

У нас в СССР вырабатывается пока только глутаминовая кислота, но исключительно для медицинских целей и в очень малом количестве.

Известно, что около десяти аминокислот животные сами синтезировать не могут. До недавнего времени все аминокислоты изготавлялись из растительных и животных белков химическим путем. Способ этот дорогой и требует больших затрат ценного пищевого сырья.

В последние годы в микробиологии вызывают огромный интерес микроорганизмы, образующие свободные аминокислоты. О том, что жидкости, в которых растут и размножаются микробы, содержат азотистые вещества было известно давно. Но только несколько лет назад установили, что многие микробы способны накапливать в среде значительные количества тех или иных аминокислот. Они способны выделять в окружающую среду до 30—40 процентов глутаминовой кислоты. Были выделены наиболее активные расы, образующие глутаминовую кислоту. Так, в Японии обнаружили бакте-

рию, которая накапливает в среде до 50 процентов этой кислоты, что привело к ее использованию в промышленности. В Америке также были выделены микробы, образующие глутаминовую и некоторые другие аминокислоты.

В Московском университете из почв Советского Союза были выделены микробы, образующие различные аминокислоты, правда, в небольших количествах. Путем последовательного отбора таких бактерий были получены формы, которые синтезировали до 8 миллиграммов глутаминовой кислоты на 1 кубический метр среды. Дальнейшие работы в этом направлении продолжаются.

Все вышесказанное говорит о том, что имеются большие перспективы в использовании микроорганизмов для улучшения качества кормов.

Мы рассказали только о некоторых проблемах использования достижений микробиологии в сельском хозяйстве и, в первую очередь, в животноводстве. А сколько еще есть отраслей народного хозяйства, где с успехом используются микроорганизмы: производство различных лекарственных средств, антибиотиков, органических кислот, спиртов, производство пищевых продуктов, таких как творог, сыр, кумыс, вино, пиво, уксусная кислота, борьба с заразными болезнями, исследования космоса, изучение наследственности. Все это связано с жизнедеятельностью микроорганизмов, о чем мы расскажем в следующих статьях, посвященных достижениям науки.

ГАЛЕРЕЯ „АНГАРЫ“

ВЫПУСКНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА СЛАВА БАУМ СЕЙЧАС РАБОТАЕТ В АНГАРСКЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ БОЛЬШОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ. ОН ПРЕДЛОЖИЛ РЕДАКЦИИ АЛЬМАНАХА СЕРИЮ ФОТОГРАФИЙ О КИЖАХ, СДЕЛАННУЮ ИМ И ЕГО ТОВАРИЩАМИ ПРОШЛОЙ ОСЕНЬЮ ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В СИБИРЬ.

ИНТЕРЕС К СТАРИННОМУ РУССКОМУ ДЕРЕВЯННОМУ ЗОДЧЕСТВУ СЕЙЧАС НЕОБЫЧАЙНО ВОЗРОС. ПАМЯТНИКИ СТАРИНЫ ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ.

МЫ РЕШИЛИ В НЕСКОЛЬКИХ НОМЕРАХ «АНГАРЫ» ДАТЬ ФОТОГРАФИИ ДЕРЕВЯННЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ АНСАМБЛЕЙ, ОСТАВШИХСЯ НАМ В ПАМЯТЬ О СТАРЫХ МАСТЕРАХ. ЭТО ФОТО, СДЕЛАННЫЕ И В НАШЕЙ ОБЛАСТИ И В ДРУГИХ УГОЛКАХ РОССИИ.

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ФОТОРАССКАЗ Р. БАУМА О КИЖАХ. ЭТО ДЕРЕВЯННЫЙ ПОГОСТ НА ОДНОМ ИЗ ОСТРОВОВ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ДЕРЕВЯННОЙ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ, ПРОСТОЯВШИЙ БОЛЕЕ ДВУХСОТ ЛЕТ, С КАЖДЫМ ГОДОМ КАЖЕТСЯ ВСЕ ПРЕКРАСНЕЕ И ПРЕКРАСНЕЕ, И С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ ИЗ РАЗНЫХ КОНЦОВ СТРАНЫ ПРИЕЗЖАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЮБОВАТЬСЯ «СЕВЕРНЫМ ЧУДОМ» И НАВСЕГДА УНЕСТИ С СОБОЙ ЕГО ОБРАЗ.

АНСАМБЛЬ КИЖСКОГО ПОГОСТА СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЗДАНИЙ: ГЛАВНОЙ — ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ — (ПОСТРОЕНА В 1714 ГОДУ), МЕНЬШЕЙ — ПОКРОВСКОЙ (1764 ГОД), И СТОЯЩЕЙ МЕЖДУ НИМИ КОЛОКОЛЬНИ, ПОСТРОЕННОЙ В 1874 ГОДУ НА МЕСТЕ БОЛЕЕ СТАРОГО СООРУЖЕНИЯ. ДВАДЦАТИДВУХГЛАВАЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ — САМАЯ СЛОЖНАЯ, САМАЯ НАРЯДНАЯ СРЕДИ ВСЕХ ПАМЯТНИКОВ СЕВЕРНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА. НА МНО-

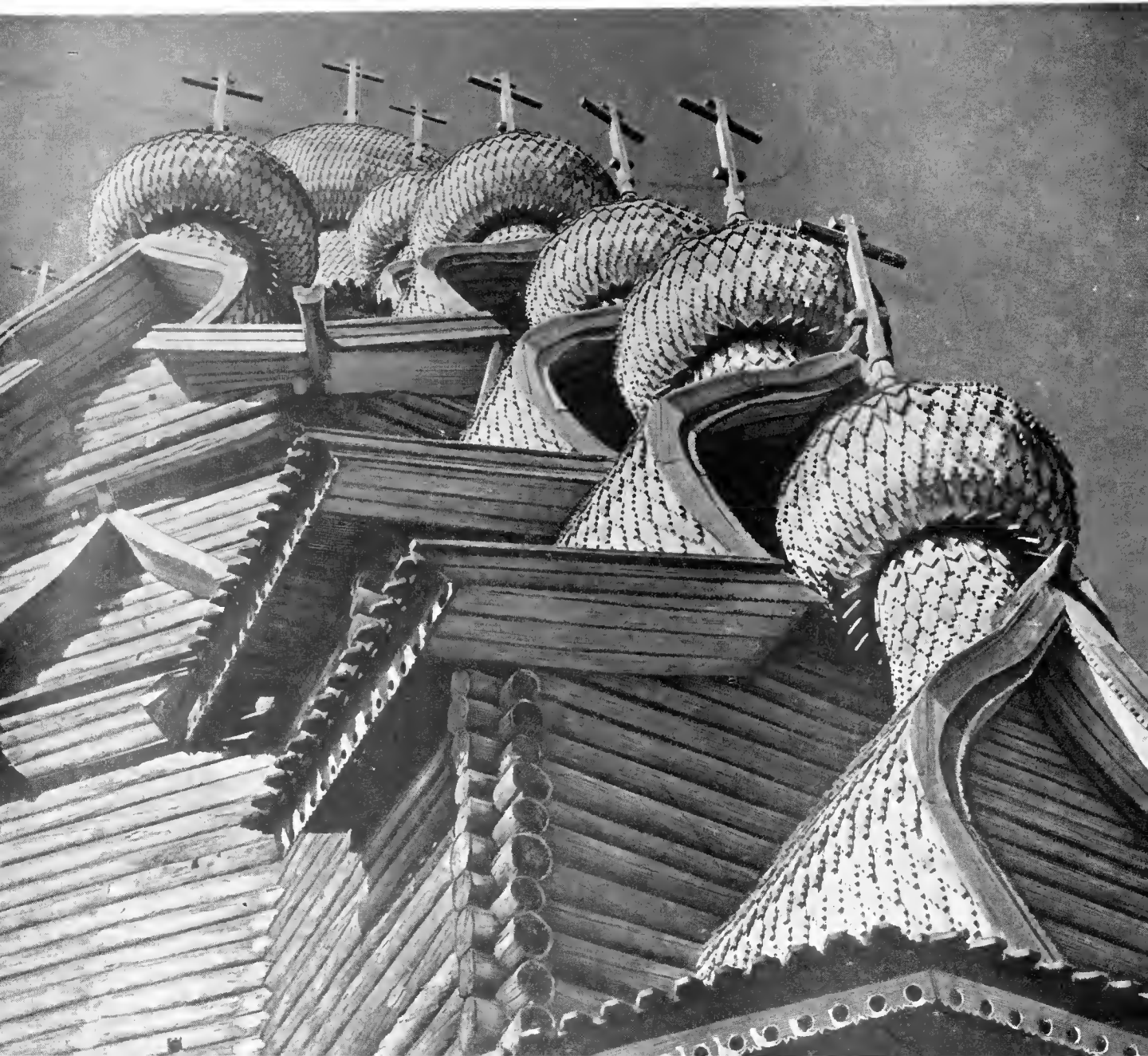


Преображенская церковь. 1714 г.



Часовня на Кижском погосте.

Преображенская церковь. 1714 г.





Часовня из Деликозера. XVIII в.

Дом Сергеева (XIX в.) и часовня из Кавторы.





Покровская церковь. 1764 г.

Вид на часовни.





Кижский погост.

ЖЕСТВЕ ЕЕ ЧЕШУЙЧАТЫХ КУПОЛОВ, НА ВЫ-
СТУПАХ ПРИЧУДЛИВО ИЗОГНУТЫХ КРО-
ВЕЛЬ, НА АЖУРНЫХ КРЕСТАХ ИГРАЮТ ВЕ-
СЕЛЫЕ ПЯТНА СВЕТА И ГЛУБОКИЕ ТЕНИ.
КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ — ПОСМОТРИТЕ ВНИМА-
ТЕЛЬНО — ИСПОЛНЕНА ТАК ПЛАСТИЧНО,
ТАК СОЧНО, ЗДАНИЕ КАЖЕТСЯ СЛОВНО
ВЫЛЕПЛЕННЫМ ИСКУСНЫМ ВАЯТЕЛЕМ.

ВТОРАЯ, ПОКРОВСКАЯ, ЦЕРКОВЬ МЕНЬ-
ШЕ И ПРОЩЕ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ, НО ТАК-
ЖЕ ИМЕЕТ ЛЕГКИЕ, СТРОЙНЫЕ ОЧЕРТА-
НИЯ БЛАГОДАря УДЛИНЕННЫМ ПРОПОР-
ЦИЯМ И ИЗЯЩЕСТВУ СВОИХ ДЕВЯТИ ГЛА-
ВОК, СТОЯЩИХ НА НЕБОЛЬШИХ ВОСЬМИ-
ГРАННИКАХ. КОЛОКОЛЬНЯ — САМОЕ ПО-
ЗДНЕЕ ИЗ ТРЕХ ВЫСОТНЫХ «СЛАГАЕМЫХ»
АНСАМБЛЯ, ОНА И ПЕРЕКЛИКАЕТСЯ С НИ-
МИ СВОЕЙ ВЫСОТНОСТЬЮ И ПРОТИВО-
СТОИТ ИМ ПРОСТОТОЮ ОЧЕРТАНИЙ.

ВСЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ, СЛОВНО ВЫТО-
ЧЕННЫЕ НА СТАНКЕ СООРУЖЕНИЯ КИЖ-
СКОГО ПОГОСТА — ТВОРЕНИЕ РУК РУССКИХ
МАСТЕРОВ — ЗОДЧИХ И ПЛОТНИКОВ, ОС-
НОВНЫМИ «ОРУДИЯМИ» КОТОРЫХ БЫЛИ
ЗОЛОТЫЕ РУКИ, СМЕТКА ДА ТОПОР.

САВВА КОЖЕВНИКОВ

Имя Саввы Кожевникова стало известно в нашей литературе сразу после войны, хотя выступать он начал в печати давно и успел в предвоенные и военные годы издать не одну очерковую книжку.

Человеческие судьбы, как известно, неповторимы, они складываются прихотливо, полны неожиданностей, и частенько бывает трудно уловить, с какого времени вдруг оказывается, что рядом с нами жил и трудился ярко одаренный человек.

В 1962 году Савва Кожевников закончил свое лучшее и самое крупное по объему произведение — «Мы собирали янтарные зерна». Оно было издано уже после того, как Саввы Елизаровича не стало. Он умер 23 октября 1962 года, всего пятидесяти девяти лет от роду и в полном расцвете своего незаурядного таланта, таланта художника слова, исследователя и публициста.

Путевой очерк «Мы собирали янтарные зерна» сосредоточивает в себе наиболее типичное, что было свойственно Савве Кожевникову как писателю. В этом очерке он в большей степени, чем в любом другом своем произведении, свободно и непринужденно разговаривает с читателем о том, что его волнует, разговаривает с такой естественностью переходов от одного состояния к другому, с такой широтой ассоциаций и с такой силой убеждения, какая достигается большими знаниями, многолетним опытом и зрелостью литераторского мастерства.

«Мы собирали янтарные зерна» — это, собственно, лирические очерки, какие мы читали, например, у В. С. Солоухина или у К. Паустовского. Ничего явно похожего на них в очерках Саввы Кожевникова не содержится, да и несравнимы, как

всегда, «величины» их дарований. Но влюбленность этих писателей в изображаемый ими край, их одержимость в раскрытии его тайн и красот, можно сказать, равновелики.

Всю жизнь Савва Кожевников провел в Сибири, исколесил ее в самых различных направлениях и увлечению воспел ее в статьях, рассказах, очерках. Именно воспел, потому что его очерки, как правило, не аналитические. В них много точно переданных характерных фактов действительности, много истории, но мало говорится о противоречиях нашего общества на различных этапах его развития. Савва Кожевников не принадлежал к числу очеркистов типа В. Овечкина. Он рассказал преимущественно о замечательных людях России, трудолюбиво и самоотверженно решавших важнейшие проблемы своего времени.

В очерке «Мы собирали янтарные зерна», на первый взгляд, не ставятся какие-либо насущные вопросы. В городе Красноярске люди сели на теплоход «Валерий Чкалов» и поплыли по Енисею до острова Диксон. Но оказывается, что это более двух с половиной тысяч километров водного пути, который пассажирским судном преодолевается впервые за почти столетнюю историю судоходства по Енисею. Сначала кажется, что речь пойдет только о впечатлениях от необычной поездки. Но очень скоро мы начинаем понимать, что рассказ ведется и шире и многогранней. В очерке по существу решается большая писательская «сверхзадача»: рассказать о богатейшем подвиге народа в освоении огромного края, показать исключительную, ни с чем несравнимую мощь и красоту Сибири, проникнуть в характеры ее людей.

При осуществлении такой «сверхзадачи» и обнаружились особенности личности писателя, который, конечно же, незримо присутствует в очерке, живет в нем на равных правах с любым из его героев. Мы видим, что Савва Елизарович увлекающийся, открытый и общительный человек, убежденный коммунист.

О Норильске, об этом признанном «чуде тундры», уже написаны книги. Но небольшую главу о нем в очерке Саввы Кожевникова читаешь снова с житейским интересом, потому что писатель умеет удивляться, потому что на все он смотрит глазами первооткрывателя, и все ему здесь любопытно — обыкновенное и необыкновенное. И, пожалуй, обыкновенное-то и любопытней всего, так как в Норильске многоэтажные здания, целые архитектурные ансамбли, заводы, учебные заведения, обычные в любом другом городе площади с газонами и клумбами воспринимаются как самое удивительное и необычное: ведь город стоит на вечной мерзлоте! Даже солнце, которое то не появляется совсем, то светит и днем и ночью вызывает что-то вроде озорного восторга: «Необыкновенным было только солнце. Шел уже первый час ночи, а оно все же, заложив руки в карманы, разгуливало по небу».

Люди плотно населяют очерки Саввы Кожевникова. Непременно люди труда, творчества, созидания. К. А. Мецай — создатель «Юции реки Енисей» — ничем особенным не выделяется. Его труд, выдержки из которого в очерке приводятся, это деловитые сухие описания реки. Что же в нем нас покорило? «Представьте себе, — отвечает писатель, — 1617 километров пути, через тайгу, горный край, полярную тундру.

И на всем этом огромном пространстве нет ни одной речки, ни одного ручья, ни одного островка, ни одного переката, «осередка», подводного камня, которого не знал бы Мецайк. Какая должна гореть в душе человека поэзия трудолюбия, какой должен быть душевный огонь, чтобы описать все это километр за километром в своей поэме «Лощия».

О людях с постоянным «душевым огнем», о людях, для которых труд всегда поэзия, всегда радость, увлеченно рассказывает Савва Кожевников — будь то прославленный путешественник Никифор Бегичев или молчаливый, сдержанный капитан теплохода С. И. Фомин или случайный знакомый, безвестный «человек с топором». Характерны его зарисовки собратьев по перу — писателей. Их много ехало вместе с Саввой Елизаровичем на этом теплоходе, но несомненно выделяются им Алексей Николаевич Гарри и Алексей Венедиктович Кожевников. Творчество этих разных писателей мы знаем, их биографии в общих чертах нам тоже известны. Но познакомиться с ними, как с людьми, не менее интересно и поучительно. А. Н. Гарри был одним из невольных создателей заполярных городов, заполярной промышленности, северной культуры. Его страсть к познанию, его жадный интерес к тому, что здесь происходит, запечатлены Саввой Кожевниковым. Города на семидесятой параллели строили не просто заключенные, обвиненные в тягчайших преступлениях, а честные советские люди, которых ничто не могло сломить. Не на словах, а на деле доказали они свою преданность Родине, свою любовь к ней. Об Алексее Кожевникове сказано тоже не много. Но это проливает особый свет на все его книги.

Едут двое Кожевниковых по Норильску. «Алексей Венедиктович смотрел на эту совершенно необычную в тундре панораму, слушал симфонию большого города словно замороженный», потом сказал:

— В тридцатом году я бродил здесь с геологической партией. Были тут голые горы, пустая тундра. На сотню верст вокруг три-четыре избушки. Я знал, что в горах много добра, что со временем будет город, и мысленно строил его, но не сумел, не посмел фантазировать о таком, по которому мы только что проехали.

При этом А. Кожевников умолчал еще об одном разительном факте. В своем романе «Брат океана» он с такой точностью изобразил особенности стройки на вечной мерзлоте в условиях Заполярья, что нижеперы будущего Норильска восполь-

зовались им. «Несомненно, — как говорил Савва Кожевников по поводу «Лощин» Мецайка, — это поэзия познания, поэзия точности. Да, есть такая поэзия!» И если произведение все пронизано ею, то оно безусловно будет отличаться и художественной добротностью и долговечностью.

Есть еще одно действующее лицо очерка Саввы Кожевникова. Это П. Л. Драверт, поэт и ученый. Для некоторых он поэт третьестепенный, в «историю» не вошедший: «не гремел» он при жизни и ушел из нее будто бы незамеченным. А время между тем неумолимо, оно заставляет его все чаще и чаще припоминать его «космическую» науку о метеоритах и его стихи, в которых пафос познания природы Сибири столь велик, что и сегодня они звучат, словно написаны только вчера. И кажется, что они уже неотъемлемы от Сибири, составляют с нею нечто органически связанное, которое вы обязаны знать, если всерьез хотите взглянуть в душу необъятного края. Петр Людовикович сроднился с Сибирью как человек, изучал ее как ученый и в сокровенные тайны ее проникал как поэт. Потому не случайно строка из его стихов стала заглавием очерка Саввы Кожевникова. Стихи П. Л. Драверта — поэтический ключ очерка, позволяющий нам глубже и точнее понять то, что увидел, изобразил писатель, и то, что он сам собою представляет.

Очерк «Мы собирали янтарные зерна» содержателен, живописен и поэтичен, он характерен для всего творчества Саввы Кожевникова, но его не исчерпывает.

Савва Елизарович Кожевников родился 14 октября 1903 года в деревне Кривинской Алтайского края в семье крестьянина. Двенадцати лет он окончил четырехклассную сельскую школу, в шестнадцать принимал участие в изгнании колчаковцев в Сибирь. Он комсомолец первого поколения, а в 1924 году двадцатилетним юношей вступил в ряды Коммунистической партии. С тех пор и до последнего дня он как коммунист честно и верно служил своему народу. Его общественная и литературная работа началась рано и носила разнообразный характер. Он был секретарем райкома комсомола, редактором окружной газеты, работником издательства, главным редактором журнала «Сибирские огни», ответственным секретарем Новосибирского отделения Союза писателей.

Завершив образование в Свердловском Коммунистическом университете еще в 1928 году, Савва Кожевников интенсивно пополнял свои знания и с течением времени стал знатоком родного края. Его пер-

вые небольшие книжки о Сибири — очерковые, но первые работы, обратившие на себя внимание литературной общественности, — литературоведческие. Он начал исследование широким фронтом. Оно касалось творчества выдающихся писателей России в их, тогда мало изученных, связях с Сибирью: В. Короленко и А. Чехов, М. Михайлов и Г. Успенский, Л. Толстой и М. Горький. Это было плодотворное направление в сибирском литературоведении, потому что чаще всего оно открывало малоизвестные, но существенные страницы в жизни и деятельности классиков русской литературы.

В 1938 году Савва Кожевников в содружестве с А. Коптеловым выпускает в Новосибирске книгу «Горький и Сибирь», объемом чуть поболее пятидесяти страниц. В ней были впервые собраны письма писателя к сибирякам, его выступления и статьи, так или иначе связанные с Сибирью. Затем эта книга пополнялась, тщательно комментировалась и неоднократно переиздавалась. Сейчас в пятом издании это солидный том почти в пятьсот страниц, в котором подробно прослеживаются более чем тридцатилетние связи А. М. Горького с различными людьми Сибири — с писателями, учеными, рабочими, колхозниками, учащимися. В нем собраны письма М. Горького и воспоминания о нем — волнующие документы любви писателя к человеку, к родине, документы действительного его участия в духовном раскрепощении сибирского края.

Ценными работами Саввы Кожевникова следует назвать статьи о сибирском поэте И. Тачалове, о зачинателе алтайской литературы Павле Кучиняке и фольклористе А. Мисюреве. Среди исследований такого рода выделяется книга «Николай Иванович Наумов». Это первое основательное исследование о жизни и творчестве одного из талантливых писателей-сибиряков 70—80 годов прошлого века.

Выступал Савва Кожевников и со статьями по вопросам текущих литературных дел и событий и с рецензиями на новые книги. В течение многих лет возглавлял журнал «Сибирские огни», Савва Кожевников вел активный поиск талантов. Через его руки проходили десятки произведений, получивших затем признание читателей. С его помощью многие теперь известные писатели делали первые шаги в литературе. Горячая любовь Саввы Елизаровича к литературе вне сомнений, его талант собирателя литературных сил незауряден. Как человек он во многих душах оставил о себе добрую память.

Разнообразна деятельность Саввы Кожевникова, но в литературу он вошел как очеркист. Мариэтта Шагинян, высоко оценивая произведения Кожевникова, сказала на одном обсуждении его творчества: «В работах Кожевникова я вижу наиболее ценную для меня форму очерка, и лет через пять-шесть эта форма очеркизма станет господствующей... Он подходит к своему материалу не только как художник и литературовед, а отчасти и как философ, и как

публицист, и как экономист, и как архивный работник. Он мобилизовал все стороны подхода к материалу для того, чтобы совершенно точно выполнить ту основную функциональную задачу, которую он перед собой ставит».

Эти верно подмеченные особенности очерков Саввы Кожевникова можно подтвердить анализом целого ряда его произведений, таких как «Новоселы золотой долины» — об Академгородке в Новосибирске, «Мы

из Игарки», многочисленными очерками о Китае или такой оригинальной работой, как «Павел Кучняк, внук пламенного Сокола».

В этом и в утверждении душевного здоровья и душевной красоты наших героев труда и созидания состоит основная ценность работ Саввы Кожевникова. Савва Кожевников был и остается признанным знатоком и певцом Сибири, ее прошлого и настоящего, ее фантастических возможностей.

ВИССАРИОН САЯНОВ И СИБИРЬ

От Сибири у В. М. Саянова не только имя, не только автобиографическое: родился и вырос в Иркутской губернии, — Сибирь определила во многом содержание творчества.

«Первые стихи, написанные мною в 1922 году, были навеяны золотой тайгой», — вспоминает он. А в другом месте уточняет: впитано-олёкминским краем.

Затем произведения о Сибири следуют в таком хронологическом порядке. В 1926 году — главы из поэмы «Лена». Значит, замысел будущего романа брезжил уже тогда: оставшиеся без продолжения главы — своеобразный поэтический консpekt его. В 1927 году — два стихотворения: «В пути» и «Прожитый день». В 1928 году — еще три стихотворения. В 1934 году — книга «Золотая Олёкма». В 1935 — «Охота» и «Ледяной сказ» — большие отрывки тоже незавершенной поэмы. В 1936 — второе издание «Золотой Олёкмы», пополненное несколькими новыми стихотворениями. Затем книга все обогащается, и в 1963 году насчитывает вдвое больше стихотворений, чем в первом издании. В 1939 году выходит повесть «Детство на Негаданном». И крупное стихотворение-легенда «Из байкальских преданий (Когда настанет светлый час...)». В 1954 году — первый том романа «Лена», а в 1959, вскоре после смерти автора, — второй...

Сибирь волновала воображение художника всю жизнь, хотя, конечно, в принципе Саянов не ограничен никакими рамками — ни временными, ни пространственными. Тема Сибири была для него частью темы России, «страны родной», и внутренне сливалась с темой революции. Вне этих двух тем: Россия и революция (причем революция понимает-

ся исторически широко, включает современность) — Саянов как художник немислим. И все-таки он мог сказать о Сибири:

Там сердца моего заветная отрада,
Край детских лет,
Родной страны холодная громада
Я — твой поэт.

Лучшее из его сибиряки — «Золотая Олёкма». Стихи из «Золотой Олёкмы» стали антологическими. Буквально в том же, 1934 году они включены в антологию «Ленинградские поэты», составленную Н. Брауном и А. Прокофьевым. Рецензируя «Ленинградских поэтов», критик В. Никонов счел необходимым особо остановиться на том, что «колоритные и эмоциональные» стихи Саянова взяты из книги «Золотая Олёкма», «отмеченной зрелым мастерством».

Через три года в другом конце страны, в Иркутске, вышло издание «Стихи и легенды о Байкале», подготовленное А. Гуревичем и И. Молчановым. В книге поэзия Саянова занимает видное место. Его «Байкальское предание» открывает пятый раздел — «Легенды и предания о Байкале». Это высокая оценка стихам, и ее дают сами сибиряки.

В том же году в Новосибирске появился более представительный, свод известнейших произведений о Сибири — антология «Сибирь в художественной литературе». В ней помещен «Старый Иркутск». (В 1940 году историк Ф. А. Кудрявцев почти полностью цитирует его в своей книге «От казачьего зимовья до советского Иркутска»).

После этого стихотворения из «Золотой Олёкмы» вводятся в сибирские антологии еще четырежды: в 1949 году в «Славное море», в 1957 — в ту же книгу при переиздании, только здесь одним стихам

предпочитают другие и они открывают книгу. В 1957 же году стихи из «Золотой Олёкмы» вошли в «Поэзию Сибири», собранную К. Лисовским и А. Никольковым. И совсем недавно, в 1965 году, — в книгу «Поэты 20—30-х годов», выпущенную, как и предыдущая, в Новосибирске.

1957 год был для Саянова особенным. В «Антологии русской советской поэзии в двух томах», изданной в Москве, в этом почетном форуме стихов, демонстрирующем перед миром богатства нашей поэзии, накопленные за сорок послеоктябрьских лет, — в первом томе наряду с другими саяновскими стихотворениями — еще четыре из «Золотой Олёкмы».

Показательно — для антологий признали годной половина сборника «Золотая Олёкма» 1934 года.

Спустя тридцать лет строки из него берутся в качестве эпиграфов поэтами Александром Прокофьевым (1963) и Ольгой Берггольц (1964).

Стихи получили большую прессу, и все же можно добавить ряд новых материалов, не учтенных историками литературы.

В 1934 году в неопубликованном письме к Саянову Павел Антокольский пишет о «Золотой Олёкме»: «В книге много хорошего, органичного для Вас и цельного. Особенно отмечаю «В бега» и «Любовь». В «Любви» прекрасный тугой анапест, который я всегда любил у Вас...»¹

Стихи транслировались по все-союзному радио. О том, как они были приняты слушателями, говорит такой отклик: «Дорогой тов. Саянов, наше знакомство у микрофона было очень кратким. Искренне жалею об

¹ Здесь и далее, где цитируются письма к В. М. Саянову, — личный архив Е. Я. Рыковой-Саяновой.

этом, так как именно о Вашей «Золотой Олёнке» мы очень часто говорим в кругу наших поэтов и критиков. А. Г. Адельгейм. Киев. 2. XI. 1935».

«Золотая Олёнка» была событием везде: в Ленинграде, Иркутске, на Украине,— подлинным событием в нашей поэзии. А вот что сказал о ней недавно поэт Николай Браун. Цитирую по собственноручно им выправленной записи нашей беседы. Крупный ленинградский поэт Николай Браун считает: «Золотая Олёнка» — это книга не путешественника, не туриста, а человека биографически связанного с Сибирью. «Корни» поэта Саянова уходят в сибирскую землю, и это наиболее ясно обнаружил сборник «Золотая Олёнка».

Н. Браун обращает внимание, далее, на жанровые достоинства произведения: «Перед нами не «рассказы в стихах», которые в те годы в изобилии появлялись, и которые, несмотря на стихи, оставались прозаическими рассказами,— перед нами поэтические рассказы, сама поэзия!»

Заканчивает он воспоминанием: «Маяковский, беседуя со мной и Саяновым о задачах поэзии, говорил: надо писать так, чтоб учитывать длительность воздействия (подчеркнутые слова — его подлинные). Саянов во всем лучшем, что он создал, следовал завету Маяковского...»

Другой ленинградский литератор, Дмитрий Левоневский, когда-то входивший в творческую группу «Смена», которой руководил Саянов, пишет о покойном старшем товарище по перу, о сборнике его стихов (отрывки из письма к автору статьи):

«Золотая Олёнка» была в те годы не только личным достижением Виссариона Саянова, но и огромным успехом всей нашей поэзии первой половины 30-х годов. Недаром она вывела Саянова из разряда «комсомольских поэтов» на ступень выше. Похвала А. М. Горького (устное высказывание в редакции альманаха «Год XVII») увенчала этот успех...»

О Горьком, в связи с «Золотой Олёнкой», до Д. Левоневского было известно, что, во-первых, стихи печатались в альманахе с его редакторского согласия. Во-вторых, то, что сообщил сам Саянов: Алексей Максимович предложил ему исправить не совсем точное название сибирского цветка в одном стихотворении. В-третьих, то, что сообщили о «Золотой Олёнке» критики, В. Дружин, например: «Книга эта, тепло встреченная Горьким, Тихоновым и другими старшими мастерами советской литературы...»

Теперь Дмитрий Левоневский более конкретно указывает обстоятель-

ства и характер «встречи» Горьким стихов Саянова.

Пишет он и о том, как отнеслись к книге другие участники литературного движения:

«Я хорошо помню, какое яркое впечатление на молодых поэтов того времени оказывали отдельные стихи из «Золотой Олёнки». Борис Корнилов зачитывался поэмой, читая Борису Лихареву и мне наизусть прекрасную песню-легенду каторжан «Есть пегий бык на берегу Байкала...» Интересна оценка самого Д. Левоневского:

«Золотая Олёнка» носит широкоэпический характер. Это в лучшем смысле новаторская работа и по языку, и по теме, и по отбору художественных средств. Глубоко оригинальна структура стиха. При опоре на лучшие достижения современного поэтического мастерства Саянов использует все ценное из русского классического наследия. Кроме того, поэт отлично владеет сибирским фольклором, искусно вплетая мелодические элементы народного творчества в общую полифоническую ткань цикла.

...Следует отметить, что в ритмической структуре поэмы Саянов с большим достижением использовал схему тактового народного стиха.

Саянов поэт многоплановый, многогранный, работающий «на сплавках» различных поэтических стилей,— он подобрал в себя богатство самых разнообразных великих предшественников, от Некрасова и Блока до Гумилева и Тихонова. В языковых поисках его чувствуется влияние таких тонких стилистов, как Клюев и Нарбут.

Поэтическая клавиатура Саянова поразительна по охвату, и вместе с тем, она ни на одно мгновение не становится энигматической, а всегда оригинальна и свежа.

Грубо ошибутся те из критиков, которые работу поэта «на сплавах» оценили как «всеядность». Самое удивительное в этой отличной всеядности именно то, что Саянов везде остается Саяновым. Выделить, например, чисто блоковское или тихоновское очень трудно — все окрашено саяновским. Вот почему так сложен вопрос о традициях и истоках творчества Саянова. Учиться у Саянова — значит учиться на долготелом опыте всей русской поэзии...»

Это о сибирской поэзии Саянова. О прозе, в частности об историко-революционном романе «Лена», писали гораздо меньше. Между тем и он прочно утвердился в нашей литературе, а по объему, да и по значению — одно из солиднейших произведений Саянова. Роман сочувственно принят критикой, в том числе специалистами-историками, в короткое время выдержал три издания.

Дополнительный свет на отношение к нему общественности проливают впервые публикуемые здесь документы.

Вот суждение о книге видного советского писателя Георгия Маркова. Его письмо к Саянову воспроизводится с незначительными сокращениями:

«Иркутск, 5 марта 1955 г.

Дорогой Виссарион Михайлович! «Лену» получил. Не писал Вам потому, что хотелось вначале прочитать роман. И вот книга прочитана. От всей души горячо поздравляю Вас с крупной творческой победой. Роман получился яркий, сильный и нужный...

Очень хороши фигуры рабочих. Правдиво и с настоящим художественным тактом написали Вы все, что касается процесса революционирования масс. Купцы, богаты, приказчики и т. д. сделаны тоже сильно, но все-таки рабочий мир получился ярче, цельнее... Прекрасно написано все сибирское. Вы поражаете читателя сибирским, но на «клюкву» нет и намека. Все точно, реалистично и просто.

...Из Матюшиных меньше всего понравился мне Петя. Уж если он сделал попытку найти ключ счастья, то, думается, его активность, его жизнедеятельность нашла бы выход... Тут напрашивается какая-то сценка, когда Петя с присковой ребятней сделал какое-то важное дело для всех. Это в его характере и соответствует ходу жизни.

Еще раз сердечно благодарю Вас за книгу... Я в конце 1954 года в журнале «Д. В.» («Дальний Восток» — Е. Д.) опубликовал первую книгу нового романа «Соль земли». Вероятно, в середине года эта вещь будет издана отдельно, и тогда непременно пошлю Вам. Сейчас же сижу и жду синяков и шишек от критики.

Желаю Вам новых успехов и всяческого благополучия.

Крепко жму Вашу руку!

Георгий Марков.

«Лена» пользуется популярностью, это объясняется как исторической ее добротностью, так и психологической одушевленностью выведенных в ней людей, что в корне, конечно, нераздельно. Письма читателей к В. М. Саянову — объективное тому доказательство.

Из Пензы:

«Мы просим Вас рассказать хотя бы немножко о дальнейшей жизни Матюшиных, хотя бы до 1917 года. Будут ли они вместе? И доживут ли они до Советской власти?»

Из Перми:

«Дорогой товарищ Саянов! Сердечно благодарю Вас за нужное и

хорошее Ваше произведение «Лена». Ваша книга является хорошим литературным помощником при изучении марксистских материалов о великом революционном прошлом нашего русского рабочего класса.

Между прочим, такое боевое приращение романа впоследствии было «узаконено»: он рекомендован в указателе «Что читать по истории КПСС», как, впрочем, вошел и в указатели художественно-исторической литературы для учителей и для школьников.

О нужности, о его высокой полезности говорят в один голос и писатель Георгий Марков и этот читатель...

И еще один красноречивый документ. 3 июня 1955 года сценарный отдел «Ленфильма» официально обращается к Саянову с предложением:

«Лена» представляет большой интерес для широкого круга читателей и было бы целесообразно экранизировать это произведение. В связи с этим просим Вас согласиться написать для нашей студии на основе романа «Лена» киносценарий».

...Саянов влюблен и в Сибирь и в сибирскую литературу, которую хорошо знал и пропагандировал. Он гордился тем, что «автором песни потрясающей силы, любимой песни народа — «Славное море, священный Байкал» — был «третьестепенный» сибирский поэт Давыдов». Это — из опубликованного. А вот — из переписки 1938 года: «Давыдова, Омулевского я ценю очень...»

Друзей Саянов снабжает книгами сибиряков. «Благодарю за Драверта», — пишет ему в ответном письме М. А. Сергеев, литератор и ученый, ныне покойный.

Поэт осуществляет перевод на русский язык произведений сибирского фольклора. Об этом можно судить по сохранившемуся в архиве письму, где Саянова просят перевести для фундаментального издания «Творчество народов СССР» бурятские песни о Ленине, телеутские и эвенкийские песни. На письме есть пометка поэта, свидетельствующая, что просьба была выполнена: «Послано».

К сожалению, составители издания не указали имен переводчиков, а копий переводов или хотя бы названий произведений в архиве не сохранилось. Можно предполагать, что «Благодарность», бурятская песня, и «Колхозная жизнь» — эвенкийская, написанные в «Творчестве народов СССР» в 1938 году, переведены Саяновым. На эту мысль наталкивает стилистая близость переводов оригинальным произведениям Саянова.

Он поддерживал личный контакт с писателями Сибири, обсуждал с ними актуальнейшие проблемы литературного процесса. Саянов был необыкновенно эрудирован, глубоко вникал в сущность явлений. Характерно письмо к нему Казимира Липовского:

«До сих пор я не могу забыть нашей беседы, а многое, сказанное Вами, вряд ли когда-нибудь забудется. На меня она произвела глубокое впечатление не только тем, что у нас нашлись общие взгляды, но — и самое главное — я прослушал за каких-нибудь полтора часа самый краткий и, в то же время, самый умный и серьезный анализ прошлого и настоящего советской поэзии. Благодарю Вас, Виссариан Михайлович...»

Писатели-сибиряки дарили ему сердца и книги. Чувства разных людей к Саянову переключаются, переключки — подтверждение искренне солидарной признательности сибиряков:

«Дорогой мой земляк и собрат по «рукомеслу» Виссарион Михайлович!

Недавно вышла в свет моя скромная книжка стихов и песен... Ты принимал посильное участие в судьбе ее. Мне всегда памятливы были встречи с тобой, а главное, в глубине души своей, тепло берегу твой образ... Поэтому-то я с особливим дружеским расположением посылаю тебе и свою последнюю книгу...

Михаил Скуратов».

Да, он помогал им, чем мог. Но не только профессиональная чуткость отличала Саянова.

«Дорогой Виссарион Михайлович! Тронуты Вашим вниманием.

Благодарим Вас от души за сердечное поздравление и дружеские пожелания в день нашего 50-летия.

Ждем Вас в Иркутск.

Крепко жмем руку и желаем Вам здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов.

Г. Кунгуров.

И. Молчанов.

Апрель 1953».

Саянову не удалось побывать в Иркутске ни тогда, ни позже. И это очень жаль. Он несомненно привез бы отсюда новые замечательные стихи. Он мечтал об этом и даже однажды высказался вслух, по писательской привычке почти машинально отстукав на машинке то, о чем думалось: «...поехать в Иркутск и Новосибирск (Сибирь Советская)...

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПОЛСТОЛЕТИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА

Летопись борьбы и побед

1918¹

1 января. Окружное бюро Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири объявило себя высшим органом власти Восточной Сибири.

2 января. В Совет рабочих и солдатских депутатов явилась делегация консулов иностранных государств: Франции, Дании, Англии, Японии, Китая, Италии, САСШ. Делегация сделала запрос, гарантируются ли в Иркутске подданным иностранных государств неприкосновенность личности и имущества? На запрос был дан ответ: если вся полнота власти не перейдет в руки Советов, то такой гарантии Совет дать не может.

Переговоры с делегацией консулов от имени Центросибири вели С. Лазо и Б. Шумяцкий на французском языке, которым превосходно владел С. Лазо.

В этот же день делегация иностранных консулов явилась с тем же запросом в глазовский штаб красновардейских частей, от которого получила аналогичный ответ.

— На собрании представителей воинских частей Иркутского гарнизона выступил Сергей Лазо с призывом защищать завоевания революции.

4 января. Общее собрание иркутских Советов рабочих и солдатских депутатов постановило, что вся власть в городе и в округе переходит к Иркутскому Совету и окруж-

ному бюро Советов Восточной Сибири рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

7 января. Общее собрание иркутской организации РСДРП(б), обсудив итоги декабрьских событий в Иркутске, подвергло резкой критике подписание мирного договора и вместе с тем по предложению Б. Шумяцкого выразило доверие большевикам, руководившим борьбой: Я. Д. Янсону, П. П. Постышеву, П. Ф. Парнякову, Б. П. Сташевскому.

8 января. В помещении бывшего военно-топографического общества (набережная Ангара) состоялось объединенное заседание Центросибири, окружного бюро Советов Восточной Сибири, Иркутского Совета рабочих и солдатских депутатов. Совещание постановило создать комитет советских организаций Восточной Сибири. Это постановление вынесено с целью создания большевистского большинства в управлении округом, так как в окружном бюро Советов большинство было за эсерами и меньшевиками.

12 января. Вышел первый номер газеты «Власть труда» — орган Иркутского Совета рабочих и солдатских депутатов, Центросибири и окружного бюро Советов Восточной Сибири. Первыми редакторами были Н. Чужак-Насимович, П. Ф. Парняков.

— В эти же дни при Центросибири в Иркутске образовалась бурятская группа в составе Г. Данчинова, М. Н. Ербанова, С. Х. Нико-

лаева, Ф. М. Осодоева, М. М. Сахьяновой.

14 января. В Иркутске проходил съезд сибирских профессиональных союзов работников музыки, сцены и кинематографии. Съезд вынес решение о поддержке Советов.

16 января. Главный железнодорожный комитет Забайкальской железной дороги вынес решение о признании и поддержке Советов.

18 января. Президиум судебного отдела советских организаций Восточной Сибири постановил упразднить в Иркутске судебные органы буржуазного правительства. Назначены советские комиссары: в судебную палату — Г. Н. Шварц, в Иркутский окружной суд — М. А. Андерсон и в прокурорский надзор — С. Е. Спиридонов.

19 января. «Власть труда» публикует приказ начальника Иркутского гарнизона Сергея Лазо об увольнении с воинской службы лиц призыва 1900, 1901 и 1902 годов согласно декрету Совета Народных Комиссаров.

20 января. «Власть труда» помещает за подписью председателя Революционного трибунала П. П. Постышева объявление о месте нахождения Революционного трибунала и перечне дел, подлежащих его рассмотрению.

— Рабочие депо и служащие станции Иннокентьевская на общем собрании вынесли решение о признании власти Советов и ее поддержке.

— Совещание иркутских заводских и рабочих комитетов осудило анархо-синдикалистскую резолюцию

¹ Числа этого года даны в новом календарном стиле.

Черемховского Совета о социализации рудников.

25 января. Главный дорожный комитет Забайкальской железной дороги постановил должность начальника дороги и его помощника упразднить и все функции управления дороги взять на себя.

29 января. Национализирован кинотеатр «Глобус» (ныне «Гигант»). Он передан в распоряжение Сибирского бюро профсоюзов работников музыки, сцены и кинематографии.

Главный железнодорожный комитет Забайкальской железной дороги обратился с воззванием ко всем рабочим и служащим дороги о взятии в свои руки управления дороги и о поддержке Комитета трудящимися дороги.

30 января. Органами Советской власти за антисоветское направление прекращено издание газеты «Свободная Сибирь». В частности, газета напечатала на своих страницах воззвание атамана Семенова.

31 января. Произведена национализация всех банков в Иркутске.

2 февраля. В Иркутске введен новый календарный стиль.

3 февраля. В городском театре состоялся митинг протеста против преследования революционеров в САСИ.

4 февраля. На станции Иннокентьевская состоялось общее собрание казаков 2-го Читинского полка Забайкальских казачьих войск, на котором принята резолюция, клеймющая атаманов Семенова и Хорвата как предателей революции.

С. Лазо, С. Блюменфельд и Л. Зотов принимают представителей 2-го Читинского полка забайкальских казаков Д. Шилова и Я. Жигалина, обсуждая с ними вопросы участия полка в борьбе за власть Советов.

6 февраля. Состоялось первое заседание Иркутского революционного трибунала под председательством П. П. Постышева. Слушалось дело бывшего юнкера Павловского, обвиняемого в похищении из военного училища оружия. Обвинителем выступал П. Ф. Парияков. Вынесли приговор: «Ввиду молодого возраста и легкомыслия обвиняемого ограничиться общественным порицанием и зачетом десятидневного ареста как наказания». В дальнейшем заседания Ревтрибунала проходят почти ежедневно.

— Председатель Центросиббири связался по прямому проводу с Томским Советом рабочих и солдатских депутатов, предложив ему немедленно арестовать членов Сибирской областной думы, которая готовит контрреволюционный мятеж по всей Сибири.

7 февраля. Иркутский Совет рабочих и солдатских депутатов по предложению П. Париякова вынес

резолюцию, приветствующую Главный железнодорожный комитет Забайкальской железной дороги, который взял власть на железной дороге в свои руки.

— Сибирское центральное бюро профсоюзов работников музыки, сцены и кинематографии установило рабочий контроль над театрами и кинематографами. Культпросветотделом выдан на это соответствующий мандат.

8—13 февраля. Состоялся III съезд Советов Восточной Сибири, прошедший под руководством большевиков. Съезд осудил деятельность старого большинства эсеров и меньшевиков окружного бюро Восточной Сибири и разработал меры по реорганизации окружной восточносибирской власти. Создан Восточно-Сибирский областной исполком Советов.

8—19 февраля. Проходил I крестьянский уездный съезд. По текущему моменту доклад сделал большевик К. Н. Гершевич. Съезд в своей резолюции выразил полное доверие Советской власти и заявил от лица всех собравшихся: «Всеми средствами будем поддерживать Совет Народных Комиссаров в борьбе с контрреволюцией».

9 февраля. Комитет советских организаций Восточной Сибири национализировал водный транспорт на реке Ангаре и озере Байкал.

— Открылась библиотека почтово-телеграфных служащих.

10 февраля. Вышел первый номер газеты «Сибирское трудовое казачество» — орган революционных казаков, поддерживающих власть Советов.

13 февраля. Прибывший на II Всесибирский съезд Советов Федор Лыткин писал своей жене:

«Ночью 31 января (старого стиля. П. Б.) шел с товарищами по темным улицам, почерневшим от декабрьских боев. Пробиты и зияющие пустоты в зданиях и стенах свидетельствовали об ожесточенности битвы. По улицам валялись доски, камни, обгорелые деревяшки... В городе нет вечернего шумного движения, людских потоков и громких окриков. Тихо и малолюдно. Залечиваются раны. Белый дом изрешечен пулями. Он покрыт ими, как оспой. На Харлампиевской (ныне улица Горького. П. Б.) полквартала выгорело. Дым, черный дым осел на снегу, по стенам, по крышам. Город потемнел...»

14 февраля. «Известия Иркутского губернского народного комиссариата» публикуют постановление комиссариата, в котором говорится: «Местные буржуазные газеты «Иркутская жизнь», «Свободный край», а также газета, претендующая на название социалистической, «Новая Сибирь», с самого момента перехода

власти Комитету советских органов Восточной Сибири занимаются усиленной травлей как Комитета в целом, так и отдельных его агентов, комиссаров... не останавливаясь даже перед клеветой. Поэтому комиссариат считает необходимым привлечь редакторов этих газет к суду Революционного трибунала».

Газета «Иркутские вести» Президиумом советских организаций закрыта за напечатание явно лживых и провокационных сведений (начала выходить 24 января 1918 года).

14—17 февраля. Конференция меньшевиков вынесла резолюцию о невозможности в данный момент осуществления социализма в отсталой и обнищавшей России и необходимости идейной борьбы с большевизмом. Участники конференции требовали созыва Учредительного собрания.

21 февраля. Советскими органами закрыты антисоветские газеты «Новая Сибирь», «Иркутская жизнь», «Свободный край», «Наша деревня».

— Открылось губернское земское собрание гласных. Цели его были явно контрреволюционные.

22 февраля. За контрреволюционное направление земское губернское собрание гласных распущено.

23—28 февраля. Проходит II Всесибирский съезд Советов. На нем присутствовало 202 делегата, из них большевиков — 123, левых эсеров — 53, анархистов — 8, правых эсеров — 7, максималистов — 6, объединенцев — 2, интернационалистов — 2.

Чрезвычайным комиссаром по борьбе с контрреволюцией Центральным исполнительным комитетом Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов был назначен С. Г. Лазо.

— Состоялись торжественные похороны у Белого дома борцов, павших в боях за власть Советов в декабрьские дни в Иркутске. В похороны приняли участие делегаты II Всесибирского съезда Советов, представители профсоюзов города, железнодорожники, два полка третьей казачьей Забайкальской бригады, воинские части Иркутского гарнизона, артиллерийский дивизион, армянская рота. Все они выступали в полном боевом вооружении.

24 февраля. Открылся II чрезвычайный съезд рабочих и служащих Забайкальской железной дороги. На съезде с докладом о текущем моменте выступил Я. Е. Боград. Съезд принял резолюцию о солидарности с Советской властью и ее поддержке. Избран Главный комитет.

25 февраля. II Всесибирский съезд Советов по докладу Н. Ершова утвердил проект организации Красной Армии и Красной гвардии Сибири.

В тот же день съездом были приняты тезисы по докладу И. Посталовского от юридической секции.

26 февраля. По докладу Ф. Лыткина на Всесибирском съезде принят проект организации Советской власти в Сибири.

Съезд избрал новый состав Центросибиря — 35 членов и 12 кандидатов. В числе избранных Я. Боград, Н. Гаврилов, С. Лазо, П. Парняков, И. Посталовский, П. Постышев, Н. Чужак-Насимович, Б. Шумяцкий, Я. Янсон, А. Таубе. Позже был введен Н. Яковлев и избран председателем Центросибиря.

27 февраля. В Иркутске впервые опубликован декрет Совнаркома об организации рабоче-крестьянской Красной Армии.

— В I общественном собрании прошел митинг военнопленных. Представители от австрийских, немецких, чехословацких, польских военнопленных осудили империалистические стремления германо-австрийского правительства и выразили готовность выступить в защиту Республики Советов.

— Конференция заводских комитетов кожевенного производства Иркутска и Усолья вынесла резолюцию об обязательном введении контроля над производством.

— Вышел первый номер газеты «Сибирская рабоче-крестьянская газета» — орган областного комитета Советов Восточной Сибири.

29 февраля. Опубликовано обращение II Всесибирского съезда Советов к трудящимся с призывом вступать в ряды Красной Армии.

1 марта. Опубликовано обращение командующего советскими войсками С. Лазо об укреплении обороны и с призывом к рабочим вступать добровольцами в Красную Армию.

— Прекращен выпуск «Епархиальных ведомостей» — органа церковников Иркутской губернии.

2 марта. При школе сценического искусства открыт клуб социалистической молодежи.

4 марта. Национализирован городской театр. Он передан в ведение отдела народного образования.

5 марта. Иркутское бюро по организации рабоче-крестьянской Красной Армии объявило о записи добровольцев в ряды революционной армии.

11 марта. Открылся II съезд углекопов Сибири, потребовавший национализации угольных копей Сибири.

14 марта. Газета «Власть труда» перешла на новую орфографию.

15 марта. «Власть труда» сообщает о раскрытии в Иркутске заговора против Советской власти. Офицеры и правые социалисты замыш-

ляли поднять мятеж. Арестованы поручик Нахабов, баронесса Гринельская, замешанная в корниловском мятеже, капитан Ключарев, некто Баранкевич и другие.

— Собрался съезд крестьян Иркутской губернии, организованный эсерами с целью превратить его в оружие борьбы с Советской властью. Присутствовало 83 делегата. Половина из них, поняв существо съезда, отказалась участвовать в нем. Остальные, представляющие интересы кулачества, начали заседание.

16 марта. Председатель Иркутского уездного исполкома Советов распустил эсеров-кулацкий съезд, как незаконно собравшийся.

17 марта. В помещении I общественного собрания прошел вечер в честь Интернационала. Вечер открылся «Марсельезой», исполненной оркестром военнопленных; с докладом выступил Я. Д. Янсон. Представители различных национальностей произносили речи на своих языках. Вечер закончился пением «Вечной памяти» павшим в борьбе за Советскую власть.

22 марта. Центросибирь образовала Сибирский военный комиссариат.

23 марта. В «Глобусе» (ныне кинотеатр «Гигант») пьесой Мольера «Дон Жуан» открылся народный театр.

27 марта. Национализировано пароходство «Товарищество Ангарского пароходства».

— Сибирское областное центральное бюро профессиональных союзов работников музыки, театров и зрелищ организовало симфонический оркестр.

28 марта. За антисоветские выступления арестован бывший краевой комиссар Временного правительства Кругликов.

29 марта. Вновь раскрыт контрреволюционный заговор против Советской власти, подготовлявшийся офицерами, связанными с атаманом Семеновым.

31 марта. «Театральное товарищество» поставило спектакль «По ту сторону океана» Гордина.

3 апреля. В газете «Власть труда» напечатано обращение С. Лазо, который находился на семеновском фронте.

«Товарищи! Приближается день решительной борьбы с Семеновым. Предстоит упорная борьба. Спешите послать свои силы и свои отряды. Заканчивайте организацию Красной гвардии и выезжайте все, кто может, защищать революцию. Время не ждет!

Начальник отряда по борьбе с Семеновым

С. Лазо».

5 апреля. На заседании Центросибиря обсуждался вопрос о высадке японского десанта во Владивостоке. Сопровождавшие заявили, что сибирские рабочие и крестьяне окажут всяческое сопротивление в случае попыток японских империалистов захватить какую-либо часть Сибири.

6 апреля. По прямому проводу состоялся разговор В. И. Ленина с председателем Центросибиря Н. И. Яковлевым о положении во Владивостоке в связи с высадкой десанта японцев. Ленин предупреждает об очень серьезном положении на Востоке и предлагает ряд мер по борьбе с интервентами. Об этом послана телеграмма Владивостокскому Совету.

8 апреля. Вышел первый номер журнала «Вестник Сибирского комиссариата снабжения и продовольствия».

9 апреля. За антисоветскую агитацию закрыта меньшевистская газета «Иркутские дни». Начала выходить 16 марта 1918 года.

10 апреля. В Народном Доме Иннокентьевского поселка состоялся митинг, на котором выступили Я. Б. Боград и другие большевики. Присутствовало до 600 человек. Митинг вынес резолюцию в поддержку власти Советов с призывом клеймить позором ее врагов.

— Заседание представителей союза пролетарской социалистической молодежи и союза социалистической учащейся интеллигенции приняло решение об объединении в единый Союз рабочей и учащейся молодежи.

13 апреля. На квартире барона Буграда раскрыта подпольная типография, обслуживающая кадетов, эсеров и меньшевиков. Заведовал типографией правый эсер Яковлев. Барон Буград арестован.

15 апреля. Состоялось первое заседание Иркутского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов, на котором обсуждался вопрос борьбы с контрреволюцией.

— На конгрессе иностранных военнопленных интернационалистов в гостинице «Гранд отель» (ныне центральный книжный магазин) присутствовало 60 делегатов. В работе конгресса приняли участие члены Центросибиря Н. Н. Яковлев, Я. Е. Боград, Ф. М. Лыткин и другие. Боград выступил с докладом «Кто такой Ленин и почему на него клеветают буржуазные партии не только России, но и европейских стран». Конгресс избрал исполком иностранных рабочих-коммунистов всей Сибири.

— Вышла вечерняя газета «Иркутский вечер» — орган реакционных элементов.

18 апреля. В иркутских газетах опубликовано сообщение о переименовании РСДРП в РКП(б).

21 апреля. Для борьбы с контрреволюцией учреждена Чрезвычайная комиссия (ЧК). Председателем ее назначен И. С. Посталовский.

— Иркутским комитетом РКП(б) утверждено решение об объединении социалистического союза рабочей молодежи и социалистического союза учащейся молодежи в единый социалистический союз молодежи. Этот Союз явился предшественником комсомола в Иркутской губернии.

В городе состоялась манифестация, посвященная памяти павших в дни Ленских событий 1912 года.

22 апреля. Социалистический союз учащейся молодежи обратился ко всем сознательным учащимся с призывом вступить в единый социалистический Союз молодежи.

24—30 апреля. В Иркутске проходил съезд представителей бурят Иркутской губернии. От бурятской группы Центросибири съезд приветствовала М. М. Сахьянова. На съезде произошел раскол на два лагеря: сторонников Советской власти и сторонников сохранения земских учреждений.

25 апреля. При Центросибири образован Народный комиссариат советского управления. Народным комиссаром советского управления избран Ф. М. Лыткин.

26 апреля. В продовольственном отделе комитета советских организаций Восточной Сибири обсуждалось письмо американского генерального консула из Москвы на имя Центросибири с просьбой разрешить вывоз из Иркутска во Владивосток 339 267 штук белок, принадлежащих американскому гражданину Фурсту. Вопрос перенесен на разрешение Центросибири, так как затрагивает вопросы международных отношений.

1 мая. В городе проходит массовая первомайская демонстрация.

Союз рабочей и учащейся социалистической молодежи перед демонстрацией организовал в большом зале гостиницы «Гранд отель» митинг, посвященный 1 мая.

— В I общественном собрании иностранными рабочими Сибирской организации проведен вечер, посвященный III интернационалу. С речью на вечере выступили Я. Д. Ясон, а также представители иностранного пролетариата.

— Вышел первый номер газеты военнопленных, на немецком языке.

— Вечером на сцене народного театра шла пьеса Шиллера «Разбойники». О спектакле в газете напечатана статья режиссера-постановщика С. Прокофьева.

2 мая. Иркутский Совет рабочих и крестьянских депутатов вынес решение о роспуске городской думы,

сотрудники и члены которой организовали забастовку и саботаж по отношению к Советской власти.

5 мая. На митинге железнодорожников эсеры выступили с призывами к свержению Советской власти. Они встретили достойный отпор.

10 мая. Центральный Исполнительный Комитет Советов всей Сибири объявил атамана Семенова врагом народа.

— Вместо «Губернских известий» вышел первый номер газеты «Известия Сибирского военного комиссариата». Ответственный редактор П. Ф. Парняков.

12 мая. Общее объединенное собрание членов фабрично-заводских комитетов, правления профессиональных союзов и членов Иркутского Совета депутатов вынесло решение о всеобщем вооружении и военном обучении рабочих Иркутска.

В помещении I общественного собрания состоялся концерт симфонического оркестра Сибири.

15 мая. Вышел первый номер газеты «Мировая революция» на венгерском языке — орган центрального исполкома коммунистических организаций иностранных рабочих. Последний, седьмой номер вышел 14 июня.

16 мая. Общество врачей Восточной Сибири выступило с ходатайством перед центральными органами Советской власти об открытии при будущем университете в первую очередь медицинского и физико-математического факультетов.

18 мая. Центросибири издан декрет об учреждении Сибирского Совета внешней торговли.

— За подписью председателя Военного комиссариата Половникова, члена А. Русских и начальника главного штаба А. Таубе издан приказ, утверждающий «Положение об Иркутских ускоренных курсах по подготовке командного состава Красной Армии».

18—19. В клубах, на предприятиях вечерами и лекциями отмечалось 100-летие со дня рождения Карла Маркса.

19 мая. Вышел первый номер «Молодого социалиста» — органа единого Союза рабочей и учащейся молодежи.

20 мая. Состоялся пленум Центросибири. Обсуждался вопрос о борьбе с контрреволюцией.

— Состоялось первое заседание Совета народного хозяйства Сибири.

25 мая. Начался мятеж, поднятый белочехами по всей железной дороге от Волги до Владивостока.

— В связи с усилением деятельности контрреволюции Иркутск объявлен на военном положении.

— В рабочей слободе открыты курсы по ликвидации неграмотности.

26 мая. На станции Иркутск произошло вооруженное столкновение с чехословаками, прибывшими эшелон № 26. После переговоров чехи были разоружены.

— В газете «Власть труда» опубликована статья В. И. Ленина «Очердные задачи Советской власти».

29 мая. За антисоветскую агитацию закрыта меньшевистская газета «Наше знамя».

— Вышел последний, третий номер журнала «Вестник сибирского комиссариата снабжения».

3 июня. Здание бывшего Иркутского института благородных девиц передано открывающемуся Государственному университету.

— В городском театре шла премьера оперы «Евгений Онегин».

4 июня. Состоялось совещание делегатов, прибывших на II съезд учащихся. Ввиду малочисленности собравшихся делегатов съезд реорганизован в совещание. Это совещание приняло антисоветский характер. Представители социалистической молодежи покинули совещание и организовали свое совещание — социалистической, молодежи.

14 июня. В ночь на 14 июня белогвардейцы подняли в Иркутске мятеж против Советской власти. Они убили комиссара тюрьмы Аугула, освободили группу контрреволюционеров, заняли обочины мастерские, но вскоре были оттуда выбиты. Мятеж был ликвидирован.

15—29 июня. Состоялся первый губернский съезд Советов, призванный к борьбе с интервентами и белогвардейцами.

18 июня. Состоялись торжественные похороны жертв белогвардейского мятежа.

20 июня. Создан военно-революционный штаб из пяти человек.

27 июня. Вышел первый номер газеты «Центросибирь» — орган Сибирского исполкома Советов депутатов трудящихся.

Газета «Власть труда» стала органом Иркутского губернского исполкома.

28 июня. В. И. Ленин подписал декрет о национализации Лейского золотопромышленного товарищества.

29 июня. Губернский съезд Советов вынес резолюцию: «Ввиду наступления контрреволюции прекратить работу съезда, объявить мобилизацию всего способного носить оружие населения на борьбу с врагами Советской власти». Съезд обратился с призывом организовать партизанскую борьбу с контрреволюцией.

30 июня. Началась эвакуация советских учреждений на Восток.

1 июля. Бывшие члены городской думы собрались вновь, несмотря на то, что городская дума была распущена органами Советской власти.

2 июля. Иркутский губернский исполком Советов выпустил обращение об организации партизанских отрядов для борьбы с чехословацкими интервентами и белогвардейцами.

— Началась эвакуация Центросибиря в Верхнеудинск (ныне Улаи-Удэ).

— Зверски замучен белочехами и повешен в Зиме председатель Зиминского Совета, бывший секретарь первого Иркутского губкома партии К. Н. Гершевич.

8 июля. Со станции Иннокентьевская (ныне Иркутск-Сортировочный) прибыли отступающие части Красной Армии и интернациональных войск.

10 июля. Отступающими советскими воинскими частями взорван артиллерийский склад в Военном городке.

Советские войска под натиском превосходящих сил чехословацких мятежников оставили город Иркутск. П. П. Постышев руководит эвакуацией последних эшелонов войск и штаба.

11 июля. Днем из города последним отошел отряд военного коменданта И. Шевцова, а также отряд Каландарашвили и другие арьергардные советские воинские части.

В городе оставлена группа большевиков во главе с К. В. Мироновым для организации подпольной большевистской работы.

12 июля. Воинские части чехословацкого мятежного корпуса вступили в Иркутск.

16 июля. Возобновилось издание газеты «Сибирь» под редакцией А. И. Иванова, которая была в январе закрыта советскими правительственными органами за антисоветские выступления.

18 июля. Вышла газета «Комар» с подзаголовком «Газета злободневная, сегодняшняя. Номер первый, может быть, и последний». И действительно, газета больше не выходила.

25 июля. Белочехи с согласия эсеро-меньшевистских правителей объявили сибирскую железную дорогу на осадном положении.

В эти дни на станции Иннокентьевская (Иркутск-Сортировочный) группа коммунистов создала большевистскую ячейку и боевую дружину. Большевики организовали негласный саботаж в депо, а затем и забастовку.

3 августа. На рассвете в Глазковской березовой роще по приговору, подписанному генералом Гайдой, повешены И. С. Посталовский (председатель Иркутского ЧК) и другие большевики. Посталовский успел крикнуть рабочим: «Не бойтесь, товарищи! Боритесь за рабочее дело, всех не перевешают».

Посталовский погиб двадцати семью лет от роду.

5 августа. Белогвардейский военно-полевой суд присудил к смертной казни Олега — помощника начальника I эскадрона интернациональной кавалерии; Минкевича — бывшего прапорщика, члена комиссии по борьбе с контрреволюцией; Штейнберга — секретаря исполкома Иркутского Совета. Приговор приведен в исполнение.

8 августа. В Лисихе чехословацкие интервенты и белогвардейцы зверски замучили руководителя усольских коммунистов М. М. Гофера.

13 августа. Открыт Иркутский университет.

14 августа. На Байкальском фронте погибли первые организаторы иркутской коммунистической молодежи Зинаида и Александр Бланковы.

28 августа. На станции Урульга ушедшие из Иркутска центросибирцы создали конференцию партийных и советских организаций Восточной Сибири и Забайкалья. Присутствовало 59 представителей. Конференция признала нецелесообразным вести открытую борьбу с превосходящими силами противника и постановила перейти к тактике партизанской войны.

31 августа. Учительский съезд принял резолюцию, в которой говорилось: «Если учителя-большевики будут властью преследоваться, — встать на защиту их».

Начало сентября. В Знаменском предместье продавец рабочего кооператива «Пролетарий» А. С. Скундрик организовал подпольную коммунистическую группу, устроив у себя дома явочную квартиру. Эта группа в сентябре совместно с другими подпольщиками организовала собрание коммунистов, которое по существу явилось городской партконференцией. Был избран Иркутский большевистский комитет в составе А. С. Скундрика, А. М. Винокаменя, А. С. Маямспина.

11—12 сентября. Бастовали рабочие типографии из-за нарушения хозяевами тарифного договора и незаконных удержаний из зарплаты рабочих.

29 сентября. В городском театре состоялось открытие народного университета. При нем же открылся институт изящных искусств. Во многих случаях работа народного университета проходила под большевистским влиянием.

Октябрь. Большевики И. Касаткин, М. Мушников, Н. Чигин организовали партийные ячейки на гвоздильном заводе, в правлении союза пищевиков, на мельнице, скотобойне. Коммунисты-железнодорожники создали организацию в 50—60 человек в

Глазково (теперь Свердловский район).

2 октября. Белогвардейцами схвачен и начальник штаба иркутских советских войск, бывший генерал А. А. Таубе. На предложение Гайды «вспомнить честь мундира, вернуться в стан армии возрождения России», Таубе сказал: «Мои седины и контуженные ноги не позволяют мне идти на склоне лет в лагерь интервентов и врагов трудящихся России».

Таубе был приговорен к смертной казни, но умер от тифа в Екатеринбургской тюрьме.

3 октября. Забастовали печатники ряда типографий Иркутска: Макушина и Посохина — 115 человек, «Гранит» — 84 человека.

— В I общественном собрании состоялся концерт симфонического оркестра, организованного народным университетом. Оркестр играл под управлением свободного художника Я. М. Гершковича. Исполнялись произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Калининкова.

4—5 октября. Вследствие забастовки типографских рабочих газета «Свободный край» не выходила. Предприниматели типографии были вынуждены выполнить требования бастующих рабочих и выплатить за праздничные дни, в которые оплата предпринимателями вычитывалась.

11 октября. Открылся театральный сезон в городском театре. Директор труппы Н. И. Рубов. Первой шла пьеса «Флавий Россини». В репертуаре: «Дни нашей жизни», «Гроза», «Ревизор», «Казнь», «Мечта любви».

12 октября. В Иркутск прибыл первый эшелон японских войск. Им была оказана торжественная встреча.

14 октября. Состоялся банкет, устроенный штабом Иркутского военного округа в честь прибытия английских воинских частей. На банкете выступил член парламента (английского) полковник Воорд. «Сибирский край» пишет об этой речи: «Нам пришлось выслушать горькие слова истины. Нам была прочитана дружеская нотация. Воорд, в частности, «возмущался фактом наличия красного флага на здании железной дороги».

15 октября. На Тихвинской площади проведен парад белогвардейских и английских войск.

16 октября. На станции Иннокентьевская в кузнице депо собрались рабочие и постановили провести забастовку. Выбран стачечный комитет, в который вошли: З. И. Вершилло, П. Первушин, Василий и Александр Савельевы и другие. Рабочие выставили такие требования: восстановление восьмичасового рабочего дня; своевременная

выплата заработной платы; удаление вооруженной охраны белых и чехов из депо и мастерских; восстановление прежней зарплаты; прекращение обысков.

24 октября. Иркутская газета сообщает о действиях партизанского отряда Каландарашвили, имеющего в своем составе 300 бойцов и 10 пулеметов. Находится отряд на Анабирском графитном руднике.

26 октября. Вышла газета «Наше дело» — орган общества потребителей Забайкальской железной дороги.

27 октября. В I общественном собрании состоялось торжественное заседание в честь открытия университета.

28 октября. В городском театре проведено торжественное заседание Совета университета.

В университет принято 486 человек, из них на историко-филологиче-

ский факультет 276 человек, на юридический — 210 человек.

1 ноября. Как стало известно, в Олёкме зверски убиты иркутские большевики: член ВЦИКа З. Кулинич, председатель Центросибири Н. Н. Яковлев, члены Центросибири Ф. М. Лыткин и другие.

9 ноября. Командир четвертого Сибирского корпуса закрыл газету «Сибирь» за недоброжелательный отзыв о военных и перепечатку из советских газет.

18 ноября. В Сибири установлена военная диктатура адмирала Колчака.

23 ноября. Комитет Иркутского отделения партии «Народной свободы» (кадеты) признал установление диктатуры Колчака как «акт государственной необходимости, вызванный интересами возрождения России».

24 ноября. Газета «Дело», издаваемая обществом потребителей, служащих и рабочих Забайкальской железной дороги, закрыта военными властями по распоряжению консульского корпуса «за неодобрительный отзыв о Франции».

Начало декабря. Иннокентьевская партия устроила побег 123 политзаключенных из «эшелонов смерти».

15—18 декабря. Бастовали типографские рабочие. Город остался без газет.

18 декабря. В Иркутскую тюрьму привезли С. Блюменфельда и С. Лебедева с обмороженными ногами и поместили в тюремную больницу. Их подобрали в тайге местные кулаки и выдали белогвардейцам.

23—24 декабря. Делегаты от иркутских большевиков приняли участие во II Сибирской партийной конференции, собравшейся в Томске.

АЛЬМАНАХ „АНГАРА“ № 2

Редактор С. Н. Маневич

Художеств. редактор А. И. Аносов

Техн. редактор А. В. Пономарева

Корректор Л. А. Васильева

Сдано в набор 16 апреля 1966 г. Подписано к печати 18 июня 1966 г. Печ. л. 13,44 + 2 н. п. вклейки. Уч.-изд. л. 15,6. Бумага типографская № 2, формата 84 X 108¹/₁₆. Тираж 5000.

Заказ № К-266. НЕ 03410. Цена 60 коп.

Восточно-Сибирское книжное издательство, г. Иркутск, ул. Горького, 36.

Типография № 1 Иркутского областного управления по печати, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 11.

В 1966 году в Восточно-Сибирском книжном издательстве выходят поэтические сборники

1. Елена Жилкина. Сентябрь.

В названии этой книги заключена ее основная лирическая тема: жизнь человека так же прекрасна, как первое дыхание весны, и полна мудрой зрелости в ее осеннем цветении. Стихи отличаются оптимизмом, светлым восприятием мира.

2. Сергей Иоффе. Надежда.

Это вторая книжка стихов молодого поэта, журналиста. В книжке — стихи о молодости, беспокойной и трудной, когда чувствуешь себя в ответе за все беды на земле, когда хочешь быть причастным ко всем ее радостям и надеждам; стихи о творчестве, которое делает радостным труд пахаря и космонавта, рыбака и поэта; стихи о счастье — его приносит сознание того, что ты нужен людям, веку.

3. Виктор Соколов. Предрассветное.

Виктор Соколов — еще молодой человек и поэт, но уже с богатой рабочей биографией. Он работал на машиностроительном заводе имени Куйбышева, на строительстве Братской ГЭС, на Шелеховском алюминиевом заводе. Вторая его книжка — о торжестве всего чистого среди людей и в природе.

4. Леонид Хрилев. Дыхание.

Поэт и научный работник, Леонид Хрилев в новой книге стихов говорит от имени своих сверстников, с которыми делит радость и горести, шагая по трудным дорогам жизни.

«Дыхание» — третья книга поэта.

5. Александр Балин. Возвращение.

Лирические стихи Александра Балина часто публиковались на страницах сибирской печати 20—30-х годов. В связи с 75-летием со дня рождения поэта издательство выпускает в свет сборник его стихотворений.

6. Владимир Суслов. Откровение.

Это первая книжка стихов для взрослых. Привлекает умение поэта образно, сжато, афористично выразить свою мысль. Сборник радует свежестью восприятия мира, простотой.

В третьем номере альманаха «Ангара» будут напечатаны: повести Владимира Жемчужникова «Осень на двоих» и Владимира Гусенкова «Между двумя рассветами»; рассказы Алексея Шеметова «Снег на голову», Бориса Ротенфельда «Польская кукла» и Бориса Лапина «Литературный вечер»; стихи молодых поэтов — участников Ангарской конференции «Молодость, творчество, современность» и стихи поэтов-иркутян.

В галерее «Ангара» репродуцируются работы художницы А. Р. Мадиссон. В разделе очерка и публицистики представлены очерки Л. Богданова «Побег из «эшелона смерти», З. Тагарова «Обручев в Восточной Сибири»; статьи О. Патушинского о двух судебных процессах над Н. А. Каландарашвили и П. Моисеева «Серафим Серафимович Шашков». В разделе критики — обзорная статья о книгах, вышедших в Иркутском издательстве, автор Б. Краснопольский.

60 к.

